83.3(2Рос=Рус)1 - Л56
Ч-83

ЛЮДИ И КНИГИ ШЕСТИДЕСЯТЫХ ГОДОВ

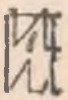
ЛИСТОК СРОКА ВОЗВРАТА

КНИГА ДОЛЖНА БЫТЬ
ВОЗВРАЩЕНА НЕ ПОЗЖЕ
УКАЗАННОГО ЗДЕСЬ СРОКА

1101—1000000

Дорогому Ване на память
о наших литературных беседах
в прошлом. Елена Пли[illegible]

8/5 1937.



К. Чуковский

ЛЮДИ И КНИГИ ШЕСТИДЕСЯТЫХ ГОДОВ

СТАТЬИ И МАТЕРИАЛЫ

ИЗДАТЕЛЬСТВО ПИСАТЕЛЕЙ
В ЛЕНИНГРАДЕ

МУК «Централизованная
система муниципальных
библиотек г. Омска»

83.3(2Рос=Рус)1
Ч-88

№ 409

Отпечатано для Издательства писателей в Ленинграде типографией им. Володарского, Ленинград, Фонтанка, 57, в количестве 5500 экз. 19½ печ. листов. Заказ № 4410. Ленгорлит № 29425. Обложка М. Кирнарского. Сдано в набор 11/IX 1933 г. Подписано к печати 29/I 1934 г. Формат бумаги 82×110. Порядковый № 4. Типогр. знаков в 1 печ. листе 34 000. Ответствен. редактор М. Слонимский. Технический редактор Д. Бабкин.
1934

ЧЗ | ОМСКАЯ ЦБ им. Ленина

МУК «Централизованная система муниципальных библиотек г. Омска»
162712-1

КАК ЭТО НАЧАЛОСЬ

Вместо предисловия

Весною 1855 года к Тургеневу в Спасское приехали три писателя: Боткин, Григорович и Дружинин.

В первую минуту усадьба Тургенева показалась им довольно мизерной. Приглашая их к себе, автор „Записок охотника" так описывал им прелести своей помещичьей жизни, что они ожидали увидеть палаццо стоящий на живописном холме, а увидели остатки сгоревшей усадьбы, расположенной на плоской равнине. Даже парка не было, а был, только сад, — правда, большой и тенистый.

На первых порах гости почувствовали себя как бы обманутыми, особенно когда увидели соседку Тургенева, родную сестру Льва Толстого, о которой влюбленный Тургенев писал, что она очень красива, а она (на их вкус) оказалась почти дурнушкой. Гости начали трунить над Тургеневым и вскоре принялись сочинять водевиль, где вывели Ивана Сергеевича в качестве хвастливого помещика, легкомысленно пригласившего кучу гостей, которых ему некуда девать, так как дом у него тесен и мал. Для пущего смеха они вывели и других литераторов — Некрасова, Панаева. Писемского — тоже в качестве гостей хвастливого помещика.

Тургеневу поневоле пришлось принять участие в этом дружеском фарсе, который они озаглавили „Школа гостеприимства" — по образцу шериданової „Школы злословья".

Фарс вышел не очень смешной, но они много смеялись. Кончался он всевозможными ужасами: гости подожгли дом, а детей хозяина затравили собаками. Хозяин зарезал (или застрелил) одного из гостей.

Никакого общественного значения этот вздор не имел. 25 мая послали в Орел за шампанским и на следующий день (в присутствии Марии Николаевны Толстой, Елисея Колбасина и специально прибывшего Фета) сыграли свою пьесу на домашнем театре. Вскоре

после спектакля гости покинули Спасское, а Тургенев, оставшись один, принялся за писание „Рудина".

Григорович уехал к Дружинину в его имение Чортово, и там, в Чортове, Григоровичу пришло в голову сделать из коллективного фарса рассказ и вывести в нем Чернышевского.

Дружинин одобрил затею Григоровича, и вот в июле 1855 года в Чортове, Петербургской губернии, была написана первая кляуза о „нигилисте", первая клевета на вождя молодых разночинцев.

Позднее, в шестидесятых годах, подобных повестей было много: создалась целая библиотека дворянских писаний, где разночинцы революционного лагеря изображались черными красками: „Некуда" Лескова, „Марево" Клюшникова, „Взбаламученное море" Писемского, „Зараженное семейство" Льва Толстого, „Обрыв" Гончарова. „Панургово стадо" Крестовского, — всюду молодой разночинец представлен выродком, лишенным человеческих чувств.

Теперь оказывается, что родоначальницей всех этих пасквилей была маленькая повесть Григоровича „Школа гостеприимства", сочиненная в июле 1855 года в имении Дружинина — Чортово.

Это, так сказать, бабушка всех реакционных сатир, обличающих поколение шестидесятых годов.

В то время как Григорович писал этот пасквиль, Тургенев послал ему вдогонку такое письмо:

„Григорович!.. я имел неоднократно несчастье заступаться перед вами за пахнущего клопами [Чернышевского]... примите мое раскаяние — и клятву — отныне преследовать, презирать и уничтожать его всеми дозволенными и в особенности недозволенными средствами!.. Я прочел его отвратительную книгу, эту поганую мертвечину... Raca! Raca! Raca! — Вы знаете, что ужаснее этого еврейского проклятия нет ничего на свете!" [1]

Таким образом, у Григоровича оказался могучий союзник.

Еще в мае во время пребывания в Спасском Григорович безуспешно пытался заразить Тургенева своей враждой к Чернышевскому, но теперь, в июле, когда Тургенев прочел знаменитую работу Чернышевского „Эстетические отношения искусства к действительности", где тот посягнул на любезную Тургеневу эстетику, это так больно задело Тургенева, что он, хоть и с запозданием, всецело примкнул к Григоровичу и заявил себя вечным врагом Чернышевского.

Еще лютее ненавидел Чернышевского его антипод Дружинин.

---

[1] Первое собрание писем Тургенева, СПБ, 1884, стр. 14.

Впервые то ругательное прозвище, которое было дано Чернышевскому аристократической группой писателей, появляется в дневнике у Дружинина именно во время их гощения в Спасском.

В записи от 21—25 мая 1855 года Дружинин бегло перечисляет сюжеты тогдашних бесед:

„Споры о Гоголе и Бальзаке.— Пахнущий клопами [то есть Чернышевский]. — Боткин и повесть Леонтьева. — Писун. — Анчар, древо яда".

Из этого краткого перечня видно, какое заметное место занимала в их спасских беседах ругань по адресу нового критика.[1]

Вскоре после этой беседы Дружинин и Боткин посетили в Москве Некрасова и попытались унизить в его глазах Чернышевского.

„В Москве мы с Васинькой говорили Некрасову о пахнущем клопами", — сообщал Дружинин Тургеневу 28 июля 1855 года.

Таким образом майское свидание в Спасском четырех столпов „Современника" было в сущности как бы „дворянским съездом", участники которого наметили нечто вроде программы для классовой самозащиты от врага.

Первым актом этой самозащиты была повесть Григоровича, написанная им в усадьбе Чортово.

Почему-то считается, что повесть есть простой пересказ водевиля, который был разыгран у Тургенева. Это не так. В повести нет ни пожаров, ни убийств, ни других катастроф, которыми кишел водевиль. Кроме того многие лица получили в повести другую окраску. Только по созвучию имен можно догадаться, что Бодасов был в водевиле Некрасов, а Таратаев — Панаев. Иные персонажи водевиля совершенно отсутствуют в повести: нет, например, главного злодея Брандахлыстова. Вместо него в той же роли выведен на сцену Чернышевский, под прозрачным псевдонимом Чернушкина.

Этому Чернушкину Григорович приписывает гнуснейшие качества. Чернушкин — паразит, грубиян, приживальщик, пьяница, бездарный писака. Он обзывает хамом того человека, который дал ему приют в своем доме. Он позорит имя одной целомудренной девушки, заявляя во всеуслышание, что она была с ним в связи.

Словом, нет такого порока, в котором не обвинял бы пасквилянт Чернышевского. В своей злобе он дошел до того, что вложил

[1] Цитирую по неизданной рукописи. Последние три записи нетрудно расшифровать по „Воспоминаниям" Григоровича (1928, стр. 197) и „Воспоминаниям" Анненкова (1928, стр. 633).

жил ему в уста те постыдные выкрики, которые враги приписывали молодому Тургеневу:

— Спасите меня! я единственный сын у матери.

И при этом дал карикатурный портрет Чернышевского:

„Эти узенькие бледные губы, приплюснутое и как бы скомканное лицо, покрытое веснушками, рыжие жесткие волосы, взбитые на левом виске, — ясно, что это все не могло принадлежать доброму человеку; но во всем этом проглядывала еще какая-то наглая самоуверенность, которая не столько светилась в его кротовых глазах, смотрящих как-то в бок, сколько обозначалась в общем выражении его физиономии".

Именно такими чертами описывали Чернышевского его враги: здесь нет ни одной черты, которой мы не нашли бы позднее в письмах Льва Толстого, в фельетонах Дружинина, Писемского.

„Наружность его, — продолжает Григорович, — так поражала своею ядовитостью, что, основываясь на ней только, один редактор [т. е. Некрасов] пригласил его писать критику в своем журнале. Редактор особенно также рассчитывал на то, что Чернушкин страдал болью в печени[1] и подвержен был желчным припадкам; но расчеты редактора оказались неосновательными; после первого же опыта Чернушкин обнаружился совершенно бездарным, и ему отказали наотрез".

Этого страстно добивалась „дворянская фракция". Она не раз предлагала Некрасову заменить Чернышевского — Дружининым или даже Аполлоном Григорьевым.

Написав свою кляузу, Григорович привез ее в Питер, отдал в „Библиотеку для чтения" и через несколько дней встретился здесь с Чернышевским.

Встретился как враг? Нисколько. При встрече он не только изъявлял Чернышевскому самые лучшие чувства, но всячески ругал ему Дружинина, который будто бы все время раздражал его своими нападками на любимого им Чернышевского.

Сам Чернышевский пишет об этом Некрасову так:

„Григорович, по его словам, не написал ничего, живши у Дружинина [в Чортове], потому что Дружинин возмущает его и расстраивает своими нападениями на тенденции, которыми заразилась литература от Белинского".[2]

---

[1] „Писатель, больной печенкой", — таково было одно из прозвищ Чернышевского среди дворянской фракции „Современника".

[2] „Переписка Чернышевского", М — Л 1925, стр. 18.

Под этими вредными тенденциями Дружинин, как мы ниже увидим, разумел те тенденции, которые проводил Чернышевский.

А когда через месяц Григорович напечатал свою повесть в журнале Дружинина, он и в „Современник" явился с повинной. Он так и сказал Панаеву, что сам считает свою повесть „мерзкою" и просит, чтобы „Современник" не упоминал об этой „мерзости" перед своими читателями, а великодушно промолчал бы о ней.[1]

Когда следишь за всеми этими блудливо-трусливыми поступками знаменитого автора, начинаешь понимать, почему Тургенев называл Григоровича „пакостным сплетником", а Гончаров — „узкой и злой головой".

Чернышевский, прочтя его пасквиль, не только не принялся мстить своему обличителю, но потребовал, чтобы Некрасов напечатал о „Школе гостеприимства" самый доброжелательный отзыв. Он в то время еще очень ценил связь „Современника" с плеядой беллетристов-дворян и пуще всего боялся, чтобы „Современник" не потерял из-за него своих ближайших сотрудников. По его настоянию Некрасов расхвалил в своих журнальных заметках „веселый и беззаботный" рассказ даровитого автора народных повестей и романов", благодушно попеняв ему за то, что он внес в этот рассказ личные свои „антипатии".[2]

Тем дело как будто и кончилось. Но в сущности это было только начало великой войны.

Статья „Как это началось" была напечатана в мало распространенной литературной газете „Читатель и писатель", выходившей когда-то в Москве (1928 г., № 33). То была первая статья, посвященная интересующему нас эпизоду. Через несколько времени появилась обширная работа Б. Эйхенбаума „Толстой в кругу „Современника" („Звезда", 1928, VIII), где был изложен тот же эпизод. Как ни мелок он сам по себе, он кажется мне знаменательным, ибо служит увертюрой к той исторической баталии дворян с разночинцами, которая так четко отразилась в литературе шестидесятых годов. К сожалению, до сих пор эта баталия остается мало изученной. Многие из ее литературных участников и поныне остаются в тени, — например: Дружинин, Николай Успенский, Слепцов, игравшие очень заметную роль в воинствующей литературе эпохи. Теперь они зачислены в категорию забытых писателей. Я потому и занялся изучением их

---

[1] „Некрасовский сборник", II. 1918, стр. 103.

[2] Современник", 1855, 10, стр. 165—166.

жизни и творчества, что мне захотелось вывести их из забвения. Этому много способствовали те материалы, которые мне удалось разыскать: неизданные письма Льва Толстого к Дружинину и дружининские дневники (предоставленные мне В. Г. Дружининым), неизданные письма Дружинина к Толстому, Ливенцову, Анненкову, Полонскому (хранящиеся в ИРЛИ и в Ленинской библиотеке), тюремные письма Слепцова к матери (предоставленные мне Л. Ф. Нелидовой), неизданные письма Николая Успенского к Ипполиту Панаеву (хранящиеся в ИРЛИ) и т. д.

К. Ч.

ТОЛСТОЙ И ДРУЖИНИН В ШЕСТИДЕСЯТЫХ ГОДАХ

По неизданным материалам

1

Дружинин был в России иностранец. Все его повести словно переводы с немецкого. Даже имена его героинь иностранные: Лола Монтес, Шарлотта, Жюли, фрейлейн Вильгельмина, Полинька Сакс, мисс Мэри. В качестве литературного критика он сильнее всего тяготел к англичанам и охотнее писал о них, чем о русских. Работал он регулярно, от такого-то до такого-то, изумляя окружающих своей продуктивностью.

„Позавидовать ли ему или пугаться за него, просто не знаю", — восклицал Григорович, сообщая Некрасову, сколько повестей и статей сочинил Дружинин в три недели. — „Просто изумительно!" — „Просто невероятно!" [1]

Странен был среди русских писателей этот чопорный дэнди, всегда спокойный, немного надменный, холодновато-учтивый и, главное, такой самодовольный. Самодовольство у него было тоже особенное. В его письмах и дневниках мы читаем:

„Я сделал большой шаг для моей славы..."

„Мое имя любимо в литературном круге..."

„Мой труд полезен для просвещения и добрых людей..."

„Я слишком умен, как все мои герои..."

„Я всегда буду стоять в первых рядах [литературы]..."

Никогда не знал он сомнений в себе и твердо верил в свою высокую литературную миссию. Даже сочиняя „Чернокнижникова" — это убогое подражание Поль де-Коку, Вашингтону Ирвингу и „Пикквику", не имевшее

[1] „Некрасовский сборник", II. 1918. стр. 107.

никакого успеха, — он искренне считал его шедевром неотразимого юмора:

„Перелистывал „Чернокнижникова", — пишет он в дневнике, — и расхохотался до того, что тотчас же написал почти лист... Этот жанр может создать мою славу... Моя веселость есть какая-то особенная веселость..." [1]

Веселости в нем и на волос не было, но он считал себя чуть ли не Диккенсом и до такой степени был уверен в себе, что написал до тысячи страниц юмористики, в которой совершенно отсутствует юмор.

Человек он был очень хороший, но опять-таки на заграничный манер: в денежных делах был щепетилен до крайности, никогда не изменял своим принципам, другом был надежным и верным.

Ясность духа у него была такая, какая вообще не свойственна ни одному из тогдашних русских писателей:

„Долгов у меня нет, денег хватает, горя и забот не имеется, — записывал он в дневнике. — Многих людей я люблю, и они меня любят, в душе моей нет ничего тяжкого и недоброго. С таким настроением мне почти везде хорошо и везде приятно..."

Самый счастливый из русских писателей, единственный среди них оптимист, без гражданской скорби, без надрыва, без смеха сквозь слезы, без печали и гнева, без всего ассортимента русских писательских мук.

В том и заключалась его литературная миссия, чтобы проповедывать счастье.

„Будьте жизнерадостны! — требовал он от писателей и запрещал им высказывать какие бы то ни было горькие чувства. — Долой и „гнев и печаль", и „смех сквозь слезы", и „гражданскую скорбь".

У него была галлюцинация, будто в николаевской России можно создать для себя идиллический Оксфорд, праздничный и светлый литературный уют, и он создал себе этот Оксфорд, — и был его единственным жи-

---

[1] Записки и дневники Дружинина до сих пор неизвестны в печати. Я познакомился с ними благодаря любезности его племянника В. Г. Дружинина.

телем. В этом Оксфорде он писал об изящной британской словесности, восхвалял Бозвела, Вальтера Скотта, Ричардсона, Теккерея и Крабба — и ему мерещилось, что его с умилением читают просвещенные русские сквайры, респектабельные джентльмены и леди. Все эти книги были адресованы им. Он проповедывал им мудрое эпикурейство, благодушный и грациозный дэндизм, он поэтизировал для них Черную речку и Лахту, он щеголял перед ними аристократическим пониманием изящного.

Нет сомнения, что в качестве критика он имел бы немалый успех, если бы те, для кого он писал, существовали в действительности. Если бы были в России просвещенные и респектабельные сквайры, высокообразованные носители старинной культуры, они сделали бы Дружинина знаменитым писателем и чтили бы его, как Джеффри или Джонсона.

Но он был слеп и не видел, что вокруг него—пустота. Тот слой просвещенных дворян, к которым адресовался Дружинин, был в России так ничтожен и слаб, что при первых же натисках миллионной толпы разночинцев сделался почти незаметен. Потому-то Дружинин, считавшийся в пятидесятых годах одним из самых влиятельных русских писателей, в шестидесятых был сразу забыт, и многотомное собрание его сочинений, вышедшее вскоре после его смерти, так и легло в магазинах, не дойдя до читательских масс.

Созданный им Оксфорд рассыпался в пыль. Этой катастрофы он не предчувствовал до конца своих дней, так и умер в уверенности, что его окружают избранные, любовно внимающие его сладостной проповеди.

Проповедь его была действительно сладостная. Это была проповедь о необходимости „светлого взгляда на вещи", „веселого простодушного смеха", „беззлобного отношения к действительности", „симпатического взгляда на людей и на дела людские".

В качестве литературного критика он порицал писателей желчных и мрачных, изображающих людские страдания, например, Огарева, Некрасова. Поэзия Некрасова,— настаивал он, — может нравиться только несчастным, так как она оставляет без отзыва „врожденную во всяком

человеке потребность ясности и счастия, ощущений блаженства и радости жизни". [1]

И что хорошего в стихах Огарева, где сказываются „кислые" взгляды на жизнь, где „самые светлые картины зачернены унылыми пятнами"? [2]

И вольно же было Белинскому выдумать, будто художник — каратель общественных зол! Художник — примиритель, успокоитель враждующих классов. Белинский даже Гоголя выставил каким-то певцом отрицания — между тем Гоголь был нежнейший поэт „Майской ночи", относившийся с братской любовью и к Ноздреву, и к Хлестакову, и к Чичикову, а те, кто изображают его мрачным сатириком, не понимают законов поэзии. Всякий великий художник радостно приемлет изображаемый мир, и напрасно думают, будто Гончаров обличает обломовщину, а Тургенев протестует против порабощения крестьян, а Островский ненавидит свое „темное царство". Все это выдумка публицистической критики. Гончаров любит Обломова, Островскому его „темное царство" милее всего, а Тургенев — успокоительный и благодушный поэт, не способный ни к какому протесту. И пусть бы Островский писал побольше беззаботных юмористических пьесок, вроде „Праздничного сна до обеда", полных того веселого смеха, которым так умеют смеяться в Вене, в Париже, в Италии, и почему-то не умеют смеяться у нас. „Я хохочу чистейшим веселым смехом, как школьник между резвых товарищей, и знать не хочу ни о какой горестной подкладке жизни", — писал он по поводу „Сна". [3]

„Знать не хочу ни о какой горестной подкладке жизни",— таков был его неизменный девиз. Стоило какому-нибудь автору хотя бы мимоходом изобразить анекдот без всяких покушений на сатиру, и Дружинин аплодировал ему с величайшим сочувствием. „Восхищаясь веселостью, проникавшей Хазарова и Мари Ступицину, мы не высказали всей нашей мысли о том, насколько эта

[1] Собрание сочинений А. В. Дружинина, СПБ. 1865, т. VII, стр. 266 и 488.

[2] Там же, стр. 135 („Зимний путь" Н. Огарева).

[3] Там же, стр. 256.

несдержимая, непобедимая веселость была нова и по-своему в нашей литературе, давно не знавшей настоящего бесконечного смеха", — писал он в статье о Писемском и тут же восхвалял романиста за то, что, наперекор всем дидактическим доктринам, он не побоялся изобразить благородного и честного исправника, делающего людям добро.[1]

Даже у Салтыкова-Щедрина умудрился Дружинин найти „светлые и тихие страницы" без всякой „горестной подкладки", где дана „поэзия и правда чиновничьей жизни", и уговаривал автора „Губернских очерков", чтобы он не вдавался в дидактику, не изображал „вопиющих и раздирательных" сцен, а улавливал бы в канцелярской среде частицы правды и „поэзии"...[2]

Даже у Томаса Гуда, автора скорбных стихов, насыщенных социальным протестом, он подслушал слова, знаменующие примирение с действительностью:

„Наш мир хорош, очень хорош... Он далеко не так гадок, как разные люди о том провозглашают. Будем надеяться, что все устроено к лучшему".[3]

Правда, эти слова были сказаны Томасом Гудом почти в беспамятстве, на смертном одре, и нисколько не выражали его литературного credo, но только этими словами он и сделался близок Дружинину. Пока Дружинин не знал этих слов, он относился к Томасу Гуду без симпатий, ибо всякий социальный протест был в его глазах „сифилитической язвой искусства". Поэтов-бунтарей и обличителей он пренебрежительно называл памфлетистами, или еще хуже — дидактиками. „Дидактик" было у него ругательным словом. Тем дороже ему был его любимый Шекспир, „веселый зритель человеческих дел", и всепрощающий Пушкин, „успокоительный гений", глядевший на

[1] Собрание сочинений А. В. Дружинина, СПБ. 1865, т. VII, стр. 267.

[2] Там же, стр. 256.

[3] Там же, т. V, стр. 478. Ср. с письмом Дружинина к Е. Н. Ахматовой, где он говорит: „Ваш талант предназначен к успеху и влиянию, потому что опирается на доктрину высокую и утешительную, именно на сознание о том, что жизнь хороша" („Русская мысль", 1891, 12, стр. 118).

жизнь с приветливостью, „возбуждая светлые улыбки собратий“ и „своей веселостью усиливая радость счастливых“.[1]

У нас изображают Дружинина поклонником искусства для искусства. Между тем основа его проповеди была именно в жизнерадостном приятии действительности. Его вера в самоцельность искусства вытекала из его гедонизма. А гедонизмом неизменно прикрывались охранительно-реакционные инстинкты. „Внутреннее чувство нам заявляет, — писал он в одной из своих последних статей, — что человек создан не для озлобления, не для раздвоения, не для сомнения и не для стремления к [социалистическим и революционным] утопиям!“[2] Здесь, так сказать, подоплека его ненависти к обличительному, „гоголевскому“ направлению в искусстве. Истинным поэтом-художником, не обинуясь, называл он того, кто, отказавшись от каких бы то ни было сатирических выпадов против патриархально-помещичьего быта тогдашней России, славит и поет этот быт:

„Явится когда-нибудь, — пророчил Дружинин, — и может быть скоро явится на Руси истинный поэт-художник, который скажет новое ненасмешливое слово о поэзии нашей великой отчизны и сделает ее широкое раздолье, ее зимние и летние пейзажи, ее села и городки так же близкими к сердцу читателя, как близки к сердцу мыслящего человека простые чудеса ровной, болотистой, повидимому неприветливой Голландии, воссозданной в бессмертных трудах голландских художников. Многое найдет сообщить нам в своих вдохновенных уроках будущий поэт-счастливец, и целые миры откроются перед ним там, где в настоящее время все кажется таким прозаическим, таким непривлекательным... Ему достанется изображать сладость спокойствия для человека с измученной душой; ему поэзия первого снега и первых листов на дереве, ему тихий семейный очаг, ему отрада нескончаемой зимней беседы, ему золотые плоды умного уединения, ему тысячи картин, тысячи драм, которых мы еще не видим непросветленными глазами, ему возвышенно-философская мысль о том,

---

[1] „А. С. Пушкин и последние издания его сочинений“. Собрание сочинений А. В. Дружинина. СПБ. 1865, т. VII, стр. 61 и след.

[2] Соч. Дружинина. СПБ. 1865, т. II, стр. 376.

что человек должен быть везде занимателен и везде счастлив".[1]

Здесь, в этой тираде, можно воочию видеть, какими путями программный оптимизм Дружинина неуклонно вел его к идеализации культурного барства, к окрашиванию в розовый цвет усадебного быта русских сквайров, с их „тихими семейными очагами", „нескончаемыми зимними беседами", „золотыми плодами умного уединения" в стародворянских наследственных гнездах. Стародворянские гнезда были так любезны ему, что он, именно в качестве родовитого сквайра, чуть не святотатством считал проникновение в них буржуазной стихии. „Эти древние дома с фронтонами, колоннами, эти здания с бельведерами и длинными боковыми флигелями, эти обширные приюты старого гостеприимства и старой здоровой гастрономии— милы до крайности, — писал он в 1855 году. — Нам жаль видеть их в руках спекуляторов и прижимистых торговцев, нам грустно думать, что эти добрые московские палаццо покинуты своими обладателями... Нам жаль этих барских почтенных домов..."[2]

Все его писания были всегда адресованы именно „барским почтенным домам", „приютам старого гостеприимства" и „старой здоровой гастрономии". Это пристрастие к барству еще обнаженнее в его дневниках. „Я люблю хорошую помещичью жизнь, начиная от жизни, блистательно обставленной, поэзия которой исключительна и видна глазу, до простого быта скромных и опрятных помещиков. Тургенев между прочим где-то говорит о сценах из помещичьей жизни. Но описывая эти сцены, не надо быть ядовитым, не то можно выйти на гоголеву дорогу".

Барская гостиная представлялась ему высшим трибуналом искусства. „Это издание не стыдно держать на столе в гостиной", — похвалил он какую-то книжку,[3] и мудрено ли, что категория „изящного", „элегантного", „грациозного" занимает в его эстетике такое заметное

[1] См. „Пашенька". Провинциальный рассказ. Соч. Дружинина, т. I, стр. 627. Рассказ написан в 1855 г. в самый разгар борьбы с Чернышевским.

[2] Соч. Дружинина, т. VII, стр. 97.

[3] Там же, стр. 30.

место. Он даже пушкинскую сцену в келье Пимена именует сценой „грациозной". В письмах к Ахматовой он и сам признавал главным недостатком своих повестей их салонную, „манерную грацию". Этой грацией были наделены им в избытке все его Полиньки, Шарлотты, Жаннеты, Вильгельмины, Жюли и мисс Мэри: они „лепетали", они „резвились", они „порхали как птички", они были „полны самой грациозной веселости", и он чуть не в стихах восхвалял „чистоту их девических помыслов". Когда впоследствии Николай Успенский в одном из своих юмористических очерков заставил некоего прощалыгу писать великосветские повести о „роскошных аристократических спальнях", где „полулежат" молодые красавицы с „роскошно-обнаженными грудями",[1] он тем самым подверг осмеянию беллетристическую манеру Дружинина, у которого в романе „Жюли" на первой же странице говорилось, что в „изящной спальне", среди „изящных, блестящих вещиц", „на маленькой бархатной кушетке лежала молодая женщина лет осьмнадцати" — и кончиком своей маленькой ножки „упиралась в ручку близ стоявшего кресла", причем, конечно, и кресло и ножка соперничали между собою в изяществе.

Вот к какой жантильности приводила Дружинина его борьба с „гоголевским направлением" в искусстве. Гоголевским Собакевичам он только и мог противопоставить в своей беллетристике этих изящных Жаннет, полулежащих на изящных кушетках. Здесь ему изменял даже его изысканный вкус, который внушил ему столько превосходных страниц о Шекспире, Фете, Огареве, Тургеневе, Пушкине.

2

Любовь к Пушкину была у него так велика, что, говоря о поэте, он терял даже свою обычную чинность. „Говорю вам по совести, — писал он Павлу Васильевичу Анненкову, — что всякого человека, имеющего дерзость худо думать про Пушкина, я готов бить собствен-

[1] Николай Успенский, Из дневных записок.

норучно — палкой, бутылкой, камнем или иным обидным орудием. А вы с Тургеневым все это терпите".[1]

Тургенев и Анненков действительно терпели „все это" — не только нападки на Пушкина, но вообще тот сокрушительный натиск разночинной толпы на дворянские культурные ценности, в котором по их ощущению был весь исторический пафос шестидесятых годов.

И Тургенев, и Анненков, и Григорович, и Гончаров, и Островский, и даже Василий Боткин очень хорошо понимали, что прямая борьба невозможна, и вступили на путь компромиссов.

Дружинину они казались изменниками, ибо он был человек твердокаменный и ни на какие сделки с врагами не шел.

Единственный из всей этой группы, он, начиная с 1855 года, вступил в открытую борьбу с Чернышевским.

Григорович, написав о Чернышевском свою знаменитую кляузу, тотчас же кинулся к ненавистному желчевику с покаяниями.

Тургенев и Боткин обманывали себя на первых порах, будто они понимают всю историческую неизбежность его бытия, и пробовали примириться с его „ересями".

Анненков, уклончивый и зыбкий, менял свои позиции ежедневно, примыкая то к той, то к другой стороне.

Один только Дружинин горел ровной и негаснущей злобой. Злоба эта была так велика, что в одном из своих фельетонов он поставил Чернышевского рядом с Фаддеем Булгариным.[2] До этого не доходил никто из злейших врагов Чернышевского. Конечно, он сильно затушевал этот пасквиль, но все же нельзя сомневаться, в кого этот пасквиль направлен. Изобразив Булгарина негодяем и взяточником — под именем Евсея Барнаулова, Дружинин на той же странице выводит писателя, „больного печенкой":

„Он... обладает весьма малым талантом и огромною злобою. Он много раз бросался в литературу, хотел быть гонителем и страшилищем поэтов, но это не имело

[1] Рукописное отделение ИРЛИ.

[2] Сочинения А. В. Дружинина, СПБ. 1867, т. VIII, стр. 265; „Библиотека для чтения", 1855, 9.

успеха, ибо кто зол да не силен, тот безрогому овну подобен... Он охотно выколол бы себе глаз с тем условием, чтобы каждому человеку было выколото два глаза, он злится на солнце, злится на бравурную арию в театре, злится на веселую беседу своих знакомых, одним словом, у него болит печенка...“

Это первый выпад Дружинина против ненавистного критика. Статейка писалась в то самое время, когда Григорович в усадьбе Дружинина сочинял свой рассказ, где точно такими же чертами изображал Чернышевского. [1]

И все тогдашние писания Дружинина — примерно, от пятьдесят пятого до пятьдесят девятого года — все направлены против Чернышевского и чернышевщины. Ни разу не упомянув его имени, он каждую свою статью направлял против его лжеучений.

В одном письме к Анненкову он так и писал: „Я полагаю, полезно будет в противодействие новосеминарскому взгляду“ написать то-то и то-то.

Весь седьмой том собрания его сочинений написан ради этого противодействия новосеминарскому взгляду. О ком бы он ни говорил в этом томе, — о Фете, о Пушкине, о Полежаеве, о Писемском, о Гончарове, о Марке Вовчке, — он преследовал одну только цель — опровергнуть возмутительную ересь врага. Он даже шекспировского „Кориолана“ перевел для того, чтобы устами Шекспира посрамить ненавистных плебеев, отвратительным воплощением которых казался ему Чернышевский. Со свойственной ему самонадеянностью он был твердо уверен, что окончательная победа над врагами близка.

„Хорошо было бы ругнуть еще раз ненавистников Пушкина и придавить их совсем!“ — восклицал он в одном письме, не предвидя, что ненависть к Пушкину еще только в самом начале, что вскоре эта ненависть прорвется в писаниях Писарева, Зайцева и других „реалистов“. [2] Часто повторял он в статьях, что для его противников приходят последние дни. Можно себе представить,

---

[1] См. в настоящем издании очерк „Как это началось“.

[2] Письмо к П. В. Анненкову в ИРЛИ.

как был бы он удивлен и обижен, если бы узнал, что в это самое время Чернышевский по секрету сообщает Некрасову, что Дружинин — живой мертвец, что можно, пожалуй, почтить его погребальной хвалой, но спорить с ним, конечно, не стоит.

„Дай бог ему писать и повести (лишь бы только хорошие) и ученые рассуждения и все на свете, я совершенно готов хвалить его в глаза и за глаза, печатно и словесно, и рад даже обниматься с ним, а заводить ссору вовсе не намерен. Он теперь безвреден, потому что его теперь никто не слушает и не читает, — чего же другого и можно желать?“ [1]

Приговор убийственный и вполне подтвержденный историей. Тот высокородный и просвещенный читатель, к которому Дружинин обращал свои тонкие речи, оказался мифом. В то самое время, когда Дружинин чувствовал себя накануне великих побед, когда ему казалось, что он наносит врагу последнюю смертельную рану, враг даже не глядел в его сторону.

„Он будет в Библ[иотеке для чтения] защищать свободное творчество и беспощадно разить таких безумных, как я... — писал Чернышевский Некрасову. — Тем не менее я питаю к нему самую нежную дружбу, и стрелы его конечно не так остры, чтобы возбуждать во мне потребность ответа... Пусть негодует, а я всегда буду отзываться о нем хорошо при всякой возможности“. [2]

Чернышевский зорко учитывал подлинное соотношение сил.

Он понимал, что те представители дворянской культуры, которые не примкнут к разночинцам, скоро будут смяты и отброшены. Для Чернышевского Дружинин в ту пору был непогребенным покойником.

Таким же ощущал его Некрасов.

---

[1] Переписка Чернышевского с Некрасовым, Добролюбовым и А. С. Зеленым. Введение, примечания и редакция Н. К. Пиксанова, М.—Л. 1925, стр. 26.

[2] Там же, стр. 36. Однако через несколько месяцев Чернышевский в статье о книге А. Ф. Писемского „Очерки из крестьянского быта“ дал резкий отпор эстетическим воззрениям Дружинина („Современник“, 1857, 4, стр. 30—50).

„Не знаю, как будет кушать публика г...о со сливками, называемое дружининским направлением, — писал Некрасов Тургеневу, — но смрад от этого блюда скоро ударит и отгонит от журнала [то есть от „Библиотеки для чтения" Дружинина] все живое в нарождающемся поколении, а без этих сподвижников, еще готовящихся — журналу нет прочности".[1]

Некрасов понимал, что накануне шестидесятых годов необходима ставка на новых людей, и что под теми эстетическими сливками, которыми потчует своих единоверцев Дружинин, скрывается зловонное блюдо реакции.

„Дружинин просто врет и врет безнадежно, так что и говорить с ним о подобных вещах бесполезно", — писал поэт Василию Боткину еще в 1855 году по поводу литературных воззрений Дружинина.[2]

Дружинин в то время действительно был для „новых людей" уже несуществовавшим противником.

Собравшаяся вокруг него дворянская группа писателей включала в себя замечательных художников слова, но была весьма неоднородна по своей социальной фактуре и потому изменчива, раздроблена, неустойчива. Своим вождем она его никогда не считала. В сущности, она сплотилась вокруг него лишь в первую минуту катастрофы, в 1855—1856 годах, и только, а потом каждый в одиночку по-своему повел свою тяжбу с эпохой. Тургенев, на которого Дружинин возлагал такие большие надежды, назвал его писания „пирогами с нетом", его журнал — „темной и глухой дырой",[3] а его самого заклеймил в эпиграмме:

Дружинин корчит европейца.
Как ошибается бедняк!
Он труп российского гвардейца,
Одетый в английский пиджак.

Слово труп было здесь очень уместно. Боткин и Анненков, оттесненные от „Современника", оказались

---

[1] Собрание сочинений Некрасова, Письма, под редакцией В. Е. Евгеньева-Максимова, М.—Л. 1930, т. V, стр. 273—274.

[2] Там же, стр. 224.

[3] Первое издание писем И. С. Тургенева, СПБ. 1884, стр. 37

в качестве союзников беспомощны. Панаев перешел на сторону врагов, раскаялся в своих дворянских литературных грехах и стал (главным образом при помощи своих мемуаров) ревностно отмежевываться от прежних союзников.

3

Единственный был у Дружинина верный и пылкий последователь — Лев Толстой. Но, конечно, их близость не могла быть прочна. „Воинствующий архаист", идеолог патриархально-помещичьего строя, Толстой не мог по-настоящему сойтись с представителем столичного чиновничества, каким по существу был Дружинин. А Дружинин был именно в основе своей — бюрократ, каким бы барином он ни казался себе и другим. Отец Дружинина — почтовый чиновник, человек изумительной честности, спасший казенное добро во время пожара в Москве, начал свою службу простым экзекутором, — и горбом дослужился до высоких чинов. Отец его отца был подьячий. О его матери Старчевский рассказывает, что она была „типичная чиновница".

Петербуржец до мозга костей, Дружинин был помещиком только отчасти. Свою усадьбу посещал лишь наездами в качестве дачника, да и усадьба была у него петербургская, средней руки, совсем не такая, какой он изображал ее в разговорах с друзьями. Так что только в мечтах был он жизнерадостным сквайром, говорящим от лица богатого и просвещенного барства, а на деле являл собою плоть от плоти петербургской бюрократии, столь ненавистной Толстому, живое подобие своего департаментского праведника Сакса, мужа легкомысленной Полиньки Сакс.

Недаром, желая изобразить идеального представителя культурного общества николаевских времен, Дружинин воплотил свой идеал именно в этом петербургском чиновнике с немецкой фамилией.

Хотя он воспитывался в аристократическом Пажеском корпусе и служил в привилегированном гвардейском полку, это не могло уничтожить первооснов его психики,

тем более, что из полка он перешел на службу в чиновники военного ведомства.

Под всеми повадками крупного барина в нем всегда оставался трудолюбивый, аккуратный, упрямый, щепетильный и самодовольный петербургский чиновник, с тем немецким или, вернее, остзейским военным оттенком, который в ту пору был так силен в Петербурге.

Конечно, в Дружинине были и другие черты, но сердцевина его личности здесь.

Даже проповедь счастья и радости он осуществлял петербургским, так сказать, бюрократическим способом: веселился аккуратно, в установленный срок, по заранее обдуманному плану.

Специально для увеселений нанимал он за городом небольшую квартиру — окнами на Смоленское кладбище, где в определенные дни водил хороводы с друзьями вокруг статуи Венеры медицейской, и хотя ретиво смеялся и топал ногами, и пел, но в его веселости, даже по словам его друга, „проглядывало что-то искусственное, гальваническое, вызванное не натуральным побуждением веселиться, а холодным соображением человека, надумавшего, что... надо во что бы то ни стало принять порцию увеселений, и чем они эксцентричнее, тем действие их будет лучше“.[1]

Участвовавших в этих оргиях женщин он именовал не без игривости феями, нимфами, гризетками, доннами, сильфидами, гуриями.

„Моя рабочая квартира, — писал он приятелю в 1851 году, — расширилась и наполняется, увы, — не журналистами, не учеными мужами, а гризетками и веселыми гуриями всех наций, начиная с француженок и кончая шведками. На этой квартире происходит пир во вкусе древнего царя Валтасара“.[2]

Вот в какие плюгавые формы выливалась в действительности проповедь Дружинина о радостном утверждении жизни.

---

[1] Д. В. Григорович, Литературные воспоминания, Л. 1928, стр. 248.

[2] Неизданное письмо к М. А. Ливенцову в рукописном отделении ИРЛИ.

Было что-то геморроидальное в его нарочитом разгуле. При этом он считал своим долгом сочинять порнографические вирши, — и неестественно было слышать площадные слова от такого благопристойного, многоученого и степенного джентльмена.

Можно себе представить, до чего было чуждо троглодиту Толстому мозглявое чиновничье эпикурейство Дружинина.

Если все же в течение нескольких лет Толстой мог находиться под сильным влиянием этого петербургского апостола радостной жизни, то лишь потому, что он понимал дружининское жизнелюбие по-своему, переводя его выхолощенные лозунги на свой деревенский, дикарский, троглодитский язык.

4

В одном из некрологов, посвященных Дружинину, сказано, что от природы ему была свойственна кротость, что он был миролюбивейшим из русских писателей, что он „обладал удивительной терпимостью к чужим мнениям", что „только самые безобразные крайности, которых нам не раз приходилось быть свидетелями в последнее время" [то есть опять-таки учение Чернышевского, нигилизм и пр.], могли оттолкнуть его от людей и вызвать в нем суровые чувства. [1]

В этой „удивительной терпимости" лучше всего проявилась социальная природа Дружинина. Он постоянно старался мирить самые непримиримые крайности. Он и в самом деле был уверен, что литератор как носитель некоей общечеловеческой правды должен быть „всеобщим миротворцем", „соединителем враждующих классов". Наша критика должна быть, по его выражению, „богата элементом, примиряющим и согласующим спорящие стороны". [2]

Даже обожаемым своим англичанам он делал выговор за слишком пылкие журнальные распри, ибо любил щеголять перед читателями необыкновенной широкостью вкусов,

---

[1] „Голос", 1864, № 33.

[2] „Критика гоголевского периода". Сочинения А. В. Дружинина, СПБ. 1865, т. VII, стр. 206.

сочувственным пониманием обоих враждующих лагерей. Слово умеренность было в его устах похвалой.

„Умеренность моих взглядов известна достаточно, — писал он в одной официальной записке. — По состоянию и положению в обществе я совершенно независим и от службы и от литературы, к правде я привык давно, и умею высказывать ее без задора и увлечений".[1]

Ему казалось, что, свободный от всяких пристрастий, он может не зависеть от временных заблуждений толпы. Эта поза бесстрастного зрителя доходила у него до аффектации, и он часто бравировал ею.

Когда, например, Сенковский предпринял гонение на Гоголя, всякий из русских читателей был либо на той, либо на другой стороне, — один Дружинин был и за Гоголя, и за Сенковского и заявлял в начале пятидесятых годов:

„После Гоголя я уважаю Сенковского пред всеми нашими литераторами".[2]

Это заявление звучало чудовищно для всякого активного участника тогдашней общественно-политической жизни, ибо оно говорило о демонстративной социальной апатии.

Позднее, во время американской междоусобной войны, когда все реакционеры в России были на стороне южных (невольничьих) штатов, а либералы на стороне их врагов, Дружинин громко заявлял свои симпатии и к тем, и к другим, причем доказывал, что неграм-невольникам свобода была бы в тягость.[3]

Оторванность от всякого конкретного быта, от реальной социальной практики, чиновничья, департаментская незаинтересованность в том или ином исходе каких бы то ни было житейских конфликтов помогала Дружинину ощущать себя беспристрастным судьей бытовых и литературных явлений, стоящим высоко над житейщиной.

Когда „Современник" в 1853 году напечатал пошлого Кукольника, представителя булгаринской фарисейско-пат-

---

[1] „Записка о настоящем положении цензуры драматических произведений" (12 ноября 1859 г.) в рукописном отделении ИРЛИ.

[2] „Русская мысль", 1891, 12, стр. 121.

[3] Сочинения А. В. Дружинина, СПБ. 1865, т. V, стр. 685.

рнотической партии, в этом был некоторый стыд для журнала, оправдываемый лишь цензурным террором, но Дружинин, щеголяя широкостью своих литературных симпатий, увидел здесь самое доброе знамение и приветствовал появление имени Кукольника на тех самых страницах, где печатались Герцен, Белинский, Некрасов, для которых Кукольник был враг.

Чтобы лучше подчеркнуть эту позу, Дружинин одновременно сотрудничал в разных журналах, упорно игнорируя классовую вражду между ними. В 1854 году он работал и в „Современнике", и в „Отечественных записках", и в „Библиотеке для чтения", хотя эти журналы были между собой на ножах.

„Я не принадлежу ни к какой литературной партии, — похвалялся Дружинин в письме к Ахматовой, — и слишком горд, чтобы прилепиться душой и телом к успеху одного какого-нибудь журнала". „Дружеские мои отношения ко всем нашим журналам дадут мне возможность всюду иметь работу".[1]

„Дружинин ухитрялся мирить" „Современник" с „Русским вестником" — иронизировал впоследствии Писарев.[2]

Покуда борьба не дошла до открытого боя, покуда самые цели ее были смутны и спутаны, Дружинину и вправду казалось, будто он во всех лагерях — свой, будто отрешившись от партийных пристрастий, он обеспечил себе драгоценное право судить литературу надклассовым, чисто литературным судом, не привнося в свои оценки никаких чуждых искусству критериев.

Этот пафос беспартийности, надклассовости он довел до того, что почти одновременно воплотил в своем творчестве влияние таких антиподов, как барон Брамбеус и Белинский, являя собой беспримерный, почти противоестественный литературный феномен. Этот изумительный факт до сих пор ускользал от внимания исследователей, а между тем несомненно, что в первый период своей писательской деятельности он был верным учени-

---

[1] Е. Н. Ахматова, „Русская мысль", 1891, 12, стр. 120. А. Старчевский, А. В. Дружинин, „Наблюдатель", 1885, 4, стр. 125.

[2] Статья „Посмотрим". Сочинения Д. И. Писарева, т. V.

ком и неистового Виссариона и индиферентиста Сенковского. К этому его привела та иллюзия оторванности от живых интересов двух борющихся социальных слоев, которая в эпохи застоя свойственна многим носителям бюрократической психики.

При первом же столкновении с действительностью такие иллюзии обычно рассыпаются в пыль, и Дружинин лишь до поры до времени мог носить эту личину примирителя непримиримых идей.

К середине шестидесятых годов почти все наигранное его беспристрастие слетело с него, и он, как мы видели, сделался фанатиком борьбы с новосеминарским искусством. В этой борьбе, несмотря на всю ее внешнюю чинность, он зашел так далеко, что незадолго до смерти соединился с Катковым, стал сотрудничать в „Московских ведомостях", в „Русском вестнике", громко высказываясь против толков о нашем „крайнем и нестройном прогрессе", против „политического кайенского перца", против „фокусов, переделанных с французского", против „подстрекательств на вражду и насилие" — то есть сделался типичным катковцем.[1] Нет сомнений, что, доживи он до каракозовских дней, он стал бы, как и Боткин, одним из оплотов реакции. К этому он шел, не останавливаясь, с 1855 года.

5

А между тем в молодости, во времена Петрашевского, он был даже чуть-чуть фурьеристом и писал в юношеском своем дневнике за два года до „Полиньки Сакс" — в 1845 году:

„Исследовать попытки социальных реформ последнего времени — вот моя цель... Смерть одного труженика, не видевшего в жизни ни наслаждений, ни борьбы, ни любви, ни даже чувственных удовольствий, возбуждает страшный вопрос: где справедливость?.. Сколько добродетели, преданности и любви скрыто в массе, которую мы зовем грубою массою".

[1] См. его статью „Прошлое лето в деревне". Собрание сочинений, т. II, стр. 386 и след.

К этой грубой массе двадцатилетний Дружинин был исполнен величайших симпатий.

В его „Рассказе Алексея Дмитриевича“ (1848) — несмотря на цензурные тиски того времени — выражен с максимальной ясностью протест против рабства крестьян. Дружинин вообще писал все свои первые повести под сильным влиянием Белинского, в духе Жорж Санд, которую так ненавидел впоследствии.

Каждая его тогдашняя повесть заключала в себе более или менее энергичный социальный протест. Так что его позднейшие нападки на дидактику есть в сущности отказ от того направления, которое сказалось в юношеской его беллетристике, где он самым дидактическим образом протестовал и против семейного деспотизма, и против порабощения женщины, и против уродливого воспитания детей. [1]

Читая эти ранние повести, мы не должны забывать, что они дошли до нас в исковерканном виде, так как цензура относилась к ним с необыкновенной свирепостью.

Об одной из этих повестей, о „Фрейлейн Вильгельмине“, тоже относящейся к 1848 году, сам Дружинин сообщал в письме к Ахматовой: „Моя „Вильгельмина“ не совсем моя, она писана была в пору журнального террора, и цензор смело мог назваться моим сотрудником в этой повести“. [2]

После „Рассказа Алексея Дмитриевича“, который полюбился Белинскому еще больше, чем „Полинька Сакс“, [3] Дружинин, по словам Некрасова, написал „отличную вещь“, которая так и погибла в цензуре.

Четвертая его повесть „Петербургская идиллия“ тоже была уничтожена.

По словам Старчевского, „лужи красных чернил“ заливали первые повести и рассказы Дружинина. [4]

---

[1] См. в первом томе его „Сочинений“ стр. 139, 163, 164, 169, 176, 177 и след.

[2] „Русская мысль“, 1891, 12, стр. 119.

[3] „А какую Дружинин написал повесть новую — чудо! Тридцать лет разницы от „Полиньки Сакс“! Он для женщин будет то же, что Герцен для мужчин“ (Белинский, „Письма“, II. 1914, т. III, стр. 338).

[4] „Наблюдатель“, 1885, 6, стр. 259.

30 сентября 1850 года Некрасов сообщал П. В. Анненкову: „На IX № [„Современника“] набрали мы две повести, — одну Сальяс, другую Дружинина, но от них не осталось и следа,

Как от любви младенца безнадежной,
Как от мечты, которой никогда
Он не вверял заботам дружбы нежной“.[1]

Поэтому мы и права не имеем судить о юношеской беллетристике Дружинина по напечатанным его повестям. Историки литературы очень любят бранить его „Жюли“, „Шарлотту“, „Вильгельмину“ за бессодержательность, тривиальность, и прочее, не подозревая, что автором этих вещей является скорее цензор, чем Дружинин.

Судя по воспоминаниям Некрасова, цензурная ярость не смущала молодого писателя. Узнав о запрещении одной своей повести, — или, как тогда говорили, статьи — он сейчас же принимался за другую. „Если и эту постигала та же участь, он, не разгибая спины, начинал и оканчивал третью“.[2]

Не забудем также, что в молодости, после смерти Белинского, Дружинин, вдвоем с Некрасовым, выносил на своих плечах „Современник“. Вместе с Некрасовым он пронес этот журнал сквозь все удушливое семилетье реакции — до самого 1855 года, и когда в 1855 году умер, наконец, Николай, Дружинин записал у себя в дневнике: „конец давящего кошмара“. Цензурный террор был в то семилетье таков, что в журнал не допускали вообще никаких критических статей, так как после Белинского самый этот жанр казался крамольным. Приходилось прибегать к суррогатам, заменяя критику фельетонными очерками, полными игривой болтовни в духе барона Брамбеуса. Эти очерки Дружинин писал виртуозно, и мы, учитывая политическую обстановку эпохи, опять-таки не имеем права вменять в вину его тогдашним писаниям отсутствие каких бы то ни было руководящих

---

[1] Собр. сочинений Некрасова, М.—Л. 1930, т. V, стр. 150.

[2] Н. Некрасов, А. В. Дружинин. Некролог, приложенный к VIII тому собрания сочинений А. В. Дружинина, СПБ. 1867 (первоначально появился в „Современнике“, 1864, т. I).

Камеръ-пажъ А. В. Дружининъ.

Вып. 1843 г.

Писатель.

(Изъ альбома Н. А. Перовскаго, хранящагося въ музеѣ корпуса).

А. В. Дружинин в молодости (карикатура)

идей. Самое слово идея было тогда заподозрено. Без этих статей „Современник“ Некрасова был бы совершенно беспомощен в 49, 50 и 51 годах. Вспоминая в некрологе „блеск, живость, занимательность тогдашних фельетонов Дружинина“, Некрасов утверждал, что во всей журналистике того времени они одни „носили на себе печать жизни“. И если Дружинин в своих тогдашних писаниях умудрялся порицать Шевырева, Погодина — это был максимум доступного тогда либерализма. Замечательно, что своего учителя Сенковского [барона Брамбеуса] молодой Дружинин тогда укорял в беспринципности, требуя от него в духе Белинского — горячего и страстного отношения к литературным событиям. „Редакция „Библиотеки для чтения“ явно вдалась в какой-то странный индифферентизм“, — писал он в 1849 году, порицая „холодное и неподвижное равнодушие“ Сенковского.[1]

Конечно, и тогда проскальзывал в нем петербургский чиновник и дэнди, но, преклоняясь перед несуществующими в России просвещенными сквайрами, он, как сам выражался, к „знатным холуям“, к „аристократическим стервецам“, к „фешенеблям и снобам“ питал неукротимое презрение.[2] Словом, лишь при полном пренебрежении к фактам можно изображать его боевым обскурантом, как это делают некоторые исследователи нашей словесности. Таким он стал лишь в последние годы, незадолго до смерти, — в эпоху поправения того социального слоя, с которым он связал свою судьбу.

В письме к Боткину от 16 сентября 1855 года Некрасов проникновенно сказал, что сам-то Дружинин является лучшим опровержением своей собственной проповеди о вреде „дидактизма“ в искусстве:

„Дружинин поглядел бы прежде всего на себя, — писал Некрасов. — Что он произвел изрядного в сфере искусства? — „Полиньку Сакс“, но она именно хороша потому, что в ней есть то, чего нет в дальнейших его повестях [т. е. социальный протест]. И кабы Дружинин

[1] Сочинения А. В. Дружинина, СПБ. 1865, т. VI, стр. 22—24.

[2] См. в рукописном отделении ИРЛИ неизданное письмо Дружинина к Анненкову (1858 г.).

продолжал идти по этой дороге, так верно был бы ближе даже и к искусству, о котором он так хлопочет".[1]

Таким же опровержением теорий Дружинина является учрежденный им Литературный фонд.

По всему своему существу этот фонд был классово чужд разночинным низам. В его основу легла филантропия отдельных представителей привилегированных классов, и таким образом Дружинин не вышел из своей роли просвещенного барина, когда вводил это благотворительное учреждение в Россию. А между тем вышло так, что этот дружининский фонд стал прибежищем для тех литературных плебеев, к которым сам-то Дружинин всегда относился с презрением, для тех Николаев Успенских, Слепцовых, Помяловских, Левитовых, которых он никогда не удостоивал ни единой строкой в своих литературно-критических очерках. Еще до основания фонда он был, так сказать, ходячим фондом для нуждающейся писательской братии. Изучив неизданную его переписку, я вижу, как много помогал он и делом и деньгами Горбунову, поэту Михайлову, Ливенцову, сестре поэта Крешнева, матери Сниткиной, начинающему беллетристу Петрову и многим другим. Так что для него было чрезвычайно естественно основать особую организацию для помощи ученым и писателям. У нас почему-то думают, что это дело далось ему очень легко: задумал основать и основал. Конечно, это было не так. Исследуя его бумаги, мы видим, сколько черной работы пришлось ему выполнить, сколько кляуз и доносов пришлось опровергнуть, сколько подвохов, козней, закулисных интриг пришлось преодолеть и рассеять для того, чтобы в 1859 году могло, наконец, состояться первое заседание этого общества, которому было суждено пятьдесят с лишком лет служить писательской низовой демократии, столь неприятной Дружинину.

Замечательно, что через пятьдесят с лишком лет Лев Толстой, давно предавший осуждению и забвению всю дружининскую полосу своей жизни, сочувственно вспомнил Дружинина как основателя Литературного фонда.

[1] Собрание сочинений Некрасова, М.—Л. 1930, т. V, стр. 224.

За год до смерти, 5 ноября 1909 года, 80-летний Лев Толстой поздравил Литературный фонд с полувековым юбилеем и прислал на имя Стаховича такое письмо:

„Вспоминаю основателей и приветствую сотоварищей Литературного фонда. Сочувствую его доброй пятидесятилетней деятельности. Рад буду внести свою лепту в предполагаемый сборник".[1]

Это сдержанное приветствие заключало в себе все хорошее, что на старости лет пожелал сказать Лев Толстой о любимейшем из литературных друзей своей молодости.[2] Даже имени его не назвал, а глухо включил его в безымянную группу основателей Литературного фонда. А между тем у Толстого было что вспомнить об этом когда-то близком ему человеке. Из переписки Льва Николаевича с Василием Боткиным, напечатанной лет десять тому назад, читатели с удивлением узнали, как страстно и нежно любил он Дружинина в юности. Теперь же, когда мне посчастливилось отыскать в одном частном архиве письма Льва Толстого к Дружинину и дневник Дружинина, относящийся к 1855—1859 гг., стала вполне ясна и причина этой загадочной дружбы, коренящаяся в партийной солидарности по отношению к общему врагу — революционному разночинцу шестидесятых годов.

6

Толстой познакомился с Дружининым в ноябре 1855 года, едва только впервые вошел в круг петербургских писателей.

Незадолго до того в приятельском письме к одному офицеру Дружинин написал такие невероятные строки (до сих пор не бывшие в печати):

„Кстати о литературе. Отыщите, любезнейший Михаил Алексеич, в „Современнике" за июнь статью Толстого, бывшего вашего кавказского Толстого, „Сева-

[1] Юбилейный сборник Литературного фонда, СПБ. 1909, стр. 599.

[2] Говорят, впрочем, что существует неизданное письмо Льва Толстого к Венгерову, посвященное воспоминаниям о Дружинине. Поиски этого письма были до сих пор безуспешны.

стополь в декабре 1854 года". Статью эту два раза читала государыня, государь читал ее сам, весь Петербург ее расхваливает, а я знаю, что вы можете написать подобную вещь — и гораздо лучше. Зачем вы дали опередить себя, зачем вы не составили подобного же рода рассказа о ваших экспедициях к Бебутовым?"

Художественное значение толстовского очерка было до такой степени заслонено его животрепещущей темой, что даже квалифицированный критик на первых порах оценил лишь его злободневность. Личное же знакомство с Толстым завязалось у Дружинина в ноябре 1855 года, едва только Толстой вошел в круг петербургских писателей, причем характерно, что на первых порах Дружинин воспринял Толстого опять-таки главным образом как очевидца севастопольских событий. В среду 23 ноября 1855 года он записал у себя в дневнике:

„Вчера обедал у Некрасова с новыми весьма интересными лицами — туристом Ковалевским и Л. Н. Толстым. Оба из Севастополя. Мне нравятся оба (Ilike both).

К тому времени петербургские писатели уже сделались замкнутой кастой, которая с необыкновенной отчетливостью обнаружила свою дворянскую сущность. Смолоду многие из них были друзьями Белинского и все еще считали себя демократами, но с каждым годом теснее сближались с теми военными, чиновными и светскими кругами, которые соприкасаются с придворною знатью. Их жизнь стала немыслима без шампанского, великолепных обедов, непристойных бесед, веселых ночных похождений.

Это была как бы гвардия нашей словесности: Тургенев, Дружинин, Анненков, Гончаров, Григорович, Панаев, впоследствии Писемский, Фет. Конечно, они часто встречались с другими писателями, но относились к ним, как гвардейцы к армейщине: очень учтиво и только, — никогда не вводя их в свой круг. К ним близко примыкали в то время Гербель, Яков Полонский, Михайлов, Щербина, Колбасин, но то была низшая каста, с которой полное сближение невозможно.

Лейб-органом этой привилегированной группы, беспрестанно восхвалявшим их литературные подвиги, был

в ту пору журнал „Современник“, на страницах которого из номера в номер печаталось, что:

— рассказ „Свистулькин“ есть „остроумный каприз“ Григоровича,

— а рассказ „Пашенька“ есть „одно из самых прихотливых созданий Дружинина“,

— а стихотворение Фета, „самого симпатичного из наших поэтов“, так „освежительно действует на душу“, что „всякая похвала немеет перед его высокой поэзией“,

— а Писемский, „один из самых талантливых наших писателей в настоящую минуту“, „читал свой роман в высшем петербургском обществе“,

— а „Тургенев окончил и отдал уже нам свою повесть, и „Современник“ считает себя счастливым, что может напечатать ее“.[1]

Тургенев был у них генералом. „Современник“ в те годы охотно ставил Тургенева рядом с Пушкиным, Гоголем, Лермонтовым,[2] и в каждой своей книжке по нескольку раз, в самых различных отделах, с самой нежной почтительностью упоминал его имя.

„...Эскиз, небрежно набросанный [рукою] такого писателя, как г. Тургенев, во сто раз ценнее многих отдельных романов...“ То был медовый месяц его славы, и многие считали своим долгом посвящать ему свои творения: Лев Толстой посвятил ему рассказ „Рубка лесу“, Некрасов — свою первую поэму, знаменитую „Сашу“, Фет обратился к нему с обширным стихотворным посланием.

В 1855 году эта группа сплотилась особенно тесно. Вот в каких выражениях писал, например, Дружинин своему кавказскому приятелю о тех манифестациях дружбы, которыми был ознаменован „дворянский союз“ накануне шестидесятых годов:

„Я, Григорович и Боткин пробрались в имение Тургенева, там жили месяц, веселились, играли домашний театр, оттуда переехали в Тульскую губернию к Григоровичу, оттуда в Москву к Боткину, оттуда через Нарву в мое имение. Более ясных, веселых, истинно товарищеских дней,

---

[1] „Современник“, 1855, 2, стр. 228, 248; 3, стр. 118; 11, стр. 87 и др.

[2] Там же, 5, стр. 121.

трудно кому-нибудь испытать, мы беседовали всякую ночь до рассвета и когда пришлось разъезжаться, расстались как братья". [1]

Как нарочно, в самый разгар этих братских веселий, 21 ноября 1855 года, из Севастополя приехал 27-летний поручик Лев Толстой, которого они еще никогда не видали и в которого сразу чуть не поголовно влюбились:

„Что это за милый человек, а уж какой умница! — писал о нем Некрасов в Москву своему другу Василию Боткину. — И мне приятно сказать, что, явясь прямо с железной дороги к Тургеневу, он объявил, что желает еще видеть меня. И тот день мы провели вместе и уж наговорились! Милой, энергической, благородной юноша — сокол!.. а может быть и — орел. Он показался мне выше своих писаний, а уж и они хороши. Тебе он верно понравится. Некрасив, но приятнейшее лицо, энергическое, но в то же время мягкость и благодушие: глядит, как гладит. Мне он очень полюбился". [2]

Дружинин в то же самое время писал своему кавказскому другу:

„На-днях все мы, литераторы, были обрадованы приездом из Крыма гр. Толстого, известного по статьям о Севастополе. Это превосходнейший господин, истинный русский офицер, с превосходными рассказами, чуждыми фразе, и самым здравым взглядом на вещи. Он видел вашего брата в Бахчисарае или в Николаеве, не помню, и говорит, что у него во владении одна из лучших девчонок во всем крае. Из этого я заключаю, первое, что ваш брат от вас не отстал по этой части. Второе..." и т. д. [3]

Поселился Толстой у Тургенева на Малой Конюшенной, и 9 декабря Тургенев писал о нем Анненкову:

„Вот уже более двух недель, как у меня живет Толстой (Л. Н. Т.), и что бы я дал, чтобы увидеть вас обоих вместе! Вы не можете себе представить, что это за милый

---

[1] Неизданное письмо к М. А. Ливенцову от 23 июля 1855 года в рукописном отделении ИРЛИ.

[2] Собрание сочинений Некрасова, т. V, „Письма". М.—Л. 1930, стр. 232.

[3] Письмо неизданное (ноябрь 1855). Хранится в рукописном отделении ИРЛИ.

и замечательный человек, хотя он за дикую рьяность и упорство буйволообразное получил от меня название Троглодита. Я его полюбил каким-то странным чувством, похожим на отеческое".

Эти люди были тогда в полном расцвете всех своих сил и талантов.

Анненков только что закончил огромную работу над новым изданием Пушкина, которое вышло в свет с необыкновенным эффектом.

Гончаров только что вернулся из Японии и привез с собой „Фрегат Палладу".

Дружинин почти закончил перевод Шекспирова „Лира", который тоже был объявлен литературным событием.

Тургенев только что вернулся из ссылки и привез с собой „Рудина" — свой первый роман, который вызвал столько пререканий и похвал.

Было похоже, что смерть Николая, которую они встретили живейшею радостью, как начало светозарной эпохи, придала им новые силы для творчества, и вот теперь, зимою 1855 года, все они съехались в Питере отпраздновать удачное завершение своих новых трудов и теснее сплотиться для дальнейшей столь же радостной работы.

И они действительно сплотились. Это время было апогеем их дружбы. Никогда — ни раньше, ни потом — они не питали друг к другу такого братского чувства. К Дружинину они всегда относились прохладно и даже насмешливо, а теперь вдруг обнаружили в нем тысячи удивительных качеств, которых до того не замечали. Писемского они тоже чуждались дотоле, а теперь словно впервые увидели, назвали Ермилом и радушно приняли в свой круг.

Словом, зимою 1855 года все они так тесно сдружились, что не могли и дня провести друг без друга и, сойдясь поутру у Тургенева, шли всей ватагой обедать к Некрасову, который, по приказу врачей, сидел тогда в своей квартире безвыездно, а вечером опять-таки все вместе ехали куда-нибудь к цыганам или на заставу к знаменитой Луизе Ивановне, или к товарищу министра князю Вяземскому, или к графу Кушелеву-Безбородко, или к Андрею Краевскому, или в Михайлов-

ский – слушать новую итальянскую диву, Анжелину Бозио, только что прибывшую в Питер.

Ни кончина Грановского, ни разгром Севастополя, ни холера, которая даже зимою не вполне унялась в Петербурге, не мешали их дружеским празднествам. Никому и в голову не приходило тогда, что празднества эти — предсмертные.

7

Хотя Толстой приехал в Петербург уже известным писателем, он сам еще никогда не бывал в литературном кругу и никаких писателей не видел (разве что Григоровича, мимоходом, в Москве).

Военный, крестьянский, помещичий быт был для него родной стихией, но литераторский остался до такой степени неведом ему, что он, к великому изумлению Дружинина, не знал даже, что такое цензурный комитет, тот самый, который причинял ему столько обид.

6 декабря 1855 года Дружинин записал в дневнике: „Толстой вел себя милейшим троглодитом, башибузуком и редиором. Он не знал, например, что значит цензурный комитет и какого он ведомства".

Он даже не был никогда в стенах редакции, и может быть поэтому весь писательский круг издали казался ему в ореоле.

Почти всех писателей, с которыми он теперь познакомился, он давно уже читал и любил. В перечне книг, имевших на него в юности большое влияние, он отметил позднее Дружининскую „Полиньку Сакс" и „Антона горемыку" Григоровича, и Тургеневские „Записки охотника". Судя по дневнику его молодости, даже тягучий роман Григоровича „Проселочные дороги" показался ему „очень хорошим". А Тургенева в своих мечтах он ставил на такую высоту, что, когда его сестра переслала ему в письме привет от Ивана Сергеевича и несколько ласковых слов, он записал у себя в дневнике: „Получил восхитительное письмо от Маши, в котором она описывает мне свое знакомство с Тургеневым. Милое, славное письмо, возвысившее меня в собственном мнении и побуждающее к деятельности". Эта запись относится к 21 марта, и вот в том

же году, в ноябре, он видит своими глазами всех этих заочно любимых людей. Ему вообще было очень трудно любить, но в первые дни в Петербурге, среди этих новых людей, которые издали казались ему такими прекрасными, он был и кроток, и доверчив, и любящ, и смотрел на них так, словно гладил. На первых порах он даже немного трусил в этом незнакомом кругу и записал в дневнике:

„Я в Петербурге у Тургенева. Мне нужнее всего держать себя хорошо здесь. Для этого нужно главное: осторожно и смело обращаться с людьми, могущими мне вредить".

Но таких людей не оказалось. Все они, как утверждал Некрасов, „раскрылись ему со всем добродушием" и ввели в свою касту не только как равного, но сразу его, молодого, поставили рядом с Тургеневым, а тогда это была величайшая честь, которую они могли оказать ему.

Сейчас у меня в руках дневник Дружинина, еще неизвестный исследователям. Из этого дневника ясно видно, что Толстой, приехав в Петербург, усвоил себе все привычки тогдашних писателей (совпадавшие с его офицерскими навыками):

„Четверг. 24 ноября. Ездил в субботу на дачу Галлер с Толстым, Краевским, Тургеневым и Дудышкиным... Дудышкин врезался в Луизу Ивановну, Тургенев — в милую польку Надежду Николаевну, Краевский и Толстой пленены Александрой Николаевной [т. е. „гризеткой Сашей"]. Едва мог я их извлечь с бала".[1]

„Вторник. 6 декабря. Толстой вел себя милейшим троглодитом и редиором... К ночи мы с ним странствовали по девочкам, но не видали ничего особенного... Анжелина".

„Четверг. 8 декабря. Меня начинает сокрушать поведение Саши Жуковой, но сокрушать пленяя. Это особый тип русской гризетки, о котором стоит подумать. Толстой тоже пленен ею до крайности... Речи держались

---

[1] Вот отрывок из письма Тургенева, относящийся к тем же неделям: „Вообрази ты себе меня, разъезжающего по загородным лореточным балам, влюбленного в прелестную польку, дарящего ей серебряные сервизы и провожающего с нею ночи до 8 часов утра!" („В. П. Боткин и И. С. Тургенев", М.—Л. 1930, стр. 74).

развратные, был спор о Саше и Наде, однако и изящному посвятили несколько времени, читая сцены из комедии Островского".

„Воскресенье. 11 декабря. Башибузук [Толстой] закутил и дает вечер у цыган на последние свои деньги. С ним Тургенев в виде скелета на египетском пире".

„Среда. 13 декабря. Тургенев в великом озлоблении на башибузука [Толстого] за его мотовство и нравственное безобразие".

И так дальше — из месяца в месяц. Недаром на старости лет, вспоминая эти первые годы, проведенные в литературном кругу, Толстой говорил, что писатели оказались „люди безнравственные, в большинстве люди плохие, ничтожные по характерам — много ниже тех людей, которых я встречал в моей прежней разгульной и военной жизни, но самоуверенные и довольные собой".

Кроме кутежей, они действительно не мало времени посвящали „изящному" и спорили об „изящном" по целым часам. В дневнике Дружинина записаны эти ежедневные споры. Уже через две недели по приезде в Питер Толстой принялся за свое излюбленное уничтожение Шекспира, объявив, что „удивляться Шекспиру и Гомеру может лишь человек, пропитанный фразою". Это показалось скандалом и вызвало бурю страстей. В то время слово фраза было страшным ругательством — особенно в устах у Льва Толстого, а Шекспир для всего этого круга писателей именно к середине пятидесятых годов засиял новым сиянием. Боткин на исал о нем восторженную статью в „Современнике", Фет перевел „Юлия Цезаря", Аполлон Григорьев — „Сон в летнюю ночь". Именно тогда в статьях Дружинина и Аполлона Григорьева была по-новому поставлена проблема стиховых переводов Шекспира...

Споры с Толстым о Шекспире сделались чуть не ежедневным обычаем, особенно после того как Дружинин — 31 января 1856 года — прочитал у Некрасова свой перевод „Короля Лира" и вместе с Тургеневым стал вразумлять троглодита насчет красот шекспировой поэзии.

В споре приняли участие все — даже Михаил Михайлов и Майков.

Почти ежедневно эти люди читали друг другу свои сочинения и шумно обсуждали их целым синклитом. Толстой, чуть приехал из Крыма, тотчас же прочитал у Тургенева „очень хорошие главы“ своей „Юности“, а у Некрасова — „частичку Севастополя в августе“. Огарев прочитал „Зимний путь“, Гончаров — отрывки из „Обломова“, и таким образом кутежи у них действительно перемежались с изящным, и, как впоследствии указывал Толстой,— изящное служило для них оправданием их праздной и праздничной жизни.

Главными жрецами „изящного“ в этом кружке почитались Дружинин, Анненков, Боткин и Фет. С ними-то и сблизился в то время Толстой. И не только сблизился, а, как мы увидим сейчас, страстно и наивно уверовал в них,— особенно в Дружинина и Боткина, и даже вообразил себя их идейным соратником.

Впоследствии их-то он и возненавидел сильнее всего и когда в своей „Исповеди“ он вспоминает, что ему, молодому писателю, его старшие товарищи внушали приятную и выгодную веру, будто художники наделены бессознательной мудростью, благодаря которой они вправе учить человечество, сами ничему не учась,— он разумеет именно Дружинина, Боткина, Фета и Анненкова.

„Люди эти мне опротивели, и сам себе я опротивел, и я понял, что вера эта — обман“,— писал он через двадцать лет, но тогда, в пятидесятых годах, он исповедывал их веру с обычной своей „троглодитскою“ страстью и любил этих людей больше всех. „Боткин, Анненков, я и Толстой составляем зерно союза, к которому примыкают Панаев, Майков, Писемский, Гончаров и т. д.“ — записал Дружинин у себя в дневнике 18 декабря 1856 года.

Когда Толстой приехал в Петербург, их изящная жизнь была в самом разгаре, и казалось, что ей не будет конца. Дружинин в своем дневнике не раз выражал удовольствие, что „литераторы русские, во-первых, очень хорошие люди, а во-вторых, живут между собою в примерном или, вернее, в беспримерном согласии...“

„Пусть это согласие и благородное настроение продолжаются долго!“ — восклицал он на тех же страницах, не подозревая, что во всю их „беспримерно согласную“

касту уже брошена бомба, которая возвещала начало кровопролитной войны.

Зачинщиком этой войны был, как мы знаем теперь, Чернышевский.

8

В то время Чернышевский был единственный чужой человек в „Современнике".

Никто не знал, что он является как бы предтечей несметной толпы разночинцев, которые нахлынули в литературу позднее, через три или четыре года.

Естественно, что во всей этой аристократической богеме он поначалу казался монстром, раритетом — и только. Они считали его одиночкой, они не знали, что он — полководец, за которым незримо идет огромная армия преданных и закаленных солдат, им и в голову не приходило тогда, что через три-четыре года их изящный „Современник" сверху донизу будет набит „семинарами" — Добролюбовым, Елисеевым, Николаем Успенским, Антоновичем, Левитовым и т. д. Им казалось, что Некрасов привлек этого чужака в свой журнал по какому-то нелепому капризу, что стоит только потребовать у Некрасова, чтобы он вытолкал его прочь из журнала, и литературная жизнь попрежнему станет безоблачной, попрежнему замкнутая каста высокородных и просвещенных художников будет создавать свои шедевры, а тонкие ценители-критики будут разъяснять эти шедевры высокородным и просвещенным читателям. Вся эта группа писателей в разных формах и под разными предлогами требовала у Некрасова в пятьдесят пятом году, чтобы он удалил Чернышевскаго и поставил во главе журнала его антипода — Дружинина.

Дружинин был идейное знамя, вокруг которого они надеялись сплотиться для борьбы с „бесвкусными и безобразными ересями".

Под это знамя встал и Лев Толстой. Неспособный ни к какой половинчатости, он сделался соратником Дружинина, — словно нарочно не желая заметить, какая между ними непроходимая пропасть.

Один неизвестный писатель сообщал Тургеневу в то время:

„Надо вам знать, Иван Сергеевич, что Дружинин теперь звезда первой величины, все вокруг его вертится, а Толстой просто на него чуть не молится. Благоговение, которое он питает к Дружинину, как критику, комично в высшей степени". [1]

Прочтя это письмо, Тургенев тотчас же написал Льву Толстому:

„Вы, я вижу, теперь очень сошлись с Дружининым — и находитесь под его влиянием. Дело хорошее — только смотрите, не объешьтесь и его".

Весь пятьдесят шестой год Толстой действительно „объедался" Дружининым. В то время Некрасов, при помощи тонкой и сложной политики, очень учтиво и даже любовно вытеснил Дружинина из своего „Современника", и Дружинин для борьбы с чернышевщиной и другими, как он выражался, „неистовствами" обзавелся „Библиотекой для чтения".

Некрасов, опасаясь, как бы Дружинин не отнял у него лучших сотрудников, решил прикрепить их к своему „Современнику", предоставив им долю в доходах журнала. Этих закрепощенных было четверо: Тургенев, Толстой, Островский и Григорович. В конце 1856 года они подписали договор с „Современником", обязуясь не сотрудничать нигде, кроме журнала Некрасова. Эта мера была направлена главным образом против „Библиотеки для чтения". Но Дружинин сделал попытку использовать враждебный маневр для выгод собственной литературной политики. Он попытался внушить прикрепленным к „Современнику" авторам, что теперь, когда они связаны с этим журналом такими прочными узами, они должны захватить весь журнал в свои руки, чтобы вытравить оттуда чернышевщину.

„Неужели же вы не возьмете контроля в журнале?.. спрашивал он Тургенева. — Положа руку на сердце, признайтесь, неужели вы довольны Чернышевским и видите в нем критика и не обоняете запаха отжившей мертвечины в его рапсодиях?.. С будущего года ответственность за это безобразие падет на вас..." [2]

---

[1] „Тургенев и круг „Современника", М.—Л. 1930, стр. 299; письмо Елисея Колбасина.

[2] Там же, стр. 193—194.

Толстого он агитировал более решительно и рекомендовал ему, как человеку неопытному в журнальных боях, исподволь осмотреться в неприятельском лагере, чтобы нечаянной и внезапной атакой свергнуть ненавистного врага.

„Для меня яснее дня, — писал он Толстому 6 октября 1856 года, — что вы трое [т. е. Тургенев, Толстой и Островский] должны иметь контроль над журналом... Спешите же... изготовиться к делу и посредством взаимного соглашения и где можно уступок, приять голос, вам подобающий. Не принимайтесь за дело круто и до времени терпите безобразие Чернышевского, хотя теперь вы все некоторым образом за него отвечаете. Зато, высмотревши все и решившись, поднимайте голос и стойте за свои мнения...“

И в конце письма — о Тургеневе:

„Не давайте ему впадать в рабство перед м е р т в е ч и н о й“, т. е. перед проповедью Чернышевского.

Таков был дружининский план: взорвать неприятельскую цитадель изнутри. Боясь неорганизованных боевых выступлений со стороны „троглодита“ Толстого, который, именно в силу своего троглодитства, мог кинуться в атаку раньше срока и тем погубить все дело, Дружинин, мнивший себя руководителем заговора, советовал Толстому до времени воздержаться от каких бы то ни было воинственных действий против их общего врага, Чернышевского, — с тем, чтобы в решительный миг соединенными силами нанести ему нечаянный удар.

Вся эта тонкая журнальная тактика была Льву Толстому чужда. Хотя, как мы ниже увидим, „безобразие Чернышевского тошнило его все лето“, в ту пору его волновало другое: он только что закончил свою „Юность“, которая должна была пойти в „Современник“, — и так как он сомневался в ее литературных достоинствах, он решил послать ее на просмотр Дружинину, выражая полную готовность подчиниться его приговору. В этом тоже сказалась вражда к „Современнику“. Вынужденный дать свою повесть именно в этот журнал, Толстой открыто бойкотирует Ивана Панаева, ведающего здесь беллетристикой, и, нисколько не любопытствуя, как отнесутся к его новой рукописи в редакции самого „Современника“,

посылает ее на просмотр редактору чужого журнала.

И добро бы только на просмотр. Нет, он просит, чтобы Дружинин был полновластным редактором повести: выбрасывал бы из нее всё, что вздумается, исправлял бы ее фразеологию и стиль. Здесь такое доверие к литературному авторитету Дружинина, какого Толстой никогда не оказывал ни одному человеку.

Это письмо Льва Толстого, как и все остальные, приводимые в настоящей статье, еще никогда не появлялись в печати. Я нашел их в архиве Дружинина и воспроизвожу здесь с максимальною точностью.

Первые письма, как увидит читатель, исполнены самой доверчивой и нежной любви — даже, я сказал бы, влюбленности.

Дружинин незадолго до этого обратился к Толстому с просьбой прислать в „Библиотеку для чтения" какой-нибудь новый рассказ, пока Толстой еще не закабален „Современником". [1]

Толстой счастлив исполнить желание друга и пишет ему такое письмо:

[21 сентября 1856.]

[Ясная Поляна.]

Письмо ваше очень обрадовало меня, милейший Александр Васильевичь; особенно потому что я с каждым днем все собирался писать вам и без фразы почти каждый день думал о вас. — Вопервых я думал о вас потому что я вас очень люблю и уважаю, тоже без фразы, а вовторых потому что хотел просить вас о помощи. Ваше желание я надеюсь исполнить и исполнил бы его сейчас же ежели бы меня не связывало обещание которое я дал Краевскому, дать ему первое что буду печатать. Ведь к последней книжке значит к Декабрю? а для Краевского у меня уже готовится, для вас же почти готово, „был написан для имевшего издаваться

[1] См. ниже первое письмо Дружинина к Толстому на стр. 256

Воен[ного] Ж[урнала] правда крошечный эпизодец Кавказский, из кот[орого] я взял кое-что в Руб[ку] Леса и Ю[ность], поэтому надо переделать. Не для того чтобы вас задобрить к услуге, которую от вас прошу, но просто мне ужасно приятно сделать вам что-нибудь приятное и получив ваше письмо, да и прежде я раскаивался в этом поспешном условии с Современником. Вот в чем моя просьба. Я написал 1-ю половину Юности кот[орую] обещал в Современник. Я никому ее не читал и писал пристально, так что решительно не могу о ней судить — все у меня в голове перепуталось. Кажется мне однако, без скромности, что она очень плоха — особенно по небрежности языка, растянутости и т. д. Кажется мне это потому, что когда я пишу один никому не читая, то мне обыкновенно одинаково думается что то что я пишу превосходно и очень плохо[.] Теперь же гораздо больше думается последнее. Но я совершенно с вами согласен, что раз взявшись за литературу, нельзя этим шутить, а отдаешь ей всю жизнь, и поэтому я надеясь впредь написать еще хорошее не хочу печатать плохое. Так вот в чем просьба. Я вам пришлю рукопись — вы ее прочтите и строго и откровенно скажите свое мнение, лучше она или хуже Детства и почему и можно ли, переделав, сделать из нее хорошее или бросить ее. Последнее мне кажется лучше всего; потому что, раз начав дурно и проработав над ней три месяца, она мне опротивела до нельзя. — Ну да довольно об этом. Адрес мой в Тулу просто. Живу я в деревне жду денег чтобы поехать в Петерб[ург] и за границу. Охотился писал, читал много, ездил кое куда по деревням, немножко влюбился в одну деревенскую барышню, но теперь сижу дома, потому что болен и очень серьезно. У меня было воспаление в груди, от кот[орого] я не вылечившись простудился снова и теперь нехорош. Прощайте любезный Александр

Васильевич я с удовольствием думал со вчерашнего дня что я напишу вам и было чтото много, но теперь я так устал и так болит грудь, что кончаю. Напишите пожалуйста а Юность я с этой почтой вам вышлю, вы ее храните у себя, не показывайте никому и только ежели ваше решение хорошо и я напишу еще вам, тогда отдайте Панаеву.

Истинно любящий вас Гр[аф] Л. Толстой

21 Сентября

Кланяйтесь милому Генералу и всем кто меня помнит. Ежели бы против чаяния, в Юн[ости] только нужно бы было вымарать кое-что, то марайте, где вам это покажется нужным. [1]

---

[1] Деревенская барышня, в которую Толстой тогда „немножко влюбился", — Валерия Владимировна Арсеньева. В то время он намеревался жениться на ней. Тогда, в сентябре, его увлечение было в самом разгаре.

Так как еще до Дружинина к Толстому с просьбой о сотрудничестве обратился Краевский, издатель „Отечественных записок", Толстой решил дать Краевскому „Утро помещика", а Дружинину — очерк „Разжалованный" (впоследствии „Встреча в отряде"). Из этого толстовского письма мы впервые узнаем, что „Встреча в отряде" была написана Толстым еще осенью — зимою 1854 года на фронте для того „Военного листка", который он намеревался издавать в Севастополе во время войны. Листок не был разрешен Николаем I, и „Встреча в отряде" осталась в бумагах Толстого. Впоследствии Толстой позаимствовал из этого рассказа кое-какие места для „Рубки лесу" и „Юности" — таким образом „Встречу в отряде" ему пришлось заполнять новыми образами.

До сих пор биографы Толстого полагали, что мысль о поездке за границу явилась у Льва Николаевича лишь после разрыва с Арсеньевой. Из этого письма видно, что заграничная поездка была задумана раньше.

Болезнь, о которой упоминает Толстой, произошла оттого, что он, делая гимнастику, „свихнул себе поясницу".

„Милый Генерал", которому Толстой передает в конце письма привет, — несомненно Егор Петрович Ковалевский, брат министра народного просвещения, известный путешественник, автор книг „Путешествие во внутреннюю Африку", „Путешествие в Китай" и т. д., человек, близкий к Некрасову, Дружинину, Тургеневу, Фету, впоследствии председатель Литературного фонда. Во время войны был вместе с Толстым в Севастополе.

Дружинин, гордясь возложенною на него почетною миссиею, тотчас же прочитал „Юность“ и прислал Толстому очень дельный разбор его повести. „Порадовали вы меня, дорогой и милейший башибузук, и письмом вашим, и доверием к моему вкусу, и „Юностью“, которую я сейчас кончил, — писал он Толстому 6 октября 1856 года. — Я вас очень люблю и вижу перед вами славную дорогу, на которой однако будут и Кирюши,[1] и напрасные труды, и огорчение, и борьба с литературным безобразием, весь аккомпанемент самой лучшей деятельности...“ В конце письма Дружинин дает Толстому ряд наставлений, как бороться с Чернышевским в недрах самого „Современника“.[2]

Толстой тотчас же ответил Дружинину:

[Октябрь 1856.]
[Тула.]

Чрезвычайно благодарен я вам милейший Александр Васильевичь, за ваше славное, искреннее и дружеское письмо и слишком лестный суд, который мне все кажется, что я подкупил хитрым выражением беспомощности и особенной любви к вам; в чем я не лгал, но которую мог бы выразить в другой раз. — Как бы то ни было, мне ужасно хочется и я почти верю всему, что вы мне говорите, поэтому непременно хочу исправить все, что можно. Уж ежели есть хорошее в ней, то я хочу сделать все что могу, чтобы это хорошее представить в наилучшем свете. Рукопись не давайте никому, на это кроме того, что я хочу переправить, есть другие причины а я недели через две надеюсь быть в Петербурге и надеюсь по вашим указаниям переправить, что можно. — Я пишу из ненавистной мне Тулы, куда приехал на минутку и тороплюсь. Не знаю что значит обещание Григоровича печататься

---

[1] „Кирюша“ — заглавие крайне слабой повести Анненкова, которая стала синонимом плохих повестей („Современник“, 1847, 5; А в д. П а н а е в а, Воспоминания, М—Л. 1933, стр. 269).

[2] См. ниже второе письмо Дружинина к Толстому на стр. 257.

у вас в Феврале, но по смыслу условия это невозможно. Сестра, которую вы знаете и у которой я получил ваше письмо, после того как мы прочтя ваше письмо, много говорили о вас, просила меня написать вам, что она гордится тем, что, сказав с вами только несколько слов в Спасском, она разкусила вас и поняла вас именно таким, каким я вас описывал ей. Каким, вы сами знаете. Прощайте до свиданья любезнейший друг. Мне ужасно приятно и лестно вас называть так. —

Безобразие Чернышевского как вы называете все лето тошнит меня. Ежели бы вы отдали до моего приезда переписать Юность, с большими полями, это было бы отлично. —

Ваш Гр[аф] Л. Толстой. [1]

9

Вскоре после этого письма Толстой покинул Ясную Поляну. В начале ноября он был уже в Петербурге и, конечно, раньше всего посетил своего любимого друга. 8-го числа Дружинин записал в дневнике:

„Приехал Толстой к великой моей радости, и мы с ним были два дня неразлучны".

Под руководством Дружинина Толстой окончательно отделал свою „Юность" и лично передал ее в „Современник" Панаеву.

А с рассказом „Разжалованный", который был привезен для Дружинина, случилась неприятная история. Мы узнали ее лишь теперь из неизданного дружининского архива. В начале декабря цензура предложила Толстому устранить в этом рассказе всякие упоминания о том,

[1] Условие, по смыслу которого Григорович не имел права печататься в „Библиотеке для чтения", это тот самый договор с „Современником", о котором было сказано выше. Григорович с договором не считался, за что Некрасов назвал его „клятвопреступным".

Сестра Толстого, Мария Николаевна Толстая, познакомилась с Дружининым раньше, чем Лев Николаевич, — еще весною 1855 года, когда Дружинин вместе с Боткиным и Григоровичем посетил Тургенева в его имении Спасском.

что его герой был присужден к заключению в крепости, а также изъять те места, где Толстой выражает сочувствие нападкам разжалованного на грубых и тупых офицеров. Кроме того у Толстого потребовали, чтобы он дал рассказу другое заглавие, так как заглавие „Разжалованный" могло „привлечь нежелательное внимание читателей к тем карательным мерам, которые высшее правительство принуждено принимать в отношении более закоренелых преступников".

Толстой, по совету Дружинина, подчинился всем этим требованиям и тем исказил свой рассказ, в котором, из-за цензурных урезок, слишком затушеваны симпатии автора к ссыльному.[1]

В эту зиму Толстой еще ближе сошелся с Дружининым, и, когда в декабре был напечатан дружининский „Лир", Толстой даже отрекся на время от своей знаменитой ненависти к автору „Лира" и под обаянием Дружинина стал отзываться о Шекспире беззлобно.

Дружинин был рад и горд:

„А Лев Толстой, — сообщал он Тургеневу, — становится превосходным литератором, умнея и образовываясь с каждым часом. Уже он понимает Лира и пил за здоровье Шекспира".[2]

Ни в чем не сказалось с такой очевидностью дружининское влияние на Льва Толстого, как в этом эпизоде с Шекспиром. В течение шестидесяти лет Лев Толстой неизменно высказывал свою яростную нелюбовь к „неестественным", „пошлым", „дутым", „фальшивым", „ничтожным" произведениям „безнравственного" британского трагика, — и только теперь, в этот короткий период своего сближения с Дружининым, заглушил в себе привычную ненависть и принудил себя к любви.

Мудрено ли, что Дружинин чувствовал себя триумфатором.

Василий Боткин не замедлил поздравить его с этой великой победой:

„Вот и знаменитая антипатия Толстого к Шекспиру... Не могу не отдать себе справедливости в том, что

[1] См. ниже третье и четвертое письма Дружинина к Толстому на стр. 259.

[2] „Тургенев и круг „Современника", М.—Л. 1930, стр. 202.

я убежден был, что эта антипатия исчезнет при первом же случае, но я радуюсь, что случаем этим послужил ваш прекрасный перевод".[1]

Впрочем, через две-три недели некоторым наблюдателям стало казаться, что Толстой уже „объелся" Дружининым. Об этом с великим злорадством сообщил Тургеневу в Париж один из его петербургских льстецов и приспешников:

„Кстати о Толстом. Не имея к нему сочувствия, как к личности довольно нелепой и сумасбродной, я вовсе к нему не ходил и нарочно избегал его, не смотря на то, что он три раза был у меня и постоянно приглашал к себе. Наконец, дней десять тому назад, я таки пошел. И что же? Перед ним — лежат статьи Белин[ского] о Пушкине. По поводу этого завязался между нами разговор и, боже! какая славная перемена. Самолюбивый и упрямый оригинал растаял, говоря о Белин[ском], торжественно сознался, что он армейский офицер, дикарь, что Вы задели его страшно своею — по его выражению — „непростительною для литератора громадностью сведений" и т. д. и т. д. Поклонник Дружинина сознался, что ему тяжело оставаться с Дружининым с глазу на глаз, хотя он и хороший человек, но он „не может ему прямо смотреть в глаза". Словом, он восхитил меня и порадовал, я подивился этой крепкой натуре, которая ничего не хочет принять на слово и все добывает посредством собственной критики. В добрый час, благословите этого сильного и развивающегося человека. Вы скоро его увидите, он уехал в деревню и скоро отправится за границу. Но позвольте мне, милый Иван Сергеевич, сделать Вам одно маленькое предупреждение: не держитесь прежней методы и не хвалите его в глаза, напротив, показывайте вид, что все это в порядке вещей. Равнодушно-спокойный вид и невнимание к дикостям, которые он говорит, действуют на него самым отличным образом. Анненков, по совету деда тоже держится этого метода, и результаты, говорит, блистательные: он вырван наконец, из когтей... и кого же? прибавляет он: из ког-

---

[1] П. Бирюков, Биография Толстого, т. I, 1923, стр. 130.

тей чернокнижника [т. е. Дружинина]. Чернокнижник-редактор мрачен как гроза".[1]

Это письмо драгоценно. Написано оно Елисеем Колбасиным 15 января 1857 года. Колбасин знал, что Тургенев в то время был на стороне „Современника" и поспешил обрадовать Тургенева сенсационным известием, будто Толстой уже отошел от Дружинина и наконец-то всею душою примкнул к тем идеям, которые по заветам Белинского развивал в то время „Современник".

Колбасин не ошибся. Толстой действительно в ту пору охладел к Чернокнижнику и отмечал в дневнике: „все мне противны, особенно Дружинин".[2]

Но напрасно из подобных записей стали бы мы делать вывод, будто Толстой окончательно отвернулся от него с этого времени. Толстому в молодости — да и в более зрелые годы — вообще были свойственны приливы и отливы любви. У нас есть не мало свидетельств, что через несколько дней после такого „отлива" он еще сильнее прилепился к Дружинину. Изучение Львом Николаевичем произведений Белинского отнюдь не доказывало, что Толстой вышел из-под опеки редактора „Библиотеки для чтения". Напротив.

Как раз когда Толстой проводил с Дружининым почти все свои дни, Дружинин печатал в своем журнале статьи, направленные против Белинского и, главное, против того „фетишизма", с каким Чернышевский относился к этому „устарелому" критику. Дружинин доказывал, что, при своих великих достоинствах, Белинский был заносчив, легкомыслен, невежествен, и что статьи Чернышевского суть рабские, бледные, сухие, бездарные копии худших писаний Белинского. Дружинин утверждал, что, если бы Белинский прожил еще несколько лет, он сделался бы чистым эстетом и отрекся бы от тех „антипоэтических" влияний, которые завладели им в последний период его литературной работы.

Эти статьи писались и печатались буквально на глазах у Толстого, в ноябре и декабре пятьдесят

---

[1] „Тургенев и круг „Современника", М.—Л. 1930, стр. 314—315.

[2] Л. Н. Толстой, Дневники, под редакцией М. А. Цявловского в журнале „30 дней", 1933, 7, стр. 62.

шестого года, в то самое время, когда Толстой был в теснейшем контакте с Дружининым. Лев Николаевич пылко сочувствовал этим статьям и был на стороне Дружинина.

Колбасин не знал, что именно Дружинин усадил Толстого за книги Белинского, что Толстой и здесь поступает по указке своего старшего друга: Дружинин, как теперь выясняется, неоднократно внушал Толстому, что, подписав договор с „Современником", он, Толстой, обязан взять под свой личный контроль публицистику и критику журнала, чтобы постепенно, путем целого ряда тактических мер, вытеснить оттуда Чернышевского.

Еще осенью Дружинин писал Толстому:

„Спешите же ознакомиться с ходом журналистики, изучить теории Белинского, потому что в этом пункте будет у вас огромное разногласие [с Некрасовым, Чернышевским, Панаевым]".

Вот почему Толстой взялся за изучение Белинского, а совсем не потому, чтобы он хотел вырваться „из когтей чернокнижника". Характерно, что из всех статей Белинского он хвалил Колбасину те самые, которые хвалил хотя и с оговоркой, Дружинин. Он тогда же записал в дневнике, что статьи эти „чудо" [1] и под их влиянием с особенной остротой воспринял эстетическую прелесть поэзии Пушкина, — но отсюда еще очень далеко до признания публицистических заветов Белинского.

Вспомним, что немного позднее Толстой писал из Москвы своему приятелю Василию Боткину:

„Дружининские критики здесь очень нравятся; Аксаковым чрезвычайно. Его вступление в критику Писемского прекрасно". [2]

Это „вступление в критику" заострено именно против Белинского. В этом вступлении Дружинин восхваляет Толстого, а вместе с ним и еще двух писателей за то, что они „смело стали в разлад с критикой Гоголевского периода" — т. е. с Белинским. Он ста-

---

[1] Л. Н. Толстой, Дневники, под редакцией М. А. Цявловского в журнале „30 дней", 1933, 8, стр. 53.

[2] Толстой, Памятники творчества и жизни, редакция В. И. Срезневского, вып. IV, М. 1923, стр. 10.

вит Толстому в заслугу, что „на зло всем недавним авторитетам“ [т. е. на зло Белинскому] Толстой твердо держится за свою самостоятельность [т. е. не поддается влиянию идей Чернышевского].

„Когда мы думаем обо всем этом, — писал в своем „вступлении“ Дружинин, — нам делается весело, а на сердце нашем чувствуем мы свежесть. Сильна и почтенна должна быть та литература, которой не мог сбить на ложную дорогу даже голос критика, подобного Белинскому“.[1]

Заявив свою солидарность с этой статьей Дружинина, Толстой тем самым признал, наперекор увещаниям Тургенева, что он тоже считает дорогу Белинского — „ложной“, и что „Современник“, ближайшим сотрудником которого он сделался именно с этого года, ему органически чужд.

10

Очень странная сложилась ситуация, какой, кажется, никогда не бывало в истории мировой журналистики.

Четыре замечательных писателя добровольно прикрепились к „Современнику“, и „Современник“ объявил, что с такого-то времени они нигде, кроме „Современника“, не станут печататься. Большинство из них и без этого было связано с „Современником“ давними узами и печаталось почти исключительно в нем. Григорович и Тургенев здесь и начали свою подлинную литературную деятельность, а Толстой вообще с самой первой написанной им строки нигде в других журналах не печатался. Это был их собственный журнал, — и вот теперь, когда они примкнули к нему еще ближе, они чувствуют себя в нем, как в неприятельском лагере. Словно их взяли в плен и заставили работать на врага. Их добровольный союз с „Современником“ кажется им принудительным — и они входят в соглашение с его тайным врагом, который призывает их к саботажу, к открытому бунту и к захвату неприятельских позиций. Особенно необычно положение Толстого. Чуть только „Современник“

[1] Собрание сочинений А. В. Дружинина, СПБ. 1865, т. VII, стр. 263 и 264.

объявил его исключительным и ближайшим сотрудником, он окончательно отпал от „Современника", перестал бывать в его редакции и начал высказывать полную свою солидарность с редакцией враждебного органа, где он и права не имел печататься.

„Левушка, — писал о нем Дмитрий Колбасин Тургеневу, — до обожания поддался авторитету Дружинина, который — увы! — в отсутствие Некрасова играет весьма значительную роль — все лучшее не минует его рук... Против Чернышевского озлобление адское и доверия [ему] ни на грош... Некрасова нет, Некрасова нет!" [1]

Считалось, что все пошло бы совсем по-другому, если бы в самую горячую пору Некрасов не уехал в Италию. А между тем дело было совсем не в Некрасове. Дело было в том, что „Современник" именно в эти два года — под влиянием сдвига социальных пластов, понемногу незаметно перестраивался: из органа дворянской оппозиции превращался в мелкобуржуазный журнал.

Дело было вовсе не в том, что этот журнал коварно захватил Чернышевский, а в том, что читатели „Современника" стали другие и потребовали, чтобы журнал стал другой. Даже Некрасов на первых порах не вполне сознавал, как решительно и властно это требование. Он все еще держался за эту четверку, все еще пытался сблизить ее с Чернышевским и оторвать от Дружинина, и далеко не сразу ему сделалось ясно, что в „Современнике" этой группе не место, что новый читатель отнюдь не охотник до создаваемых ею высоких шедевров, что журналу Чернышевского больше подстать антидворянская, антитургеневская беллетристика Помяловского, Слепцова, Николая Успенского...

Все это случилось потом. А зимою 56—57 года победителем казался Дружинин, ибо все, так сказать, столпы „Современника" сплотились вокруг него.

Толстой до такой степени поддался влиянию дружининской проповеди, что, читая его тогдашние письма, мы не можем не притти к убеждению, что он бессознательно цитирует в них высказывания своего старшего друга.

Даже говоря о наружности Чернышевского, о его лице,

[1] Письмо от 27 ноября 1856 года, „Тургенев и круг „Современника", 1930, стр. 296.

о его голосе, он вторит словам Дружинина. Возьмем хотя бы тот отрывок из дружининского дневника, в котором выражена ненависть к желчевику Чернышевскому:

„Критик, пахнущий клопами. Злоба. Походка. Золотые очки. Пищание. Зол да не силен".

Толстой высказывает слово в слово то же самое:

„Срам с этим клоповоняющим господином. Его так и слышишь тоненький неприятный голосок, говорящий тупые неприятности и разгорающийся еще более от того, что говорить не умеет и голос скверный".

Иные строки Льва Толстого, написанные в 56 году, кажутся парафразами дружининских журнальных статей:

Дружинин:	Толстой:
„Критика Белинского сделала много для нашей науки и для нашей литературы. Но... все наши инстинкты возмущаются, когда нам по несчастию приходится в наше время... встречать рабские бледные, сухие, бездарные копии старого оригинала".	„...Белинский был как человек прелестный и как писатель замечательно полезный; но... он породил подражателей, которые отвратительны".

Заветные мысли Дружинина, что в литературе должны высказываться лишь добрые и радостные чувства, а не желчь, не злоба, не протест, что Пушкин благотворнее Гоголя, что Некрасов, утверждающий поэзию желчи, извращает задачи искусства, — все эти мысли нашли выражение в послании Толстого к Некрасову.

„У нас не только в критике, — пишет Толстой, — но и в литературе утвердилось мнение, что быть возмущенным, желчным, злым — очень мило, а я нахожу, что очень скверно; Гоголя любят больше Пушкина; критика Белинского — верх совершенства; ваши стихи любимы из всех теперешних поэтов. А я нахожу, что скверно, потому что человек желчный, злой — не в нормальном положении... А злоба ужасно у нас нравится. Вас хвалят, говоря: он озлобленный человек, вам даже льстят вашей злобой и вы поддаетесь на эту штуку".

Все эти запальчивые слова, несмотря на всю свою т р о г л о д и т с к у ю видимость, буквально пересказывают тогдашние писания Дружинина. Это, так сказать, квинтэссенция дружининских критических очерков, печатавшихся тогда в „Библиотеке для чтения".

Замечательно, что Толстой, повторяя слово в слово эту проповедь, считает ее собственным открытием.

„Я открыл удивительную вещь, — писал он тогда же старику Ковалевскому, — (должно быть я глуп, потому что, когда мне придет какая-нибудь мысль, я ужасно радуюсь) — я открыл, что возмущение, склонность обращать внимание преимущественно на то, что возмущает, — есть большой порок и именно нашего века... Умышленно ищи всего хорошего, доброго отворачиванием от дурного, а право, не притворяясь, можно ужасно многое любить не только в России, но и у самоедов".

Эта „удивительная вещь" тоже написана под наваждением Дружинина.

Б. Эйхенбаум уже отметил в своей книге о Льве Толстом сходство литературных суждений Толстого, высказанных в письме к Некрасову, с литературными суждениями Дружинина. Но, как явствует из приводимых отрывков, влияние Дружинина было сильнее и глубже; оно захватывало философию Толстого, основным пунктом которой было примирение с действительностью. Конечно, все эти мои утверждения требуют больших оговорок. Не сомневаюсь, что Лев Толстой и помимо Дружинина, своим собственным внутренним опытом дошел до радостного утверждения жизни. Но именно вследствие этого проповедь Дружинина нашла для себя такую благодарную почву. И, конечно, если бы Толстой, по своему положению „дикого барина" (как называл его в одном письме Колбасин), сам не был расположен к борьбе с „новосеминарским засильем", дружининские статьи в „Библиотеке для чтения" не оказали бы на него никакого влияния, — равно как и беседы с Анненковым и Василием Боткиным.

11

В практической журнальной борьбе с „новосеминарским засильем" Толстой тоже был верный союзник Дружинина.

В начале 58 года Толстому пришла мысль, что помимо

„Библиотеки для чтения“ необходимо основать журнал для защиты чистого искусства от „политического грязного потока“. Он хотел сплотить в этом журнале всех врагов чернышевско-некрасовского направления в искусстве. Об этой своей затее он написал Василию Боткину большое письмо. Теперь оказывается, что эта затея была тоже внушена ему Дружининым. В апреле того же года Дружинин пишет Толстому письмо, где снова повторяет ему, что „для противодействия всем теперешним неистовствам и безобразиям“ надо создать новый журнал, куда должны войти: Тургенев, Гончаров, Писемский, Майков, Авдеев, Островский.[1]

К этому Дружинин добавляет, что можно, пожалуй, взять в аренду „Библиотеку для чтения“. Лев Толстой отозвался взволнованным, „весенним“ письмом (весенние письма были у молодого Толстого особенные), обнаруживающим, как нежно любил он в ту пору Дружинина:

[1 мая 1858]

Точно обыкновенная фраза выдет объявление моей радости о вашем выздоровлении, любезный друг Александр Васильевичь, а мне бы хотелось вам рассказать как я обрадовался. Мне смешно стало и я один смеясь ходил по комнате с вашим письмом в руках. Ну да, славу богу, только ради бога берегите себя, особенно насчет женщин, — уезжайте в деревню поскорей. Теперь уж так хорошо. А что вы не приедете ли в наши края. Я пробуду должно быть все лето. Копаюсь за романом и хозяйничаю немножко и соловьи и природа и чтенье и музыка — дел не оберешься. О! коли бы вы приехали пожить у меня. Как [бы] мы устроились, как бы работалось, как бы болталось, как бы отлично. На Тургенева нет никакой

[1] Это письмо напечатано у Бирюкова с большими неточностями: Бирюков предположил, что оно написано в начале 1856 года, тогда как оно относится к весне 1858 года. В этом письме шуточное прозвание Писемского — „Ермил“ — понято как фамилия какого-то автора, который даже фигурирует в именном указателе в качестве „писателя Ермина“ (П. Бирюков, Биография Л. Н. Толстого, М.—Л. 1923, т. I, стр. 134, 135, 239). В настоящей книге оно печатается на стр. 260.

надежды кажется. Колбасин писал, что [он] едет лечить свои... в Зинциг. Ей богу несносно. Ну болят..., ну что делать. Можно и в России жить с больными...; а время уходит. Досадно. Подумайте, любезный друг, почему бы вам не приехать. Как бы мы устроились, как бы все переговорили. Нынче о журнале ничего не пишу, потому что не могу подумать хорошенько об этом; но что сердце мое и мысли лежат к этому делу, что я совершенно свободен и ничем не свяжу себя впредь, это несомненно. Что касается до сотрудничества в Библиотеке, то хотя ничего не могу обещать, при одинаковых условиях я предпочту библиотеку, т. е. вас всем другим редакторам это тоже несомненно. — Насчет предполагаемого журнала скажу главные два пункта в которых я не согласен с вами: 1) Журнал с новым исключительным направлением, должен быть новый, без прошедшего, без составившегося о нем мнения. — 2) Ученая часть будет слаба. Все сотрудники дельные разобраны. Конкуренция везде. Полемика. — И в журнале как и в сочинении, — еще больше — особенно в новом журнале главное достоинство не столько в том, чтобы были в 12 книжках три хорошие статьи ученые, сколько в том, чтобы в целый год не было ни одной вздорной. А с теми средствами по ученому отделу, которые можно предвидеть, это невозможно. — Но дело вот в чем. Место у меня славное — не хуже Кунцова комната, хоть дом вам будет отдельной, город два шага. В матерьяльном отношении устройтесь как хотите, будьте сами хозяином. Право пожалуйста приезжайте. — Затем прощайте, от души жму Вам руку и ожидаю благоприятного ответа на мое приглашение.

1 мая *Ваш Гр. Л. Толстой.*

Здесь сказалась такая влюбленность Толстого в Дружинина, о которой мы не могли бы и догадаться впоследствии. Ведь через несколько лет Толстой так реши-

тельно выбросил из души все дружининское, что самая мысль о сближении этих двух столь несхожих людей показалась бы позднейшему поколению чудовищной. Роман, над которым тогда „копался“ Толстой, очевидно — „Казаки“, начатые им еще на Кавказе. Когда Толстой говорит: „ничем не свяжу себя впредь“, — это значит, что больше он не станет подписывать договоров с издателями об исключительном сотрудничестве в одном журнале. Когда он говорит, что его „Ясная“ не хуже Кунцова, — он имеет в виду подмосковную местность Кунцово, где жил Дружинин летом 56 года, когда гостил у Василия Боткина.

Дружинин, конечно, ответил, что он готов отдать все свои средства на служение журналу антидидактическому.

Насколько мы знаем, Толстой в последующие пятьдесят лет своей жизни ни разу не упомянул даже фамилии Дружинина, — ни в разговорах, ни в сочинениях (за исключением записи о влиянии „Полиньки Сакс“). В своих стариковских статьях „Что такое искусство“, „О Шекспире и о драме“ он разоблачает эстетику, которой был верен Дружинин, как величайший обман, созданный врагами трудового народа для оправдания его эксплоатации. В „Исповеди“ он клеймит всю плеяду писателей пятидесятых годов, внушавших ему веру в самоценность искусства, и среди них, конечно, не может не вспомнить Дружинина, хотя опять-таки не называет его имени.

Поэтому такой неожиданностью явилась для нас та близость Толстого с Дружининым, которая стала известна теперь благодаря новооткрытым материалам.

В 1857 году Лев Толстой и Дружинин встретились за границей, в Швейцарии, на берегу Женевского озера — и целые дни проводили вдвоем. Толстой прочитал своему другу „Альберта“ и начало романа „Казаки.“ Дружинину „Казаки“ понравились очень, а в „Альберте“ он одобрил лишь сюжет.[1] Толстой обещал дать „Казаков“ ему в „Библиотеку для чтения“, „Альберта“ же начал переделывать снова, по советам и указаниям Дружинина. Но потом в их переписке наступает как будто двухлетний перерыв. Следующее письмо Льва Толстого, находящееся в бумагах Дружинина, относится уже к 1859 году

[1] См. ниже седьмое письмо Дружинина к Толстому на стр. 262.

и адресовано известному меценату графу Григорию Александровичу Кушелеву-Безбородко. Кушелев в то время был хозяином „Русского слова“ и только что издал стихотворения Майкова.

Толстой, первые две книги которого почти не имели успеха, подыскивал в то время издателя для третьей и надумал при содействии Дружинина обратиться к Кушелеву-Безбородко.

Весною 1859 года, проездом через Москву в Петербург, он прислал Дружинину такое письмо с просьбой переслать его Кушелеву:

Ваше Сиятельство
Милостивый Государь
Граф.

Из печатанных в журналах моих сочинений, есть большая половина не напечатанная отдельным изданием. Сочинении эти:

1) Метель . . . . . (Современник)
2) Два гусара . . . . . —
3) Утро помещика . . . . . (От. Записки)
4) Встреча с Московским знакомым . (Библиотека)
5) Люцерн . . . . . (Современник)
6) Альберт . . . . . —
7) Юность . . . . . —
8) Три смерти . . . . . (Библиотека)

Предполагая, что перепечатка этих сочинений может мне принести чтонибудь, и зная, что Вы берете на себя издание некоторых Русских авторов, я предлагаю Вашему Сиятельству эти вещи, предоставляя Вам назначить время и условия издания.

В ожидании ответа имею честь быть
Вашего Сиятельства
покорный слуга
Граф Л. Толстой

Москва
26 Марта 1859 года

Строки каллиграфически выведены чужой, очевидно писарской, рукой и только подпись под ними принадлежит Льву Толстому. Вряд ли, подписываясь под этим письмом, Толстой внимательно прочитал его текст. Трудно допустить, чтобы он адресовался к Кушелеву в таком униженно-оскорбительном стиле. Да и мотивировка его обращения к Кушелеву не вяжется с его тогдашним стилем.

Как видно из других материалов, хранящихся в рукописном отделении ИРЛИ, обратиться к Кушелеву посоветовал Толстому поэт Яков Петрович Полонский, который был своим человеком у Кушелева и состоял одним из редакторов „Русского слова".

Дружинин, получив толстовское письмо, решил не передавать его Кушелеву, а обратился к Полонскому с такою запиской:

„Уведомьте меня хоть по городской почте о том, в каком положении дело Толстого? Он просит скорого ответа, чтобы не упустить случая по изданию своих повестей, который может в Москве представиться. Пусть Кушелев ответит просто да или нет и, в случае да, войдет с Толстым в сношения об условиях.

Душевно преданный Вам

А. Дружинин".[1]

Но Кушелев не отвечал ни да, ни нет. Кушелев хотел, чтобы Толстой передал ему для издания все три тома своих сочинений — это было едва ли возможно, так как первые два еще находились в продаже. Кушелев это знал и предъявил свое требование лишь для того, чтобы уклониться от издания рассказов Толстого, который в глазах большинства был в 1859 году писателем конченным.

Характерно, что, несмотря на все хлопоты петербургских и московских друзей, Толстому так и не удалось найти издателя для книги своих новых рассказов. В этом, если всмотреться внимательно, было больше всего виновато именно то дружининское направление Толстого, ко-

---

[1] Рукописное отделение ИРЛИ.

торое с каждым годом становилось все более несозвучно эпохе шестидесятых годов.

Приехав в Питер весною 1859 года, Лев Толстой совместно с Дружининым принял участие в одном талантливом писателе. Писатель был из низов, самоучка, и служил писарем в какой-то канцелярии военного ведомства. Он был уже не молодой человек, звали его Петров. Рассказы писал он в обличительном духе, но так как был, в сущности, „человек сороковых годов", с нигилистами сблизиться не мог и оказался в лагере Дружинина. Дружинин, кажется, первый открыл в нем талант и стал печатать его в „Библиотеке для чтения", всячески охраняя его от соблазнов „дидактики" и „новосеминарских влияний". Об этом-то Петрове и говорится в нижеследующем письме Льва Толстого к Дружинину. Литературная судьба Петрова так характерна для эпохи шестидесятых годов, что я посвящаю ему отдельный очерк на дальнейших страницах.[1] Это письмо Толстого кажется мне наиболее ценным во всей переписке.

[16 апреля 1859.]

Неужели же вы так и не приедете нынче весной в Ясные Поляны, любезный Александр Васильевичь? Я еще не хочу этому верить и надеюсь что ваша Маша поправится. Во всяком случае напишите что и как? Я так жду вас, да и жалею о вашем горе. Я на Пасху уезжал в деревню и встретил весну и праздники с своими. Уж сирени развернулись, березки подернуты зеленью, соловей посвистывал, была гроза, прибило жаркую пыль, пахло свежестью и пылью, лягушки заливаются. Нынешнее лето, тем паче мне бы хотелось быть с вами, что хозяйство уже не так всего меня требует как прежде и я намерен наслаждаться просто. Жизнь коротка. Еще что будет хорошо. Вы верно сойдетесь и полюбите обоих моих братьев. Как они меня порадовали тем, что оба в восхищеньи от Сарг[иной] Мог[илы] собственным чувством.

[1] См. ниже статью „Неизвестный Петров".

Что Петров? Возьмите между прочим у Давыдова по экземпляру моих книжечек и подарите от меня и дайте его адрес. A propos de литература. Обломов — капитальнейшая вещь какой давно давно не было. Скажите Гончарову, что я в восторге от Облом[ова] и перечитываю его еще раз. Но что приятнее ему будет — это что Обломов имеет успех не случайный не с треском, а здоровый капитальный и невременный в настоящей публике. Это я был a mème de savoir по деревенским толкам, по молодежи и по тамбовским барышням. Я же с тех пор как стал литератором не могу не искать недостатков во всех больших и сильных вещах и об Обломове многое желаю поговорить. Кто пишет „деревенские письма" в От. Зап. Это по моему славный талант и вещи прекрасные и я боюсь не оцененные. Во всяком случае поздравьте Кра[е]вского с этим приобретеньем. Тургенева я не видал но брат Н[иколай] все время жил у него. Он, т. е. Тург[енев] охотился, ездил по соседям и твердо убежден, что он заводит фермы и делает то что уж надо же наконец покончить". Что деньги я вам так прислал — это ничего не значит. Новая повесть Кохановской есть г... по моему мнению; хотя и тут есть размах и смелость редкая и дорогая в наше время но зато увы! нет чувства меры и не художник. Я свою повесть 3-й раз переделываю и мне все кажется, что что-то да выходит. Прощайте, ради бога не измените. Кланяйтесь матушке и всем знакомым.

У Боткина карбункул на.... и он лежит, но мил бедняжка. —

Тот необычайный для Толстого интерес к литературным и журнальным злобам дня, который выразился в этом письме, объясняется, я думаю, тем, что как раз в этом месяце в „Русском вестнике" только что была напечатана (и еще не дошла до Толстого) его новая повесть „Семей-

ное счастье", на успех которой он возлагал тогда столько надежд.

Благодаря этой повести ощущение связи с литературой необычайно усилилось: Толстой не только высказывается здесь о Кохановской, Гончарове, Петрове, но даже о неведомом П. С., который печатал в „Отечественных записках" Краевского весьма непритязательные „Деревенские письма". Толстому понравилось пятое письмо этого автора, где очень бойко изображена захолустная деревня накануне реформы. В этом письме нефальшивый деревенский язык, но, конечно, оно потому главным образом получило столь высокую оценку Толстого, что в те дни, в ожидании успеха „Семейного счастья", он был особенно щедр на похвалы своим собратьям по литературному делу. „Может быть против моей воли и сознания не я, а сидящая во мне еще не назревшая повесть заставляет меня любить вас", — писал он однажды Фету.

Характерны в этом отношении его восторги перед гончаровским „Обломовым", который был только что закончен печатанием в журнале Краевского. Впоследствии Толстой относился к „Обломову" гораздо суровее.

Дружинин передал Гончарову похвалу Льва Николаевича, и Гончаров отозвался на эту похвалу обширным благодарственным письмом. „Слову вашему о моем романе я тем более придаю цену, что знаю, как вы строги, иногда даже капризно взыскательны в деле литературного вкуса и суда".[1]

Повесть Кохановской „Из провинциальной галлереи", в которой Толстой, несмотря ни на что, тоже готов признать кое-какие достоинства, была напечатана в мартовской книге того самого „Русского вестника", где через месяц появилось толстовское „Семейное счастье".

Ощущение такой прочной связи с писательским миром длилось у Толстого недолго. Когда Толстой увидел свое „Семейное счастье" в печати, он почувствовал, что оно катастрофически плохо. Этой повестью он мечтал воскресить утраченную литературную славу, ему чудилось, что ею он затмит только что прогремевшее „Дворянское гнездо" своего соперника Тургенева, тут была его един-

[1] „Красная нива", 1928, № 37.

ственная ставка, и вот 3 мая 1859 года он увидел, что эта ставка проиграна, и что он как писатель погиб:

„Василий Петрович, Василий Петрович! — в отчаянии писал он Василию Боткину: — Что я наделал со своим семейным счастьем! Только теперь, здесь, на просторе, опомнившись и прочтя присланные корректуры второй части, я увидел, какое постыдное г...., пятно, не только авторское, но человеческое — это мерзкое сочинение... Вы меня подкузмили, чтобы отдать это, будьте же за то и вы поверенным моего стыда и раскаяния. Я теперь похоронен и как писатель и как человек... Конец повести не прислан мне и не нужно присылать ее... Это мука видеть, читать и вспоминать об этом". [1]

Провалившееся „Семейное счастье" если и не было написано по канонам Дружинина, то во всяком случае из всех произведений Толстого оно к этим канонам приближается больше всего.

Чувствуя себя похороненным, Толстой, чтобы порвать с литературой, весь ушел в яснополянское хозяйство, и когда Дружинин осенью того же 1859 года, т. е. через несколько месяцев после появления „Семейного счастья", обратился к Толстому с обычной редакторской просьбой дать ему для журнала рассказ, Толстой ответил ему следующим (тоже не бывшим в печати) письмом:

9 Октября. Ясная Поляна. [1859.]

Верю любезный друг Александр Васильевичь, что вы меня любите как человека, а не как редактор писаку который, будто бы, вам может быть на что нибудь годен. Теперь же как писатель я уже ни на что не годен. Я не пишу и не писал со времени Сем[ейного] Счастья и кажется не буду писать. Льщу себя по крайней мере этой надеждой. —

Почему так? Длинно и трудно рассказать. Главно[е] же — жизнь коротка и тратить ее в взрослых летах на

[1] Толстой, Памятники творчества и жизни, 4, редакция В. И. Срезневского, М. 1923, стр. 66.

писанье таких повестей, какие я писал — совестно. Можно и должно и хочется заниматься делом. Добро бы было содержание такое, которое томило бы, просилось наружу, давало бы дерзость гордость и силу — тогда бы так. А писать повести очень милые и приятные для чтения в 31 год, ей богу руки не поднимаются. — Даже смешно, как подумал, что — не сочинить ли мне повесть? — Поэтому то желания вашего исполнить не могу, как мне ни досадно вам отказать в чем бы то ни было. — Пшеницы продать, распорядиться вашим хозяйством и еще кое-что — это могу. А главное могу и хочу облобызать вас, приехать в Петербург полежать с вами поболтать и поужинать под председательством вашей матушки. И все это непременно сделаю. Петрова новую повесть сейчас прочел. Она мне положительно не понравилась; хотя видна сила большая. Но его горе противуположное нашему и большое — современная бессознательность дарованья. Он сам не знает что в нем велико и Катерина намек тень, когда она должна бы быть все. Ежели бы он был помоложе горе это было бы исправимо, а теперь боюсь он так и останется не „надежда", а „сожаленье". Что бы он мог быть. Писемскому, Гончарову и всем кланяйтесь я бы желал, чтобы милые мои прежде бывшие собратья не забывали меня. Я же не перестану дорожить ими. Правда ли что милый славный Полонской в дурном положении? Фет уехал в Москву и бедный, у него большое горе — сестра очень больна.[1] Да-с, Фет gagne a être connu, что больше я его знаю, тем больше люблю и уважаю. Тургенев напротив в нынешний его приезд, я окончательно убедился, что он и [добрый] и умный и даровитый человек, но один из самых несноснейших в мире. А с тех пор как я получил эту новую точку зренья на него, мне с ним легко стало. —

[1] У Фета сошла с ума сестра. См. А. Фет, Воспоминания, М. 1889, т. I.

Перед Петровым я виноват не отвечав ему передайте ему приложенное ежели напишется. Прощайте обнимаю вас от всего сердца.

Ваш Л. Толстой.

Чувствуя себя умершим писателем, Толстой называет Писемского, Гончарова, Полонского „бывшими своими собратьями", а Петрову, которым он так восхищался недавно, он даже не ответил на письмо. Должно быть Петров, польщенный его похвалами, выражал ему в письме благодарность за доброе к себе отношение, но „умерший для литературы" Толстой порвал всякие связи и с ним. (Подробнее о Петрове в связи с этим письмом см. в настоящем томе статью „Неизвестный Петров".) Следующее письмо Льва Толстого относится к зиме того же года.

[20 декабря 1859. Ясная Поляна.]

Любезный друг Александ[р] Васильевичь!

Сделайте дружбу заезжайте в книжную лавку к Давидову и спросите у него рассчет за мои книги кот[орых] у него по последнему счету оставалось больше чем на 2 000 р.[1] Ежели есть выручка, то чтобы он из нее выслал мне на 1860 г.

1. Revue des deux mondes.
2. Times.
3. Русской Вестник

на мое имя в Тулу и на имя Александра Михайловича Исленьева в г. Одоев Тульской губер[нии][2]

1. Современник и
2. Библиотеку

---

[1] Выше было сказано, что первые книги Толстого „Военные рассказы", „Детство и отрочество" в отдельном издании не имели успеха. Как видно из приводимого письма, через три года после их выхода в свет, их все еще оставалось у книгопродавца Давыдова „больше чем на 2 000 рублей".

[2] Александр Михайлович Исленьев — дед жены Толстого Софьи Андреевны. Толстой вывел его в „Детстве и отрочестве" в образе отца Николеньки Иртеньева.

Остальные деньги, ежели есть чтобы прислал. —

Так как Давыдов мне не отвечал на одно письмо, то может случиться, что он откажется или вы не захотите с ним иметь дело, то сделайте одолженье, выпишите на свои деньги эти журналы я [при] тотчас же вам вышлю деньги. — И пожалуйста поскорей, так чтобы и я и Исленьев получили бы во время.

Драма Писемского мне очень и очень понравилась здорово, сильно и правдиво невыдуманно. Но и в ней он как и в других своих отличных вещах, не избег неловкостей ужасных. Как этот барин на барьер мужика вытягивать хочет. [1]

Что вы, мой дорогой, как ваше здоровье, не хандрите ли? Как деятельность ваша приятна ли? Что хорошего нового в литературном мире. Фет прислал мне несколько стихотворений из Гафиза. Напрасно он их писал. Опять на Тургеневе грех. Я нынешний год едва ли вас увижу, т. е. зиму, летом же без отговорок жду вас в Ясную. Я переделывал дом и имел вас в виду при этом. Я не пишу и надеюсь что не буду; и несмотря на то так занят, что давно хотел и не было времени писать вам. — Чем я занят расскажу тогда когда занятия эти принесут плоды. — Однако не бойтесь писать мне, теперь уж я найду время тотчас отвечать вам. Будемте по чаще и поаккуратнее переписываться. Матушке передайте мой душевный поклон и прощайте.

Л. Толстой

20 декабря.

Заносить меня в список литераторов не зачем.

---

[1] Драма Писемского „Горькая судьбина" только что появилась в журнале Дружинина. Во втором действии этой драмы молодой помещик, любовник крестьянки, говорит ее обманутому мужу, своему крепостному: „Если в тебе оскорблено чувство любви, чувство ревности, вытянем тогда друг друга на барьер и станем стреляться". Это место драмы и показалось Толстому „неловкостью ужасной".

Толстой попрежнему находится под сильным влиянием неудачи, постигшей его „Семейное счастье". Он опять повторяет Дружинину „я не пишу и надеюсь, что не буду". Из литературы он ушел в педагогику: занялся устройством яснополянской школы. Об этих занятиях он и упоминает в письме. Его разрыв с литературой ощущался им в то время так остро, что он даже не пожелал войти в число членов Литературного фонда, только что основанного Дружининым,—„заносить меня в список литераторов незачем".

Неприязнь к Тургеневу, сказавшаяся в предыдущем письме, нашла свое отражение и здесь. Тургенев, как известно, подарил Фету немецкое издание стихотворений персидского поэта Гафиза, которые Фет перевел на русский язык. Тургеневу его переводы понравились. „А кстати я вам подарил Гафиза, — писал он Фету в октябре 1859 года. — Добрый гений мне это подшепнул. Переводы ваши хороши". Но Толстой остался недоволен переводами Фета: „опять на Тургеневе грех".

Дружинин ответил Толстому обширным письмом (от 31 декабря 1859 года), в котором между прочим защищает Тургенева:

„Тургенев тут не виноват, и он и я, мы отговаривали Фета от Гафиза, бранили его за сношения с „Русским словом", но он сказал: Если бы портной Кундель издавал журнал, под названием Х.. и давал мне деньги за мои стихи, я, при моей бедности, стал бы работать для Кунделя".

Далее в письме Дружинина следуют интересные сведения о только что основанном Литературном фонде:

„Общество фонда сильно нас занимает, и помимо своего полезного значения, служит нам центром соединения. Из Комитета всегда уезжаешь с приятным чувством. Ковалевский кричит, Чернышевский попискивает, Анненков пускает сладостного туману, Тургенев блаженствует как рыба в воде, и сам Андрей [Краевский] хотя предлагает в Члены отъявленных стервецов, но с бурчанием своим прекрасен, и я опять его друг. Кстати, что это вы приписываете в письме, что вас незачем вносить в список литераторов? Если это относится до ваших трудов, то это ваше дело, но если вы хотите сказать, чтобы вас

вычеркнули из списка Членов, — то выполнять такого поручения я не берусь. Да наконец вас не убудет от того, что вы будете стоять в списке и пришлете хоть десять рублей ежегодного взноса". [1]

Но Толстой, все еще чувствуя себя умершим писателем, ополчился против Литературного фонда и написал Дружинину злое письмо.

Это письмо относилось к началу января 1860 года и не было послано Львом Николаевичем, так что письмо Дружинина осталось без ответа. Толстой в то время был весь поглощен своей школой, а Дружинин — Литературным фондом и журнальной работой, к которой Толстой после неуспеха „Семейного счастья" относился с большой неприязнью. Таким образом идейная близость Толстого с Дружининым кончилась, осталась только инерция дружбы. Лишь через четыре с половиной месяца Толстой возобновил переписку с Дружининым — да и то по случайному поводу: у Толстого заболел чахоткой младший брат Николай и нужно было везти его за границу лечиться. Толстой обратился к Дружинину с таким письмом:

[14 апреля 1860 г. Ясная Поляна.]

Любезный друг Александр Васильевич.

На ваше последнее письмо я было тотчас ответил, но не послал это письмо, потому что в нем неизвестно почему, как это бывает в одиночестве разгорячился на ваш литературный фонд и рассудил, что такая выходка могла бы вам быть неприятна. —

Теперь же пишу вам, откровенно признаюсь, потому что есть дело в Петербурге и больше не к кому обратиться как к вам. Дело вот в чем. Сестра с детьми и братом Николаем едут за границу, на Штетин, нужно взять места для двух дам и одного господина и трех детей (все ниже 12 лет) в первом классе и для одной девушки в 3-м классе. Сестра желает поехать не раньше половины Июня и не позже конца навигации. Следова-

[1] В приложении к настоящему тому это письмо напечатано полностью на стр. 271.

тельно ежели есть места, то берите теперь на Июнь. Ежели есть каюты семейные, в которых могут поместиться все, кроме девушки, то берите каюту деньги посылаю с этой же почтой 300 руб. сер. Ежели вы будете добры сделаете это, или поручите кому нибудь, то отпишите тотчас же и счет, ежели мало денег, или остаток, ежели лишние — оставьте у Давыдова, так как я полагаю вас не будет в Петербурге в Июне месяце. Мне кажется, что вы охотно возьмете на себя эти хлопоты, а ежели я ошибся, то простите. Я бы для вас охотно похлопотал. Что вы летом намерены делать? Что план и обещанье в Ясную? Мне совестно вас звать, как будто при случае порученья. А право хорошо бы было я бы вас угостил многим хорошим кроме своей особы: 1 Фетом, который кажется поживет у меня, 2 прекрасной природой и 3 крестьянской школой, которой могу похвастаться. —

Про себя собственно могу сказать, что мне хорошо. Сначала было тяжело разорвать связь с литературой, задавить в себе честолюбивую потребность высказываться, но теперь напротив все вокруг меня стало гораздо яснее, проще и ближе ко мне чем было. Главное ближе. И вы не поверите как это отрадно. Ногам тяжелее, но прочнее стоишь на земле. Дело не так красиво и свободно, но прочнее и ощутительнее. Кроме того дела мои идут хорошо, я здоров, весел, вижусь часто с братьями и сестрой кот. люблю, нашел в Туле Ауербахов, прекрасных людей а еще притом весна и все бы хорошо, а тут страшное горе сбирается над нашей головой. Вы знаете что один мой брат умер от чахотки, в нынешнем году у брата Николая все те же симптомы и усиливаются с страшной быстротой. Как и все он не понимает своего положения и кроме того упрям и на наших глазах человек, которого мы любили лучше всех других, сам убивает себя, когда может быть еще была бы надежда. Одна моя

надежда это поездка за границу хоть в Июне. Теперь он ни за что не хочет. Пожалуйста постарайтесь к половине июня достать места. Может быть, особенно ежели Ник[олаю] будет хуже я провожу их до Петербурга, но едва ли тогда увижу вас. Право приезжайте в Ясную. Мне кажется, мы бы славно прожили вместе. —

Прощайте, — кланяйтесь матушке и отвечайте мне поскорей хоть двумя словами.

Л. Толстой.

О литературе в этом письме ни слова. Кроме соседа-Фета, Толстой не упоминает ни одного литератора. Супруги Ауэрбахи, о которых он пишет, помещики, проживавшие близ Тулы, в своем имении Горячино, где у них был свеклосахарный завод.

Дружинин тотчас отозвался на это письмо. Он выразил живейшую готовность исполнить поручение Толстого. Но обстоятельства в семье у Толстых изменились. Мария Николаевна отказалась ехать с умирающим братом — и поэтому вместо семи билетов нужно было купить только два. Об этом Толстой и поспешил написать Дружинину в начале мая 1860 года:

Любезный друг Александр Васильевичь! Отъезд сестры по случаю [болезни] ее сына еще не решен; а брат Николай с другим братом едут одни, поэтому пожалуйста возьмите два места 1-го класса для них ежели можно к [не дописано]. Деньги же остальные оставьте у себя или Давыдова, да брат Николай заедет к вам и переговорит. Очень вам благодарен, что вы так скоро и акуратно отвечали, пожалуйста еще возьмите на себя взять места сестре, ежели устроится ее поездка. Она кланяется и благодарит вас. Простите, что не пишу вам, бог даст, провожая сестру увижусь с вами и переговорю обо многом. —

До свиданья, жму вашу руку и прошу не забыть передать почтение матушке.

Ваш Л. Толстой.

[На обороте] В Хлебном переулке в доме Водова.

Это последнее письмо Льва Толстого к Дружинину разительно непохоже на его первые письма, откровенные, лиричные, нежные, богатые разнообразными литературными откликами. В конце июня Лев Толстой был уже в Петербурге. Можно с уверенностью сказать, что при личном свидании эти два человека еще сильнее почувствовали, что связь между ними распалась вконец. Из Петербурга Толстой уехал через несколько дней за границу с своим умирающим братом. Брат скончался в сентябре. После его смерти Толстой посетил Италию, Францию, Англию, — и вернулся в Ясную Поляну еще более, чем прежде, увлеченный своей педагогической деятельностью.

По приезде из-за границы Толстой не возобновил переписки с Дружининым. А через несколько лет, в январе 1864 года, Дружинин скончался от скоротечной чахотки. Похороны прошли незамеченно, на похоронах собрались лишь ближайшие товарищи покойного: Некрасов, Тургенев, Фет, Анненков, Василий Боткин, Гончаров и другие, но напрасно я искал в дружининском архиве письма или телеграммы Толстого, где выражалась бы скорбь об утрате. Для Толстого Дружинин умер еще раньше — в 1859 году.

НЕИЗВЕСТНЫЙ ПЕТРОВ

Петров — неизвестный писатель. Мы даже не знаем его имени-отчества. Не знаем, где и когда он родился, где и когда он умер.

Правда, в последние годы мы понемногу стали узнавать кое-какие факты его биографии, но эти факты так туманны и отрывочны, словно они относятся к древнему автору, отделенному от нас тысячелетиями.

Такова судьба почти всех писателей шестидесятых годов. В предреволюционное время исследователи нашего литературного прошлого с таким пренебрежением относились к той „плебейской" эпохе и так поверхностно изучали ее, что многие даже наиболее выдающиеся ее представители известны нам теперь лишь понаслышке.

Теперь большинство материалов, относящихся к их жизни и творчеству, уже безвозвратно погибло. Мы вынуждены восстанавливать их биографии по тем разрозненным сведениям, которые случайно доходят до нас. Так, почти все, что нам известно о жизни и работе Петрова, мы узнали самым неожиданным образом из переписки литераторов аристократической партии, проявлявшей крайнюю враждебность к новым антидворянским писателям.

К Петрову они отнеслись благосклонно, но так как он не был человеком их круга, они писали о нем редко и мало. До настоящего времени он был совершенно забыт, потому что их переписка о нем лишь теперь стала доступна исследователям.

Пишущему эти строки посчастливилось найти в одном частном архиве неизданное письмо Льва Толстого, где Лев Толстой выражал свою радость, что его братья,

Николай и Сергей, разделяют восхищение какой-то непонятной „Сарг Мог“ и тут же прибавлял:

„Что Петров? Возьмите, между прочим, у книгопродавца Давыдова по экземпляру моих книжечек и подарите Петрову и дайте его адрес“.

Нетрудно было установить, что „Сарг Мог“ — это повесть „Саргина могила“, напечатанная в тогдашней „Библиотеке для чтения“ за подписью М. Петрова.[1] Но кто такой был этот Петров?

Его биографии не нашлось ни в одном словаре. Между тем его повесть так очаровала молодого Толстого, что Толстой ставил в особую заслугу своим братьям их высокую оценку этой повести. Ему особенно нравилось то, что они поняли ее достоинства сами, без всяких посторонних внушений.

„Как они меня порадовали тем, что оба в восхищении от „Саргиной могилы“ собственным чувством“.

Письмо Толстого было адресовано к Дружинину, который, очевидно, и открыл талант Петрова, напечатав у себя в журнале его повесть. Вскоре выяснилось, что и другой выдающийся критик, Василий Боткин, также восхищался этим новооткрытым талантом.

„Прочел я, наконец, „Саргину могилу,“ — писал Боткин Дружинину. — Скажу вам, что я просто поражен талантливостью ее автора. Надо всеми силами постараться сделать все возможное для Петрова и извлечь его из теперешнего положения. Поощрите его писать непременно“.[2]

Так как это письмо было напечатано без всяких комментариев в одном давнишнем издании, из него нельзя было понять, что за человек Петров, каково было то положение, из которого его хотели извлечь, и почему вообще приходилось стараться „сделать для него все возможное“. Ответы на эти вопросы отыскались в другом архиве. У Толстого была в Петербурге влиятельная тетка графиня Толстая, близкая к царской фамилии, жившая в Зимнем дворце, и вот в одном его письме к этой фрейлине оказались такие строчки, относящиеся к тому же апрелю 1859 года:

---

[1] „Библиотека для чтения“, 1859, 1.

[2] Юбилейный сборник Литературного фонда, 1884, стр. 507.

„Спросите, пожалуйста, у Бор[иса] Алекс[еевича] [Перовского], что писарь Петров? Что с ним сделали?“ [1]

Редактор этой переписки академик Шахматов не знал, о каком Петрове идет речь, но для нас нет сомнения, что это автор „Саргиной могилы“. Таким образом мы получили очень важное сведение, что он был п и с а р ь, то есть „человек из низов“.

Это обязывало к дальнейшим раскопкам. В Ленинской библиотеке в Москве отыскались неизданные письма Дружинина ко Льву Толстому, и в одном из них нашлись такие строки:

„Унт[ер]-Оф[ицера] Петрова прикомандировывают к канцелярии военного министра, он сидел у меня недавно часть вечера, был очень умен и доволен новым назначением“.

Из этих строк выяснилось, что Петров был писарь военного ведомства, унтер-офицер (то есть уже не молодой человек) и что хлопоты его покровителей увенчались полным успехом.

После этого становилось понятно такое сообщение графини Толстой в одном из ее писем к племяннику:

„Он [Борис Перовский] принялся разыскивать Петрова, но, узнав, что тот нашел себе покровителя, несравненно более влиятельного, чем Борис, — он скромно ретировался, боясь, что, вмешавшись в это дело, он только повредит ему“.

Кто такой был этот покровитель, мы не знаем: „Он называл мне имя покровителя, но я никак не могу его сейчас вспомнить“, [2] — сообщает Толстая.

Вот почти все материалы для биографии Петрова, которыми мы располагаем в настоящее время: несколько клочков из старых писем. Я за тем и рассказываю, каким образом отыскивались эти клочки, чтобы читателю стало понятно, как глубоко засыпаны архивною пылью писатели шестидесятых годов.

И все же судьба Петрова ясна. Это — судьба плебея, которого так заласкали представители высшего круга, что он сбился с пути и погиб.

---

[1] „Толстовский музей“, т. I, П. 1911, стр. 123.
[2] Т а м ж е, стр. 130.

Дело в том, что высшие его покровители — Боткин, Лев Толстой и Дружинин — составляли в то время тесно сплоченную группу, объединенную враждою к „новым людям", разночинцам шестидесятых годов, и к той низкой, антидворянской культуре, которую несли эти люди с собой. Они — все трое — ненавидели каждый по-разному вождя новых людей, Чернышевского, ненавидели обличительные романы и повести и ратовали за „искусство для искусства".

Повесть Петрова тем-то и нравилась им, что в ней этот человек из низов не идет по стопам обличителей, но пишет в аристократическом стиле, служа „чистому", „высокому" искусству, а не каким-нибудь зловредным тенденциям.

Это видно хотя бы из того письма Боткина, которое он тогда же написал своему другу Тургеневу. Там Боткин определенно указывает, что в „Саргиной могиле" его очаровала главным образом идиллия из жизни крестьян.

„Любовь крестьянской девушки представлена (в „Саргиной могиле") с такою правдою и прелестью, как никогда до сих пор не была представлена. Однакож я подметил подражание твоей манере в описаниях природы, но даже и в подражании видна талантливость. Притом какое мастерство в языке и особенно в эпитетах". [1]

„Мастерство в языке", „описания природы", „правдиво и прелестно" изображенные любовные сцены — вот что главным образом нравилось этим эстетам в „Саргиной могиле" Петрова.

И действительно, там было много красивостей — довольно банальных. Слог был кудреватый и нарядный, а сюжет, по своему построению, смахивал на либретто для оперы: даже заглавие звучало по-оперному — „Саргина могила". Видно, что автор весь опутан стародворянской эстетикой, которую именно в то время принялись разрушать молодые разночинцы во главе с Чернышевским. Эта эстетика была в разладе с простонародным сюжетом, и на фоне жестких неприкрашенных писаний Николая Успенского казалась слащавой до приторности.

[1] В. П. Боткин и И. С. Тургенев, Неизданная переписка, М.—Л. 1930, стр. 153.

А между тем стоило Петрову на короткое время вырваться из-под власти этой враждебной ему барской эстетики — и в нем чувствовался подлинный плебейский талант: бытовые детали изображались им без сусальных прикрас, а корявый мужицкий язык начинал звучать не фальшиво.

Вся беда Петрова была в том, что он очутился в чужом лагере, у партийных врагов. Ему следовало бы пойти к Чернышевскому и Добролюбову, в некрасовский „Современник", примкнуть к той демократической плеяде писателей, которая именно тогда начала группироваться вокруг этого революционного органа, а он подчинился влиянию реакционера Дружинина, больше всего опасавшегося, как бы он не отошел от идиллии и не впал бы в „дидактику", то есть не сделался бы обличителем общественных зол.

Между тем, по своей социальной природе он был такой же разночинец, как, например, Помяловский или Воронов. Подобно им, он накопил много желчи против тогдашнего строя. Пройдя тяжелую житейскую школу, он, исковерканный николаевской муштрой, не мог в ту боевую эпоху всецело отдаться любовным идиллиям, и вскоре написал новую повесть из народного быта, где, к огорчению дружининской партии, не столько восхищался красотами сельской природы, сколько разоблачал махинации деревенских кулаков и мироедов.

В этой повести ему удалось сказать новое слово. Тогдашняя передовая журналистика еще не вполне осознала, что власть кулака столь же тяжела для крестьян, как и помещичья власть, и, указывая на это явление, Петров обнаружил тем самым большую чуткость к интересам деревенских низов. Он вместе с Николаем Успенским уже в ту раннюю пору подметил расслоение деревни, которое упорно не хотели признать народники позднейшей эпохи. Повесть называется „Выборы". К сожалению, несмотря на ее злободневность, в ней тоже наблюдается засилие стародворянской эстетики. Язык ее цветист и часто рычурен. Она была бы гораздо действеннее, если бы он написал ее проще. Но и в таком виде она знаменует собою попытку Петрова вырваться от дружининских пут и заговорить своим собственным

демократическим голосом. Потому-то в группе его покровителей эта новая повесть была воспринята как его падение. Лев Толстой так писал о ней Дружинину:

„Она мне положительно не понравилась, хотя видна сила большая. Но его горе [то есть горе Петрова] противоположное нашему и большое — совершенная бессознательность дарования. Он сам не знает, что в нем велико, и Катерина — намек, тень, когда она должна бы быть все. Если бы он был помоложе, горе это было бы поправимо, а теперь, боюсь, он так и останется не „надежда", а „сожаление".

По мнению Толстого, автору надлежало бы сделать центральной фигурой — женщину, и таким образом превратить обличительную повесть в любовную, сосредоточив свое внимание главным образом на анализе переживаний деревенской красавицы, которую покинул любовник.

Чтобы отомстить изменнику за эту обиду, Катерина в „Выборах" страстно обличает его и своего нелюбимого мужа в разных неблаговидных поступках. Для Петрова это обличение гораздо важнее, чем любовные переживания Катерины, для Толстого — наоборот.

Конечно, об этом „грехопадении" Петрова сокрушался не только Толстой. Можно с уверенностью сказать, что и Дружинин и Боткин читали ему длинные нотации о той измене чистому искусству, которую он совершил в своих „Выборах". Несомненно, они указывали ему, что как раз в то жестокое время, когда искусство заменили публицистикой, когда всюду царит „отрицание", когда все повести из деревенской жизни стали буквально кричать о нищете, невежестве и бесправии крестьян, — он обязан, в противовес всему этому, изображать светлые и радостные стороны простонародного быта, дабы в его творчестве возобладало не гоголевское начало, но пушкинское, „гармоническое", „божественно-благостное".

Известно, что Дружинин в то время требовал от писателей „светлого взгляда на вещи", „веселого, простодушного смеха", „беззаботного отношения к действительности", „симпатического взгляда на людей".

Тогда это были глубоко реакционные требования, так как в них заключался призыв к примирению с действительностью, отказ от политической борьбы.

Неустойчивый Петров поддался этой проповеди и в 1860 году сочинил по рецепту Дружинина новую повесть из крестьянского быта „Наносная беда", где в таком розовом свете изобразил деревенскую жизнь, что должно быть его канцелярское начальство осталось им на этот раз вполне довольно. „Начальство его очень полюбило и, я думаю, скоро вытянет в чиновники" — сообщал Дружинин Льву Толстому. В повести выведены богатые кустари-бакалейщики, и автор чуть не стихами описывает их мудрый, благочестивый и праздничко-радостный быт. Речь автора вообще так напыщена, что то и дело сбивается на стихотворный напев, и это придает повести еще более фальшивый характер. Сюжет неправдоподобен: братец и сестрица в богатой крестьянской семье так обожали друг друга, что братец ушел в бурлаки, чуть только ему показалось, что его сестрица согрешила с каким-то Ивашкой. Но к счастью в дело вмешался высоко-идеальный священник, охранитель девической чести, и заявил во всеуслышанье, что, несмотря ни на что, Устя осталась девицей. Узнав об этом, ее нежно любящий братец тотчас же бросил бурлачество и снова поспешил к ней в объятия.

Характерно, что эта идиллия особенно пришлась по душе тогдашнему „Журналу для девиц", который вывел из нее назидание, что „нежны, благородны, возвышенны бывают отношения в простонародном семействе" — и очень хвалил Петрова за то, что, выйдя, подобно Кольцову, из низшего класса, он продолжает любить свой народ.

Таким образом, было окончательно извращено и погублено дарование злополучного писаря, которого „пожалели" гуманные баре. Его „Саргина могила" и особенно „Выборы" ясно показывают, что, если бы у него были силы преодолеть их влияние, он мог бы войти как равный в ту плеяду боевых разночинцев, которая начала группироваться тогда вокруг радикальных журналов. Это видно также из его любопытных охотничьих очерков, где описана не барская охота, к которой приучили читателей Аксаков, Тургенев и отчасти Некрасов, а так сказать „бедняцкая", „мелкомещанская" — без чистокровных сеттеров и тысячных ружей. По этой дороге Петрову и надлежало итти, но он был в то время уже не молодой

человек, и литературные традиции предыдущей эпохи связывали его на каждом шагу. У него нехватило сил преодолеть тяжеловесные формы старинных повестей из народного быта, и вместо того, чтобы помочь ему отказаться от этой рутины, его всячески вовлекали в нее. Поэтому в его первых рассказах — борьба двух стилей, двух противоположных манер. А в последующих уже нет и борьбы: полная победа отжившей манеры.

Поэтому его писания интересны для нас главным образом тем, что они отчетливо показывают, как велика была та революция литературного стиля, которую произвели в своих очерках Якушкин, Николай Успенский и Слепцов, освободив форму деревенского очерка от сахаровско-далевских вычур и пряностей.

Дальнейшая судьба Петрова неизвестна. Он напечатал еще один рассказ „Богомолка“ и, кажется, совсем замолчал. Не было бы ничего удивительного, если бы он спился, подобно Николаю Успенскому, Левитову, Воронову. К этому располагала та золоченая клетка, в которую поместили его. О том, что ему был известен этот погибельный путь, мы узнаем из одного письма Дружинина к Толстому.

„О Петрове я получил весть, повергшую меня в трепет, — у него голова закружилась, и на пасхе он загулял. А перед тем он был у меня вечером и явился таким умным, счастливым и приличным, что сердце радовалось. Тут я упустил его из виду, но теперь потребую к себе и попробую высказать ему все, что можно в подобных случаях. Еще один скачок в сторону не есть погибель, да нехорошо, что дорога поганая уже изведана“.

Нет оснований думать, что он ограничился только этим одним „скачком в сторону“.

Впрочем, мы не должны забывать, что все сведения о его биографии, которые нам удалось разыскать в письмах Боткина, Дружинина, Толстого и графини Толстой, относятся к одной единственной дате: к апрелю 1859 года.

Его „Богомолка“ — такая же пряничная, сусальная вещь, как и „Наносная беда“. И по форме, и по своему содержанию оба рассказа — в прямой оппозиции к простона-

родной беллетристике „Современника", „Искры" и пр. В обоих — реакционное восхваление рабьих добродетелей „русской души", которая противопоставляет всем беззакониям окружающей жизни — христианское воспарение от земного к небесному.

Именно поэтому тогдашняя либеральная пресса сочла нужным провозгласить автора „Богомолки" восходящей звездой. Вот, например, какой восторженный отзыв напечатан в „С.-Петербургских ведомостях" 1860 года о последнем рассказе Петрова:

„Рассказ этот, замечательный в художественном отношении, важен для нас еще потому, что автор его — г. Петров, простой писарь из кантонистов. Мы надеемся, что он не оскорбится сообщением этой биографической подробности, придающей еще больше цены как этому произведению его, так и двум другим, напечатанным, в прошлом году, в том же журнале. Здесь считаем долгом оговориться. Мы никогда не питали [?] большого удивления к тем людям из простого звания, которые, получив университетское или другого рода образование, делались потом замечательными писателями или деятелями на других поприщах. Конечно, мы сочувствовали им, с наслаждением читали их, но, повторяем, не удивлялись тому, что это написали простые люди; зато удивление наше всегда было велико, когда такими деятелями являлись самоучки, люди, не озаренные светом науки, не просвещенные сообществом с даровитыми и развитыми людьми, сделавшиеся заметными единственно силою своего врожденного дарования. К таким людям принадлежит и г. Петров, звание которого уже ясно показывает, что никакое высшее образование не было ему доступно. И несмотря на это, г. Петров, в своих произведениях, является истинным художником. Первое произведение его — „Саргина могила" — сразу обратило на себя всеобщее внимание не потому, что указанная нами биографическая черта усилила впечатление (это обстоятельство было известно очень немногим), а потому, что рассказ сам по себе соединял в себе все условия, необходимые для художественного произведения. Тем, кто не читал этого рассказа, мы советуем непременно прочесть его, и уверены, что никто не обвинит нас в пристрастии.

Г. Петров черпает рассказы свои из крестьянского быта; к знанию дела примешивается у него теплая, ненакрахмаленная любовь к этому сословию, а художественный такт, поражающий почти на каждой странице этих рассказов, делает из них одно из лучших достояний современной нашей беллетристики".

Под „художественным тактом" критик разумеет ту умеренность в изображении беззаконий и тягот крестьянского быта, которой выгодно отличается „истинный художник" Петров от своих литературных собратьев из лагеря „Современника" — „Искры".

Пересказав, при помощи длинных цитат, содержание его „Богомолки" и выразив попутно восхищение точным воспроизведением народного говора (который, кстати сказать, на фоне рассказов Слепцова—Успенского кажется вылощенным и театрально-цветистым), критик с особым умилением останавливается на том эпизоде рассказа, где согрешившая девушка уходит замаливать свой грех в монастырь.

„Не сукротила я своего сердца несовладного (говорит она речитативом, как на сцене. *К. Ч.*) — сама с собой ужиться не смогла... возроптала на свою долю, недовольная, а доля-то моя была, сказать бы, не какая теперича. Было бы, может, и не без радости на мой век... Спокаялась я — да уж не воротишь! Отпусти ты мне мою вину всесветную, а еще у бога пойду я свою вину сама замаливать. Когда была там в больнице больна, чуть не при смерти, была у священника на духу, дала зарок, как слободит бог от беды, итти по святым монастырям, по дальним спасенным пустыням, богу молиться, праведным угодникам поклониться. И отпусти ты меня на все четыре стороны. Приведет бог — свидимся; не приведет — ну!"

В заключение критик „С.-Петербургских ведомостей" говорит: „Удивительной выдержанностью, глубочайшею теплотою проникнут весь рассказ г. Петрова. Что еще выйдет из этого самобытного большого дарования, выступившего так ярко, без всякой посторонней помощи, мы, конечно, определить не можем; но несомненным кажется, что ему предстоит блестящая будущность, которой мы и желаем ему от всего сердца".

Не только „блестящей“, но вообще никакой будущности не могло предстоять низовому писателю, который в шестидесятых годах попытался прославить монашеское умерщвление плоти как единственную панацею от неправд и обид, выпавших на долю деревни. Добро бы он не видел этих неправд и обид, но из его первых рассказов, из „Саргиной могилы“ и „Выборов“, мы знаем, что они были известны ему не хуже, чем, скажем, Николаю Успенскому; если же он отрекся от обличительных замыслов, это произошло оттого, что его окончательно заполонила враждебная ему писательская группа. Отсюда фальшивость его литературного стиля, в котором он пытался сочетать правдивую передачу народного говора с нарядными красивостями условно-театральной банальщины.

ЖИЗНЬ И СМЕРТЬ НИКОЛАЯ УСПЕНСКОГО

1

Рассказывают, будто на старости лет Николай Успенский дошел до такой безысходной нужды, что сделался уличным нищим. Будто, оборванный и лохматый, он ходил по дворам и просил подаяния, чтобы не погибнуть от голода.

Об этом сообщается почти во всех биографиях писателя, но мне хотелось бы тут же добавить, что его нищенство было особого рода. Меньше всего он был склонен к робкому выпрашиванию милостыни. Это был нищий с темпераментом площадного актера, бравурный и вдохновенный, из породы эксцентриков. Попрошайничая, он чувствовал себя на эстраде и, перед тем как собрать медяки, считал необходимым балаганить. Очевидно, у него был немалый талант для такого эстрадного нищенства. Он играл перед уличной толпой на гармонике, на гитаре, на скрипке, он распевал куплеты и частушки, он разыгрывал целые сцены с маленьким крокодиловым чучелом, которое всюду таскал за собой, и, дергая его за веревку, произносил от его лица монологи.

— Господа честные крокодилы, желаю вам доброго здравия! — кричал он собравшейся публике от имени своего крокодила.

А к концу представления на панели расстилали коврик, и дочь писателя, одетая мальчишкой, начинала танцовать под гармонику, а потом обходила зрителей с изодранным отцовским картузом.

Такие спектакли в середине восьмидесятых годов Николай Успенский устраивал и на пароходных пристанях, и в вагонах железной дороги, и на московских бульварах — всюду, где собирался народ, но чаще всего в трактирах. Один его приятель, Кондратьев, стихотворец

с толкучего рынка, изобразил его выступления перед ресторанной толпой в таких четырех строках:

Шутник трактирный весь в мелу,
Весь превратившийся в заплаты,
Мычит, ломается в углу
За рюмку водки вместо платы.

Многие усматривали в его лицедействах обиду для русской словесности:

„...Мне было стыдно и как-то неловко смотреть на такое шутовство известного писателя", — вспоминал впоследствии один тульский чиновник, происходивший из литературной семьи. [1]

А какой-то газетный сотрудник, встретив его на волжском пароходе, принял его за самозванца и отказался поверить, что этот бродячий комедиант есть известный писатель Успенский. [2]

К этим представлениям его тянуло всю жизнь. Помимо литературных талантов, у него были таланты сценические. И хотя многие думают, что трактирным эксцентриком он сделался главным образом с голоду, но разве голод был редкостью в писательской среде того времени? Разве литературные сверстники Николая Успенского — Воронов, Левитов, Помяловский, Орфанов, — не были такими же нищими? Однако ни один из них не пошел с крокодиловым чучелом собирать медяки по площадям и трактирам. Они голодали застенчиво, каждый в своем углу.

У него же был подлинный театральный инстинкт, и хотя мы мало знакомы с подробностями его биографии, но даже из тех случайных и отрывочных фактов, которыми мы располагаем теперь, видно, что и в детстве и в молодости, не побуждаемый ни нуждою, ни голодом, он стремился к таким же выступлениям перед публикой.

Еще девятилетним мальчишкой он сплел себе какие-то необыкновенные лапти, длиною не меньше аршина, и разгуливал в них, как циркач, забавляя деревенскую улицу. А то запряжет в небольшую тележку

[1] П. Юдин, К биографии Н. В. Успенского, „Исторический вестник", 1896, 12. Цитированные слова принадлежат сыну П. И. Мельникова-Печерского.

[2] „Волжский вестник", 1889, № 270 (статья П. Юшкова).

собак и — тоже по-цирковому — мчится на них, как на тройке. А когда однажды ему в руки попало ружье, он, чтобы позабавить деревенских зевак, стал палить прямо в дверь к кузнецу.

Словом, с самого раннего детства у него была страсть выступать пред толпою в роли ее развлекателя.

Эта страсть сохранилась у него в зрелые годы, когда он был опять-таки далек от нужды.

В 1864 году, проживая в усадьбе Тургенева, он завел себе диковинную лошадь — розовой масти — и на глазах у крестьян кормил ее не сеном, а мясом:

— Поднесу ей водки, дам колбасы кусок она у меня и сыта.

А своего работника, босого Кирюшку, заставлял тогда же, на потеху деревне, щеголять в парижском шапокляке:

— Кирюшка, венезиси!

Словом, не следует думать, что лишь крайняя бедность вынуждала его к этой шумной публичности. Когда молодым человеком он привез из-за границы в свою тульскую глушь ворох парижских картинок, ему было мало показывать эти картинки в тесном семейном кругу, он отправился на ближайшую ярмарку и там среди площади стал демонстрировать пред всей деревенщиной и лорда Пальмерстона, и королеву Викторию, и модных французских актрис, и виды Греции, и виды Египта, приговаривая по поводу каждой картинки стишки своего сочинения. Вся ярмарка толпилась у его панорамы, привлеченная не столько картинками, сколько балагурством раешника.

Можно ли представить себе в этой роли Решетникова или, скажем, Левитова? Рядом с ним они представляются чуть не отшельниками: тихие и угловатые люди, чуждые всякой публичности.

Даже просто гуляя по улице, он любил привлекать к себе внимание толпы. В конце семидесятых годов, проживая в городишке Ефремове, он в таком эксцентрическом виде появился на многолюдных гуляньях, что на него показывали пальцами или разбегались в испуге.[1]

Думают, что только на старости лет он сделался бездомным бродягой. Нет, к этому он опять-таки чув-

[1] „Приазовский край", 1893, № 119.

ствовал расположение с детства. Один из знавших его заметил впоследствии, что если в конце своей жизни он спустился так низко, то „это было для него тем легче, что и прошлое его представляло собою сплошное скитальчество.[1]

И действительно, нельзя себе представить, чтобы в какой-нибудь период его бытия у него был свой собственный письменный стол, свой угол, своя кровать. Не в кабинете писал он свои сочинения, а на бульварных скамейках, в вагонах, на ящиках из-под винных бутылок. Даже когда он женился, он втянул и жену, и ребенка в свою бродячую жизнь. Даже когда он поступил на казенную службу и сделался школьным учителем, он ни в одной школе не мог удержаться надолго — отовсюду убегал среди занятий. Это причиняло ему много хлопот. Однажды он чуть было не попал за дезертирство под суд, так как московская гимназия, из которой он убежал среди учебного года, была военная, и его побег приравняли к побегу с военной службы. Ему грозила тяжелая судебная кара, но ни что не могло удержать его в городе, когда наступала весна. Зимою он еще крепился кое-как, но стоило ему заслышать журавлей — и цыганская кровь гнала его с места на место.

Перед этим довелось ему служить в Оренбурге — учителем Неплюевского кадетского корпуса — и оттуда он дезертировал таким же манером, предварительно рассорившись с товарищами, потому что был человек неуживчивый и ладить с людьми не умел.

Эта неуживчивость сказалась даже в литературной его биографии. Не было, кажется, такого журнала, из которого он не ушел бы, не было такого писателя, с которым он не рассорился бы: от Тургенева уехал ругаясь; с Некрасовым, который поначалу отнесся к нему очень сочувственно, он тоже порвал через несколько лет. Льву Толстому в глаза объявил, что его считают глупцом и пигмеем, и разнес его за „звериную расправу“ с Каренниной. Таков был стиль его необузданной речи. Даже в гостях, в светском обществе, он словно щеголял неучтивостью:

[1] „Книжки недели“, 1893, 6, стр. 223.

— Как вы могли выйти за такое страшилище?— спросил он одну малознакомую барыню, указывая на ее некрасивого мужа.

И столь же бесцеремонно заявил Михайловскому:

— Какой ты писатель? Ты — скнипа!

„У него, — вспоминал его двоюродный брат Глеб Успенский, — развилось удовольствие издеваться над человеком и вообще удовольствие ощущать в людях дураков, и подлецов, и мошенников".

В одном из тургеневских писем читаем: „Здесь проехал человеконенавидец Успенский".

Он словно нарочно старался навлечь на себя ненависть всех своих близких. И это превосходно удавалось ему. Тот же Глеб Успенский не мог говорить о нем, не задыхаясь от злобы, которой не смягчила даже смерть. „Человеконенавидец" еще лежал на соломе в мертвецкой полицейского участка, когда Глеб Успенский, с несвойственной ему беспощадностью, поминал его как одного из самых „растленных" людей.

Приговор несправедливый, высказанный больным человеком в минуту сильного душевного расстройства, но все же нужны были какие-то особые качества, чтобы довести незлобивого Глеба Успенского до такой необычайной ярости. Этими качествами Николай Успенский обладал в чрезвычайной степени...

Вообще наряду с чертами, типичными для писателя-разночинца шестидесятых годов, в его психике наблюдалось немало особенностей, чуждых этому типу и даже враждебных ему. И покуда мы не дознаемся, каков социальный генезис этих особенностей, покуда мы не выделим их из комплекса тех черт, которые характерны для всей этой разночинческой группы писателей, до той поры наши представления о жизни и творчестве Николая Успенского будут весьма произвольны.

Необходимо тут же отметить, что, как писатель, он был страшно неустойчив. Качество типичное для мелкобуржуазной, разночинческой психики. Начав литературное поприще в „Современнике" времен Чернышевского, где его приняли как демократа, не чуждого революционных идей, он при первых же признаках реакции 1862—1863 гг. переходит в лагерь дворян-постепенцев и начинает сотруд-

ничать в либеральном журнале Дудышкина, который ставил тогда своей задачей систематическую борьбу с чернышевщиной.

Здесь он задерживается очень недолго и через несколько лет переходит в пенкоснимательный „Вестник Европы“, а еще через несколько лет становится сотрудником боевых монархических органов, таких, как „Гражданин“ и „Русский вестник“, и охотно печатается в юдофобском листке „Развлечение“, так что в конце концов сам Константин Леонтьев, виднейший идеолог черносотенства, горячо одобряет его в „Гражданине“ за то, что он в своих последних рассказах наконец-то встал на истинно-православную почву, изображая духовенство, равно как и благочестивых помещиков, такими светлыми красками.

Все это никак не укладывается в тот канонический образ правоверного радикала-разночинца шестидесятых годов, который мы до сих пор так охотно навязывали Николаю Успенскому. Исследуем же без всяких предубеждений его биографию и не станем подтасовывать факты в угоду заранее заготовленным схемам. И тогда нам, быть может, удастся осмыслить его подлинный творческий путь и хоть бегло наметить те силы, которые привели его к отщепенству и гибели.

2

Отец его, даром что поп, был человек непутевый и принадлежал к числу тех талантливых русских людей, которые охотно тратят себя на пустяки и ненужности, а от серьезного дела отлынивают: балагур, непоседа, птицелов и лошадник. Главный у него был талант — к рукоделью. Заштопать ли брюки, починить ли часы — это он умел лучше всех. Птичьи клетки сооружал превосходные. А хозяйство забросил, все больше слонялся по ярмаркам да околачивался у соседних помещиков. Помещики были рады ему, — особенно те, которые держали собак, ибо во всех вопросах, касавшихся псарни, он был авторитетнейший знаток и судья.

Такие люди очень приятны в гостях, но дома они хмуры и сварливы.

В те редкие часы, когда он возвращался в семью, он тотчас же вступал в перебранку со своей вечно беременной женой, и ссоры эти были так горячи, что требовалось вмешательство церковных властей, чтобы утихомирить его.

К детям он был тоже суров и придирчив. А детей у него было множество: Аня, Ваня, Саша, Маша, Лиза, Миша, Серафима и будущий писатель Николка.

Накормить деликатесами такую ораву нельзя, и потому основная еда всей семьи была гречневая каша и картошка. К младшим детям одежа переходила от старших, и пара сапог обычно была на двоих. Из ветхой отцовской шапки Николке скроили жилетку. А единственную клячу кормили в зимнее время так скудно, что ждали ее смерти со дня на день и удивлялись, почему она жива.

Говоря о человеке, что он „из духовных", мы всякий раз должны определять, из какого слоя этой касты он вышел, ибо в духовенстве было много слоев, и все они были разные. Та духовная среда, в которой вырос, например, Добролюбов, была совершенно иная, чем та, которая взрастила Николая Успенского. Отец Добролюбова был соборный иерей большого города, человек многоученый и чтимый. Отец же Николая Успенского был поп-деревенщина самого низшего ранга, сливавшийся в бытовом отношении с дьячками, пономарями и другой мелкотой.

Хуже всего было то, что в селе Ступине находилась барская усадьба, а при усадьбе состояла обширная дворня, то есть праздная помещичья челядь, развращенная многолетним холуйством, — и деревенским поповичам приходилось с самого раннего детства якшаться с этой низкопробной толпой.

До нас дошло проникновенное письмо одного из родственников Николая Успенского, где все его пороки и падения объясняются этим растлевающим влиянием дворни.

„Дворня, — говорится в письме, — именно то культурное общество для деревенской „аристократии" кулаков, лавочников, кабатчиков и кутейников, с которым причт был в дружеских связях".

Так что, хотя жизнь поповичей села Ступина мало чем отличалась от жизни крестьянской, но с крестьянами

они сходились неохотно и льнули к верхам, или вернее подонкам деревенского общества..Конечно, Николка с самого раннего детства наслушался в этой растленной среде тех смердяковских речей, которые потом столь часто воспроизводил в своих книгах, — и не нужно скрывать от себя, что много уродливых черт внесла эта среда в его психику.

„Нельзя, да и не надо говорить, — читаем мы в том же письме, — о растлении его души с детских лет в . . . . . среде, где он родился и жил и которую — увы! — любил все время, любил ее безбожество [то есть цинизм] и все то, что известно под наименованием „жеребячья порода", издевался над свинским житьем этой пьяной, сластолюбивой, жадной до плотских удовольствий . . . . . толпы, но все-таки любил быть здесь, из удовольствия издеваться над ней, любоваться распутством". [1]

Это письмо не вполне беспристрастно, так как написано оно под влиянием непростывшей обиды, но все же нельзя отрицать, что Николай Успенский действительно был на всю жизнь отравлен этой кулацко-поповско-лакейской средой и, как мы ниже увидим, никогда не умел окончательно от нее оторваться. В воспоминаниях, напечатанных перед смертью, он мельком, на двух-трех страничках, вывел своих родных за мирной деревенской беседой, и мы с первых же слов очутились в атмосфере тупого стяжательства, пустословия, пустомыслия и какой-то изнурительной пошлости.

Немудрено, что в этой „растленной" среде он с самого раннего детства научился пьянствовать не хуже больших.

„Нет ли рюмочки ахнуть?.. Выпьем-ка еще по агафончику!" — к этому жаргону он привык с колыбели, так как все его родные были пьяницы.

Еще мальчишкой он приставал к своей матери: „Мамочка, одолжите веди!"

Веди было условным названием водки, и мать охотно исполняла его просьбу. Очевидно, пьяный ребенок был в той среде заурядным явлением. [2]

---

[1] Владимир Розенберг, Журналисты безвременья, М. 1917, стр. 270.

[2] Д. И. Успенский, Николай Васильевич Успенский, „Исторический вестник", 1905, 11, стр. 485.

Единственным просветом в этом затхлом быту было для Николки общение с крестьянством в поле, на гумне, за работой. Из всех своих братьев Николка единственный ведался с этой средой.

„Мы с братом Иваном жили баричами, — сообщает его брат Михаил, — но Николай не то: он косил, пахал, сеял, в ночное с лошадьми ездил".

А сын его брата Ивана указывает, что общению с крестьянами он отдавал почти все свое время.[1]

Таким образом, уже в ту раннюю пору в его жизни наметились два разнородных влияния: одно — кулацко-поповско-лакейское, а другое — низового крестьянства. Между этими двумя социальными полюсами и прошла, в сущности, вся его жизнь. И если в шестидесятых годах ему удалось на короткое время выступить в литературе бойцом за интересы трудового крестьянства, представителем крестьянской демократии, эта роль была вполне подготовлена его детским „хождением в народ".

„Среди мужиков он был весел и добродушен", — читаем в воспоминаниях Бунина. „Удивительным доверием он пользовался у баб, — вспоминает Тарусин. — С ними он начинал говорить таким мужицким языком, что сразу располагал их в свою пользу".

Его племянник сообщает, что уже в старости он при встрече с крестьянами „снимал перед ними фуражку и приветствовал их низким поклоном".

По десятому году его отдали в тульскую бурсу, и там, словно нарочно, были приняты все меры к тому, чтобы окончательно развратить и опошлить этого одаренного мальчика.

Учителя все до одного были взяточники и снисходили только к детям богатых родителей, а такую голытьбу, как Николка, пороли чуть не изо дня в день.

Его отец, очевидно, считал, что семинарских экзекуций ему мало, и порол его, так сказать, дополнительно. Когда Николку за какую-то провинность не отпустили на святках из семинарии домой, отец приехал к нему в Тулу специально за тем, чтобы отодрать его своими руками.[2]

---

[1] „Исторический вестник", 1905, 12, стр. 485.
[2] Там же, стр. 486.

В своих воспоминаниях Николай Успенский рассказывает, что экзекуция вообще занимала первое место среди применявшихся к нему педагогических мер. Палачами его были его же товарищи, которые смягчали удары в зависимости от получаемых взяток.

Словом, все виды житейских неправд и обид отведал он в этой школе уже с девятилетнего возраста.

Говорят, что в рассказе „Декалов" он изобразил свою собственную жизнь. Если это так, удивительно, что при такой системе воспитания ему вообще удалось сохранить человеческий облик.

Розга, водка, взяточничество, карты, низкопоклонство, наушничество, показная набожность и тайный разврат — таково было его воспитание в течение десяти с лишним лет. И, пожалуй, единственное спасение было для него в тех шутовствах и чудачествах, которым он, как мы видели, предавался с самого раннего детства и которые были как бы отдушиной для его блестящих талантов, не находивших здесь иного применения.

Ибо, несмотря ни на что, „веселонравие неистощимым ключом било в его сердце и поминутно подмывало совершить какое-нибудь удальство, озорство или мистификацию". Это был своего рода протест против той угрюмой и поистине каторжной жизни, которую он вынужден был вести в семинарии. До нас дошли смутные воспоминания о том, что одному из преподавателей — некоему Панову — он насыпал в картуз песку и, на потеху товарищей, нахлобучил этот картуз ему на голову.[1] Очевидно, таких подвигов совершил он в ту пору немало, потому что, по одним источникам, в семинарии ему было присвоено наименование „ёрник", а по другим — „балаганщик". В этом „балаганстве" выразилось его главное душевное качество — юмор, которое впоследствии так пышно сказалось в его сочинениях и которое здесь, в семинарии, только и могло проявляться уродливым и грубым шутовством. Когда читаешь такие озорные рассказы Николая Успенского, как „Обоз" или „Змей", где он, увлекаясь необузданным шаржем, заставляет целые толпы крестьян совершать чудовищно-смехотворные действия,

[1] Сообщено А. И. Успенским.

которые возможны только в буффонадах и фарсах, легко представляешь семинарское его „балаганство".

Впрочем, „балаганством" далеко не исчерпывались его школьные годы. По словам одного его близкого родственника, в бурсе он окончательно отбился от рук: все больше ходил по трактирам, играл на бильярде и пьянствовал.[1]

Там же, в Туле, жил его дядя Иван, видный и зажиточный чиновник. У дяди был собственный выезд, дядя служил в казенной палате, дядя водился с именитейшими персонами города. Дядя принял Николку под свое покровительство, прикармливал его и при всяком его заболевании звал к нему лекаря. Однажды он даже подарил ему старую шинель с своего плеча. Но Николка использовал эту шинель для очередного „балаганства", а потом взял мел, написал на шинели обидное слово и отослал ее дяде обратно.

У дяди был сын гимназист, по имени Глеб, впоследствии знаменитый писатель. Дядя запрещал Глебу водиться с неумытою бурсою, и Николка уже в те годы возненавидел своего счастливого брата за то, что его никогда не пороли и что он каждое утро ездил в гимназию в своей собственной бричке.

Эта ненависть к Глебу осталась у Николки на всю жизнь:

„Мы с ним братья, — конечно, двоюродные! — говорил он о Глебе позднее. — Два Лазаря. Только он — Лазарь богатый, а я — Лазарь бедный. Он — горожанин, сын богатого палатского секретаря, а я — сельчанин, сын левита. Он в молодости катался, как сыр в масле, а я глодал сухую корку хлеба. Он вышел из школы со всякими дипломами, а я — недоучка!"[2]

Глеб со своей стороны платил ему такою же горячею ненавистью.

Учился Николка в семинарии плохо. Еле дотянул до богословского класса и там окончательно отбился от рук. Видевшие его в эту пору изображают его нечесаным лодырем в дырявом картузе и рваной обуви. Науку он

---

[1] Д. Васин (Д. Г. Соколов), Глеб Иванович Успенский, „Русское богатство", 1894, 6, стр. 55.

[2] П. К. Мартьянов, Дела и люди века, П. 1893, стр. 238.

забросил совсем, и каждому было ясно, что не сегодня—завтра праздная трактирная жизнь доведет его до неминуемой гибели.

А между тем именно тогда этот лодырь горячо пристрастился к писательству и тайно заполнял казенные тетради очерками из быта своей семинарии. Очерки были, конечно, сумбурны и не лишены „балаганства", но в них нередко пробивался протест против удушливых бурсацких порядков. До нас дошли кое-какие фрагменты из его памятной книжки, которую вел он в то время. Книжка эта частично воспроизводится им в его автобиографическом рассказе „Брусилов". Там он не без язвительности перечисляет те драгоценные сведения, которые предлагал бурсакам их учитель всемирной истории:

— Марк Катон Цензор имел рыжие волосы.

— Агезилай на одну ногу хромал.

— У Суллы было красное лицо.

— Самые воинственные полководцы, отличавшиеся силою ума, как то: Антигон, Сарторий, Ганнибал, Филипп — были кривоглазые.

Обо всех без исключения учителях семинарии он записал кратко, но веско:

„За картами они дойдут до драки, а ученику сделают первую на свете низость".

И тут же такая запись:

„Петербург! Петербург! Сколько ты вдыхаешь в мою душу жизни, святых надежд!.. Без тебя здесь глушат молодость... мысль о тебе озаряет много сердец... Чувствую, что мне предстоит там борьба".

Записи сделаны в 1855 году и носят на себе отпечаток той знаменательной даты. Таких записей было огромное множество в юношеских дневниках того времени. Именно в ту предреволюционную пору, в самый канун шестидесятых годов, тысячи молодых разночинцев — в семинариях, гимназиях, корпусах, институтах — ощутили страстную потребность вырваться из своего мрачного быта и ринулись на север, в столицу создавать „новую жизнь". Все чувствовали себя тогда в преддверии каких-то небывалых событий. „Молодое поколение" инстинктивно готовилось к участию в великой баталии революционного крестьянства с ненавистным ему феодально-бюрократическим

строем, хотя лозунги предстоящих боев не успели еще окончательно выработаться...

Подхваченный этой волной, Николай Успенский бросил свою семинарию и в начале пятьдесят шестого года отправился в Питер — обучаться медицинским наукам. Медицинские науки в то время были в величайшем фаворе у молодых разночинцев, жаждавших утилитарно-реального знания. Кроме Николая Успенского, из малочисленной группы писателей шестидесятых годов, и Воронов, и Максимов, и Слепцов, и Левитов были медицинскими студентами. Медико-хирургическая академия в Питере стала в то время одним из сильнейших магнитов для разночинного плебса.

В эту академию поступил и Успенский. Как добрался он до Питера — нам неизвестно. Рассказывают, будто тот же благодетельный дядя Иван снабдил его необходимыми для этого средствами. Очевидно, средств было не слишком-то много, так как, согласно другим сообщениям, он от Тулы до Москвы шел пешком. Судя по тому же биографическому рассказу „Брусилов", он поселился в Питере в темной каморке, без мебели, с прогнившим, ветхим полом, из-под которого по ночам выбегали стаи крыс и мышей с невероятным визгом, наводившим на юношу ужас. Все это чрезвычайно типично для биографии „новых людей" того времени.

Возможно, впрочем, что краски в „Брусилове" чересчур сгущены, так как, по сообщению Васина, когда, выдержав экзамен в академию, Николай Успенский во время каникул приехал на родину, все были поражены щегольством его студенческой формы, его погонами, его мундиром и каской.

Как бы то ни было, все были твердо уверены, что теперь, когда он выкарабкался из ненавистного быта, он мог без помехи отдаться изучению медицинских наук, но вскоре выяснилось, что эти науки привлекали его только издали. Не прошло и года, как он уже порвал с академией, причем совершил на прощанье такой отчаянно-безумный поступок, который восстановил против него всех его профессоров и товарищей.

Препарируя руку трупа, он изрезал ее на куски, изломал выданные ему инструменты, разбросал их по палате

и ушел. Было созвано экстренное совещание профессоров академии, и по требованию знаменитого Грубера святотатец был изгнан из стен академии с позором.

Этот поступок принято называть „непонятным", между тем он органически связан с самыми основными чертами психики Николая Успенского: тут — и то веселонравие, которое всегда соблазняло его к „балаганству", тут и та непоседливость, которая до конца его дней не давала ему надолго приладиться к какому бы то ни было делу, тут и та пресловутая „растленность жеребячьей породы", которая, как мы только что видели, сказывалась у него на каждом шагу.

Об этой „растленности", привитой ему с детства той низменной средой, где он вырос, мы не должны забывать, изучая его жизнь и творчество. В том-то, повторяю, и заключалось своеобразие его биографии, что наряду с типическими чертами передового разночинца шестидесятых годов в его личности сказывалось нечто другое, идущее от других социальных корней, и нередко это „другое" так сильно заглушало и уродовало основные проявления его психики, что сбивало с толку наиболее зорких исследователей.

Любопытно, что в первой версии „Сельской аптеки" он попытался оправдать свой разрыв с академией рядом глубоко принципиальных причин в духе радикализма шестидесятых годов.[1] Весьма возможно, что в данном случае частично действовали и эти причины, так как парадоксальное скрещение самых разнородных влияний — наиболее выразительная черта его личности.

3

В академии Николай Успенский продолжал заниматься писательством.

Был в то время в Петербурге бойкий еженедельный журнальчик „Сын отечества", издававшийся при ближайшем участии престарелого барона Брамбеуса, который хоть

[1] „В клиниках Академии грязь,— фельдшера грубияны,— студенты не развиты, — препараты спрятаны в шкафах под замком" и т. д. (См. Рассказы Н. В. Успенского, П. 1861, стр. 315—326).

и пережил свою прежнюю славу, но вдруг перед смертью стяжал себе новую — на столбцах этого самого „Сына отечества". Журнальчик очень удачно подыгрывался к модным либеральным течениям: печатал стихи Беранже в переводе Василия Курочкина, иллюстрации к только что прогремевшим щедринским сатирам, карикатуры Степанова, основателя „Искры", и до поры до времени имел чрезвычайный успех у петербургского середняка-обывателя.

Редактором „Сына отечества" был известный Старчевский, небесталанный делец-журналист, прошедший школу того же Брамбеуса. Ему-то Николай Успенский и принес свои рукописи — два рассказа „из простонародного быта". Старчевский отнесся к ним без особых восторгов, — напечатал их самым мелким шрифтом на задворках журнального номера, не указав даже фамилии автора. Зная его систему расплаты с сотрудниками, можно не сомневаться, что за оба рассказа он дал безвестному студенту-новичку самую мизерную малость.[1]

Рассказы прошли незамеченными. Публика „Сына отечества", восхищавшаяся пряностями барона Брамбеуса, не питала, конечно, никакого пристрастия к так называемому „простонародному быту".

Поэтому свою новую рукопись („Хорошее житье") Николай Успенский попытался пристроить в „Отечественных записках" Степана Дудышкина. Но там этот рассказ был забракован, так как язык Николая Успенского показался эстету Дудышкину „слишком народным и непонятным для публики".

Обескураженный автор почти без надежды обратился в журнал „Современник", куда имели доступ лишь избранные, и, к его удивлению, там встретили его с необыкновенной горячностью. Едва Некрасов прочитал его рассказы, он тотчас же послал их в набор, причем распорядился печатать их самым крупным шрифтом на первых страницах журнального тома. Автору был тут же назначен большой гонорар, а через несколько месяцев с ним заключили условие, чтобы он сотрудничал исключительно

[1] См. например, Литературные воспоминания А. М. Скабичевского, под редакцией Б. Козмина, М.—Л. стр. 203; а также книгу В. Каверина, Барон Брамбеус, Л. 1929, стр. 222—230.

Николай Успенский в конце пятидесятых годов

в одном „Современнике, и за это, кроме гонорара, ему обязались платить ежемесячно определенную сумму, вполне достаточную для безбедного существования в столице.[1]

Словом, с первых же дней обнаружилось, что здесь, в „Современнике", почему-то считают этого безусого, никому неизвестного автора одним из самых желанных и насущно-необходимых сотрудников. И какие имена, какие люди! Некрасов, Чернышевский, Добролюбов радуются его появлению, хлопочут о его дальнейшем сотрудничестве. Добролюбов тогда же в одной из статей „Современника" предлагает Галахову напечатать в следующем издании его хрестоматии наряду с лучшими вещами Тургенева первые опыты двадцатилетнего Николая Успенского.[2]

Понятны причины той высокой оценки, которая была дана в „Современнике" первым произведениям Николая Успенского: эти люди почуяли в нем с в о е г о. Уже в течение нескольких лет „Современник" перестраивался, так сказать, находу из органа либеральных дворян в орган разночинцев революционного лагеря. Публицистика и критика журнала были уже в руках у этих „новых людей", а соответствующей беллетристики не было,— такой беллетристики, которая хоть сколько-нибудь гармонировала бы с чернышевско-добролюбовской проповедью. Беллетристику в „Современник" все еще поставляла дворянская партия — Тургенев, Толстой, Григорович, которые, не сочувствуя новому направлению журнала, стали откалываться от него один за другим. К тому времени они еще не совсем откололись, но было ясно, что это скоро случится, так как в молодом „Современнике" они чувствовали себя чужаками. А „своих" беллетристов не было. Таким образом Николай Успенский явился в журнал как один из первых представителей смены. Он начал печататься в „Современнике" в 1858 году, а Помяловский — лишь в 1864 году, а Слепцов — в 1862 году, а Левитов и Решетников — в 1864 году, а Глеб Успен-

---

[1] Подробнее см. ниже в настоящей книге статью „Николай Успенский и Некрасов".

[2] „Современник", 1860, 4, стр. 404.

ский — в 1865 году. Вот почему в молодом „Современнике“ ему был сделан такой горячий прием: явившись в этом журнале самым ранним предтечей плеяды „простонародных“ писателей, он выполнил очень настойчивый заказ революционной демократии и то, что он сказал о деревенском народе, прозвучало тогда как „новое слово“.

До него „Картины из русского быта“ помещал в „Современнике“ Даль, и, естественно, на первых порах Николай Успенский был воспринят читателями как один из его учеников и последователей. И „Сын отечества“ и „Петербургские ведомости“ так и заявили в своих отзывах о „Грушке“, „Поросенке“, „Хорошем житье“, что тут „очевидное подражание известным рассказам г. Даля“. [1] Но это мнение вскоре совершенно заглохло, так как в том-то и была новизна тогдашних очерков Николая Успенского, что ими в корне пресекалась литературная традиция Даля и что даже самая форма рассказов молодого писателя была диаметрально противоположна той форме, которую культивировал Даль. Даль был разбитной анекдотист, любитель раритетов и курьезов и превыше всего ставил эффектную фабулу. Постылая деревенская жизнь сверкала у него в его россказнях самыми аппетитными красками, речь его была цветиста и узорчата, а сюжеты отличались такой пестрой затейливостью, что серая уездная Русь становилась у него под пером экзотичнее Мексики. [2]

После очерков Николая Успенского этот златоуст крепостничества просто перестал существовать в качестве изобразителя русской деревни, и стало казаться странным, что еще так недавно „Современник“ мог печатать его у себя на страницах.

Еще сокрушительнее оказался удар, который творчество Николая Успенского наносило элегической и гуманной тургеневщине, воплощавшей в „Современнике“ сороковых и пятидесятых годов высшую степень народолюбия, доступную либеральным дворянам.

---

[1] „Сын отечества“, 1858, 15 и 44; „СПБ. ведомости“, 1858, 140.

[2] См. в „Современнике“ его рассказы „Двухаршинный нос“, „Архистратиг“, „Удавлюсь, а не скажу“.

Этим и объясняется тот горячий прием, который был оказан в молодом „Современнике“ первым очеркам Николая Успенского.

Так началась полоса его литературных удач. Полоса блистательная, но очень короткая: четыре года — и только. За эти четыре года он в сущности создал весь свой писательский фонд, — виднейшие свои произведения, имевшие в глазах современников высокую социальную значимость. И хотя он еще тридцать лет продолжал заниматься писательством и порою писал даже лучше, чем прежде, вся его позднейшая продукция выпала из литературной истории. Для литературной истории он и посейчас существует лишь как автор „Змея“, „Поросенка“, „Обоза“, „Хорошего житья“, „Деревенской аптеки“ и пр. Так что, если имя его сохранилось до нашего времени, то лишь благодаря самым ранним вещам, написанным до двадцатипятилетнего возраста.

То было время его наибольшей победы над влияниями „растленной“ среды.

Огромную роль здесь сыграло его личное общение с Чернышевским. Руководитель „Современника“ многократно беседовал с ним, чтобы направить его зыбкий талант в желательное для „Современника“ русло.

„Современник“ переживал тогда самый бурный период своего бытия (1856—1862). Революционная атмосфера, насыщавшая этот журнал, не могла, конечно, не сказаться в тогдашнем творчестве молодого писателя. Недаром Чернышевский впоследствии декларировал в особой статье полную свою солидарность с высказываниями Николая Успенского, напечатанными им в „Современнике“. Влияние Чернышевского на творчество Николая Успенского было до такой степени явно для современных читателей, что в полемических статьях шестидесятых годов Николая Успенского называли „литературным цветочком“, выросшим на журнальной почве, „возделанной г. Чернышевским с братией“. Разбирая один из рассказов Николая Успенского, реакционная „Северная пчела“ восклицала:

— О, „Современник“! О, г. Чернышевский!

Рассказы Успенского, написанные в этот четырехлетний период, воспринимались как рассказы программные,

воплощавшие в себе идеологию „Современника“.[1] Как мы ниже увидим, так оно и было в действительности.

„Современник“ до такой степени дорожил его творчеством, что в 1861 году решил отправить его за границу — на долгое время, чтобы он усовершенствовал свое дарование. „Человек, обещающий много в будущем“, — писал о нем Некрасов в одном тогдашнем письме. Некрасов надеялся, что, побывав за границей, в Италии, Швейцарии, Франции, этот многообещающий писатель расширит свои горизонты и вместо коротких отрывочных очерков напишет, наконец, для „Современника“ большой капитальный роман, который был так нужен тогда „Современнику“, — роман, отражающий в себе идеи и верования „новых людей“. Читатель требовал тогда именно такого романа, каким впоследствии явилось „Что делать?“, Некрасов был озабочен удовлетворением этих читательских требований.

„Однажды, — рассказывает Николай Успенский в своих мемуарах, — в трескучий зимний мороз я пришел к Некрасову, чтобы передать ему один из своих очерков.

„ — Знаете, что я вам посоветую, Успенский, — начал Николай Алексеевич, — поезжайте за границу.

„ — Да на какие же средства?

„ — У вас есть прекрасные средства... Средства эти — ваши рассказы... Их в „Современнике“ напечатано так много, что из них выйдет довольно солидный томик. Я издам их в свет, а вам дам денег на путешествие, которое для вас будет очень полезно.

„Я уехал за границу, где прожил около года“.[2]

Но поездка не принесла ожидаемой пользы. Плохо зная французский язык, не интересуясь иностранной политикой, не разбираясь ни в европейском искусстве, ни в европейской общественной жизни, он оказался совершенно недоступен для каких бы то ни было воспитательных влияний Европы.

В то время ему едва исполнилось двадцать четыре года. Высокого роста, красивый и стройный, он, конечно, тотчас же нарядился во все заграничное, завел себе ши-

---

[1] „Северная пчела“, 1862, 67, фельетон „Наши журналы“.

[2] Н. В. Успенский, Из прошлого, М. 1889, стр. 6—8.

рокополую шляпу и стал беззаботным туристом фланировать по парижским бульварам, словно чувствуя, что это — последний просвет в его жизни.

В Париже его охватила безумная страсть к покупкам, свидетельствующая о полном неумении обращаться с деньками — своими и чужими. Как бы вознаграждая себя за свое скудное детство, он самым легкомысленным образом накупил себе кучу игрушек — между прочим и ту панораму, которую впоследствии показывал крестьянам на ярмарках, и ту гармонику, на которой впоследствии играл в московских кабаках и притонах.

То была счастливейшая пора его молодости. Главное: в свой талант он верил тогда очень крепко. Он верил, что все, сделанное им до сих пор, есть только проба пера, и что теперь, вернувшись из Европы, он напишет нечто замечательное — такое, что закрепит навсегда его нынешнюю литературную славу:

„Вы не знаете, — писал он из Парижа, — какой у меня план для романа! Фу! где вам знать! Какой-нибудь Дюма написал бы тридцать частей (томов) на этот сюжет. Я боюсь только, или силы мне изменят физические, или леность будет преодолевать". [1]

Некрасов, продолжая верить в его литературное будущее, не скупясь посылал ему деньги, чтобы он, со свежими силами, принялся, наконец, за этот долгожданный роман.

В Париже Николай Успенский неоднократно встречался с Тургеневым, который как раз в то время писал „Отцов и детей". Можно себе представить, с какой жадностью набросился Тургенев на приехавшего в Париж *нигилиста*. Ведь в Париже Тургеневу приходилось узнавать о нигилистах лишь из русских газет и журналов. Оторванность от той среды, которую он хотел описать, не могла не тормозить его творчества. И вот именно тогда, когда работа над романом была в самом разгаре, судьба послала ему за границу настоящего живого „*нигилиста*". Как он использовал эту добычу, мы можем отчасти видеть из его письма к Анненкову:

„На-днях здесь проехал человеконенавидец Успенский и обедал у меня. И он счел долгом бранить Пушкина,

[1] См. ниже стр. 288.

уверяя, что Пушкин во всех своих стихотворениях только и делал, что кричал: „на бой, на бой, за святую Русь". Мне почему-то кажется, что он с ума сойдет". [1]

Считая отзыв „человеконенавидца" о Пушкине характерным для „новых людей", Тургенев, как известно, использовал этот отзыв в романе и вложил его в уста своему нигилисту Базарову.

В Риме Николай Успенский встретился с Василием Боткиным, который в качестве знатока и ценителя античной культуры сделал было попытку заразить его своими восторгами перед сокровищами римского искусства. Попытка оказалась безуспешной: Успенский, как истый плебей, весьма неучтиво ответил, что Рим кажется ему весьма неприятным, так как это — город, „задыхающийся от лишений и бедности", и что никакие шедевры искусства не могут заслонить от него ни тощих лиц, ни дырявых сапог.

Боткин, миллионер и эстет, очень обиделся за римские древности.

4

Из этого столкновения с Боткиным, равно как и из вышеприведенного разговора с Тургеневым, видно, каких крайних позиций держался в то время Успенский. В то время он противопоставлял свои взгляды и вкусы ненавистной ему идеологии дворян и, явившись за границу к постепеновцам либерального лагеря, которые еще вчера составляли крепко сплоченное ядро „Современника", всячески эпатировал их своим нигилизмом.

Нигилизм его выражался не только в отрицательном отношении к эстетике. Мне уже случалось указывать на один ценнейший документ, почему-то пренебрегаемый другими исследователями, — письмо Николая Успенского к молодому поэту Константину Случевскому от 24 июня 1861 года, где он описывает свою полемику с Василием Боткиным по поводу только что провозглашенного „освобождения крестьян". [2]

В то время как либералы шестидесятых годов „захлебывались — по выражению Ленина — либерализмом пра-

[1] „Литературный вестник", 1904, 1.
[2] „Новый мир", 1930, 3, стр. 173.

Николай Успенский (1861)

вительства и восторгались эрой прогресса", Николай Успенский, даже не вникал в те конкретные формы, в которые тогда воплотилась дарованная свыше „свобода", с самого начала отнесся к ней с величайшим презрением, ибо вслед за Чернышевским, уже тогда понимал, что этот хваленый „прогресс" ведет к новому разорению и закабалению крестьян.

Даже герценовский „Колокол", столь авторитетный в то время в широких радикальных кругах, не мог затушевать, в сознании Николая Успенского, грабительских тенденций крестьянской реформы. Когда Герцен, временно разочаровавшись в Александре II, вдруг заявил в своем „Колоколе", что „народ правительством обманут", Успенский написал своему другу:

„Я давно предчувствовал это, поэтому и не интересовался манифестом и не читал новых положений. — Но находятся же такие пакостные люди, как, например, Боткин, которые стоят за [царя] Александра Николаевича. Боткин, когда я сказал... что манифест русский — вероятно вздор и что я не верю в освобождение, он меня принялся ругать закорузглым невеждой (я у него спросил, не болит ли у него желудок, — он сказал, что точно пищеварение трудно совершается), потом сказал: „Новые положения, недавно объявленные правительством, превосходны, и пусть ваш мужик околеет — если не воспользуется этими положениями", — наконец он заключил: „Я недавно говорил Герцену про [царя] Александра Никол[аевича]: не ругай ты его, пожалуйста!"—Да, как Герцену, так и Боткину порапора прочитать отходную, а то просто спеть вечную память! Знаете, что теперь Герцен пишет: „Мозг разлагается, кровь стынет в жилах при рассказах о ужасах совершаемых теперь в России!" — Это говорит тот, кто до сей поры все изливал свою веру и надежду на Алек[сандра] Н[иколаевича]. Да! По всей вероятности — у этих людей — мозг уже разлагается... а у Боткина — первого, это я знаю верно".[1]

Отмежевавшись таким образом не только от правеющего либерала Василия Боткина, но и от либеральствую-

[1] Цитирую по точной копии, любезно предоставленной мне И. Ямпольским и А. Соболевой. Копия, воспроизведенная в „Щукинском сборнике", значительно расходится с подлинником.

щего социалиста Герцена, который в то время еще далеко не утратил влияния на широкие разночинные массы, Николай Успенский тем самым демонстрировал свою близость к основным идеям Чернышевского.

Эта близость сказалась, впрочем, во многих тогдашних писаниях Николая Успенского.

Его „Сельская аптека" каждым своим эпизодом посрамляла гуманные попытки либеральных помещиков облегчить тяготы крестьянского быта, при сохранении в незыблемом виде крепостнических устоев деревни. А в его „Деревенском театре" было дано очень злое разоблачение тех потаенных пружин, которые движут гуманными барами, вносящими в деревню просвещение.

Вообще Николаю Успенскому не раз приходилось высказываться против гуманных реформ, вводимых в деревню либеральным правительством.

Когда впоследствии, по рекомендации Андрея Краевского, министр народного просвещения А. В. Головнин, красовавшийся своим либерализмом, поручил ему как знатоку деревенского быта объехать несколько уездов Московской, Тульской и Орловской губерний и дать ему отчет в состоянии школьного дела с указанием тех мероприятий, которые могли бы способствовать поднятию просвещения в вышеперечисленных местностях, он представил министру такую записку, что тот счел ее за личное себе оскорбление.

— Кого вы мне рекомендовали! — кричал он Андрею Краевскому.

В этой записке без обиняков говорилось, что крестьяне, разоренные реформами Александра II, так убоги и голодны, что надо раньше в корне перестроить их быт, а уж потом хлопотать о каких бы то ни было школах.

„Напрасно полагают, что можно просвещать мужиков, у которых желудок набит лебедой и мякиной. Сперва надо накормить человека, а уж потом ему книжку подкладывать".[1]

[1] Тезисы того отчета, который был представлен Николаем Успенским министру народного просвещения А. В. Головнину, легли в основу „Записок сельского хозяина", напечатанных во втором томе его сочинений (1883). См. также 9-ю главу повести „Издалека и вблизи". Текст отчета сообщен мне Е. З. Соколовым, которому и приношу свою признательность. Об этом отчете см. „Исторический вестник", 1905, 12, стр. 492—493.

Немудрено, что министр был крайне уязвлен такой дерзостью.

— Помилуйте, этот человек говорит, что я совсем не нужен для России!

Но следует ли отсюда, что вся эта вражда к реформизму питалась хоть в малой мере подлинными революционными чувствами? В том-то и дело, что нет. Вражда была слепая и ни к чему не вела. В то время как у новых людей, идеологию которых воплощал „Современник", неприятие крестьянскими массами „великих реформ" было предпосылкой для революционной работы, — у Николая Успенского это неприятие было вполне самоцельным. Нигде в его тогдашних писаниях нет и в намеке тех затаенных надежд на близость и возможность революции, которые у публицистов „Современника" сочетались с ненавистью к либеральным реформам шестидесятых годов. Это создавало непроходимую пропасть между Николаем Успенским и его вдохновителями. Чернышевскому были ненавистны филантропические фиоритуры правительства, так как они отдаляли тот крах тогдашней государственной системы, в котором он, как выразитель интересов крестьянства, видел единственное подлинное „раскрепощение России". Ненависть же Николая Успенского не была окрыляема никакими идеями. Это была стихийная злоба без всяких перспектив и надежд. Уровень его общественного сознания был до такой степени низок, что он ни разу даже не сделал попытки хоть отчасти осмыслить политическую программу журнала, сотрудником которого он состоял в такой ответственный и грозный период. Оттого-то, как мы ниже увидим, он так легко оторвался впоследствии от этой группы революционных народников и сразу перешел к либералам.

Когда Чернышевский воспользовался его ранними очерками для определения готовности русских крестьян к революции, Чернышевский внес в их истолкование свою собственную концепцию роли крестьянства на ближайшем этапе революционной истории. К подобным концепциям Успенский по всей видимости был вполне равнодушен, иначе он не ушел бы тотчас после этой статьи в лагерь политических врагов Чернышевского.

Таким образом у нас нет никаких оснований видеть в нем „революционного демократа“ шестидесятых годов. Он был попутчик революционных демократов — и только. Нельзя характеризовать человека двумя-тремя отрывками из его переписки, а если взять, например, всю совокупность тогдашних писем Николая Успенского из Женевы, Парижа и Рима, станет ясно, что наряду с его плебейскою ненавистью к либералам-реформистам, эстетам и прочим, сближающей его с Чернышевским, ему в то время были свойственны и другие эмоции, чрезвычайно далекие от этой демократической линии. В них явно сказалось наследие „растленного“ быта, от которого даже теперь он был бессилен отречься вполне.

Вот несколько типических отрывков из его тогдашней переписки с поэтом Случевским:

„...Париж великолепен!... Я влюбился в Париж!... Цирк здесь отличный, — гризетки все в свеженьких юпочках...“

„...В Париже вам одна снежной белизны юпочка швейки много скажет...“

„...В Париже надо непременно обзавестись девочкой... да хорошенькой, а это здесь так легко... нигде в свете вы не найдете ничего подобного...“

„...Гризетки ходят как мокрые куры... я иногда примусь бегать за какой-нибудь да и брошу,— чорт возьми совсем...“

„...На-днях я здесь видел одну!.. невероятно хороша!.. и я попробую счастья...“

„...А насчет красавицы я сделал пробу, но мне сказали, что не угодно ли мне на ней жениться — иначе все мои замыслы пропадут без толку...“

„...Вы не поверите, какая бездна прелестных вещей продается и как все дешево!..“

Те, кто с таким сочувствием цитируют из его переписки его отзыв о Боткине, Герцене и манифесте Александра II, не должны скрывать от читателя, что все это тонет в океане откровенно-обывательских вкусов, желаний и дел.

5

Зато в своем творчестве, относящемся к тому же периоду, он преодолел эту „растленность“ почти до конца. Революционная атмосфера шестидесятых годов парали-

зовала в его тогдашней писательской деятельности низменное влияние той обстановки, где он родился и вырос, и дала огромный простор влияниям другого порядка, идущим от крестьянской демократии, с которой, как мы только что видели, он был связан еще с самого детства.

В первом же своем произведении, которое было помещено в „Современнике", он заявил себя идеологом крестьянских низов. Классовое расслоение деревни, еле намечавшееся в пятидесятых годах, было для него очевиднейшим фактом, и он уже тогда указал, что всерастущая власть кулака обрекает на „поток и разорение" трудовое крестьянство („Хорошее житье").

Именно поэтому он даже в самый разгар „эпохи великих реформ" не дал себя затуманить гуманистическими лозунгами либерального лагеря и решительно отверг то „культурничество", которое во многих оппозиционных кругах считалось тогда панацеей от всех крепостнических зол. Его издевательский рассказ о деревенской аптеке, устроенной филантропом-помещиком для блага своих крестьян, вполне определяет его отношение к культурничеству. Здесь он показывает на конкретном примере, что в условиях рабьего быта всякие филантропические меры, направленные на поднятие благосостояния крестьян, не только не дают желанных результатов, но неминуемо ложатся на этих крестьян новым бременем обид и унижений („Сельская аптека").

Ненависть к либеральным попыткам улучшить положение крестьян, столь тесно связанная с тогдашней чернышевско-добролюбовской линией, — проходит через все писания Николая Успенского, относящиеся к этому периоду. В очерке „На пути" он показывает, какова подлинная сущность того „просвещения", которым, при полном сочувствии либеральных радетелей, командующие классы питают крестьян. Один приводимый им перечень книг, составляющих школьную библиотеку деревенских ребят, обнаруживает подлинную цель этих сеятелей „разумного, доброго, вечного".

Вот какое чтение предлагалось в этой школе учащимся:

„О том, как горек плод непослушания". — „Наказанное ослушание". — „Сила повиновения". — „Коль велик есть подвиг — послушание".

И для вящшего внедрения христианской покорности — псалтыри, катехизисы, часословы, октоихи.

Вот почему для Николая Успенского, как потом для Слепцова, слово школа звучало шкура. Он ясно видел классовую заинтересованность всех этих апостолов знания, и таким образом в области либеральных идей не обольщал себя никакими надеждами.

Точно так же он не обольщался иллюзией, созданной позднее народниками. Те, как известно, верили в чудотворную крестьянскую общину. Верили, что общинный уклад, издавна существующий в русской деревне, выработал в „общинном" крестьянине особый коммунистический дух, который с течением времени приведет его к социализму. Николай Успенский еще в пятидесятых годах, еще в самых первых рассказах обнаружил всю беспочвенность этой иллюзии. Надеяться на общину безумно, — доказывал он в своем „Хорошем житье", — потому что община не только не спасает беднейших крестьян от окончательного разорения и гибели, но, напротив, способствует их обнищанию.

В „Хорошем житье" община отнимает у крестьянина последнюю соху только за то, что в день, назначенный ею для поголовного пьянства, он выехал в поле и пытался пахать. В том же очерке Николай Успенский показывает, как община, подкупленная водкой, избавляет от рекрутчины вора и сдает в солдаты одного из лучших крестьян, разрушая тем его семью.

В другом, более позднем рассказе он изображает в качестве самого заурядного случая, как целая деревня — тоже „миром" — убивает тринадцатилетнего мальчишку за то, что тот нечаянно поджег мирское сено и тем нанес общинному хозяйству ущерб („Так на роду написано").

Словом, и в этой области крестьянская жизнь казалась Николаю Успенскому вполне безнадежной. Всякая мысль о каком бы то ни было улучшении этого быта воспринималась его персонажами как сумасшедшая утопия. В этом быту можно мечтать лишь о кладбище:

„То-то придет время, все помрем! — утешает себя изображаемая им беднота. — Вот уж где будет свобода то! Никаких забот! Лежи себе, ровно барин!"

Сравняться с барином здесь, на земле, — об этом они не смеют и думать, раньше всего потому, что, по ощущению Николая Успенского, мыслительная способность у них почти совершенно отсутствует. Ни у какого другого писателя взлелеянное рабством скудоумие крестьян не выведено с такой жестокой правдивостью. Скудоумием охвачены у него целые деревни и села. Оно до такой степени поражает писателя своей грандиозностью, что, пытаясь воспроизвести его, он теряет всякое чувство пропорций, и свойственный ему реализм покидает его. Тут-то и начинается то „балаганство", которое, как мы видели, было с детства присуще ему.

Отсюда его прославленный „Змей", где в течение целого месяца целая деревня кретинов все ночи напролет караулит придурковатую девку Апроську, опасаясь, как бы ее не похитил дракон — огородник Антошка, который тайно пробирается к ней и по-водевильному дурачит их всех, выдавая себя за кровожадного змея.

„— А что, касатка, змей-то шестиглавый?

„— Шестиглавый.

„— Вот, небось, примется сосать ее всеми главами."

Такое же глупое стадо людей в рассказе „Деревенская газета" и такое же — в рассказе „Обоз", где человек десять бьются три часа и не могут, по крайнему своему слабоумию, сосчитать, сколько они должны за ночлег.

„— Примерно, ты будешь двугривенный, а я четвертак.

„— Пять да восемь... восемь... восемь... с одного конца счел, с другого забыл."

Любопытно, что такой отрыв от реализма сказывается у Николая Успенского только в этих нескольких очерках, демонстрирующих убожество крестьянского разума.

Своим „Обозом" и „Змеем" он явственно обнаружил перед тогдашним читателем, что не питает ни малейших надежд на пресловутую народную мудрость: эти слабоумные так и умрут, не уразумев причин своей погибельной жизни и не додумавшись до их устранения. А так как в то время мысль считалась главнейшим рычагом человеческих действий — такое неверие в разум народа влекло за собой самые мрачные выводы.

В своей „Юрской формации“ он весьма пренебрежительно отзывается о тех публицистах, которые пророчат народу какую-то „великую будущность“ и напыщенно заявляют в газетах, будто „атлетический облик будущего богатыря рисуется бойким эскизом на темном грунте тысячелетней подмалевки“. Все это для него — фальшь и бессмыслица. „От теперешних крестьян, — пишет он в одной из позднейших статей, — ждать нечего: не воскреснуть им: больной умрет, это ясно“.[1]

6

Итак: безнадежность. Больному не выздороветь, и все лекарства бессильны. Рецепты либеральных реформистов так же никуда не годятся, как и рецепты, идущие слева.

Но покуда очерки Николая Успенского печатались в „Современнике“, рядом со стихами Некрасова, статьями Чернышевского и Добролюбова, читатель не замечал пессимистичности его убеждений, ибо бессознательно придавал его очеркам тот пафос, которым были так богато насыщены соседние страницы журнала.

Когда же в конце 1861 года все эти очерки вышли отдельным изданием в виде двух маленьких томиков, нигилизм его творчества обнаружился во всей наготе, и был единодушно отмечен чуть ли не всеми тогдашними критиками. Именно с этого времени и начались те нападки на бесцельность и никчемность его творчества, которые провожали его до самой могилы.

„У него много той бесцельной наблюдательности, которая безразлично направляется на каждый подвернувшийся под руку предмет“, — говорил в „Отечественных записках“ С. С. Дудышкин.[2]

„Он цепляется за все ненужности и даже не заботится хоть сколько-нибудь связать эти ненужности с делом“, — говорил Ф. М. Достоевский во „Времени“.[3]

„Безразличие юмора... составляет принадлежность та-

---

[1] „Записки сельского хозяина“.
[2] „Отечественные записки“, 1861, 11.
[3] „Время“, 1861, 12.

ланта у г. Успенского", — говорил П. В. Анненков в газете „Петербургские ведомости" и указывал, что во всем его творчестве „нет серьезной мысли в основании". [1]

Всеволод Крестовский, бывший в то время одним из подголосков Д. И. Писарева, отмечал ту же безидейность его творчества:

„Он весьма хороший фотографщик; он страдает холодным и бесстрастным отношением к тому миру, который фотографирует в своих очерках; он не всегда отделяет сознательное страдание от пассивно-пошлой забитости, он не умеет отличить глубоко раздирающего крика бедняка от уличного крика пьяницы". [2]

„Равнодушие, индифферентизм мысли, умственная лень", — так характеризовал главные особенности его дарования Эдельсон в „Библиотеке для чтения". [3]

Словом, и либералы, и радикалы, и славянофилы, и „почвенники" с редким единодушием отметили в нем эту черту. Характерно, что и „Современник" через несколько лет присоединился к общему хору упреков:

„Бесцельность изображений, погоня за пошлостью без всякой разумной мысли... делает автора совершенно индифферентным и даже апатичным к тому, что он пишет", — говорил некрасовский журнал в конце шестидесятых годов. [4] Я нарочно привожу здесь отзывы, относящиеся к разным периодам второй половины шестидесятых годов, чтобы показать, как устойчиво было в тогдашней печати общее мнение об индифферентизме и безидейности Николая Успенского. Даже в наиболее хвалебных рецензиях его изображали „бездушным талантом", умеющим только смеяться над забитостью и нуждою крестьян.

Единственный критик, восставший против этого общего мнения, был Чернышевский.

Едва только появились рассказы Николая Успенского, Чернышевский написал о них большую статью, в которой — наперекор всем ретроградным и радикальным критикам — приветствовал этого якобы „индифферентного", „безидейного", „бездушного" автора как одного из самых револю-

[1] „СПБ. ведомости", 1863, 11.
[2] „Русское слово", 1862, 1.
[3] „Библиотека для чтения", 1864, 3.
[4] „Современник", 1866, 2.

ционных писателей новой эпохи. И замечательно, что его революционность Чернышевский усматривал главным образом в тех очерках, где, казалось бы, неверие в революцию выразилось ярче всего. Эти очерки — „Обоз" и „Проезжий". Казалось бы, какая уж тут революция, если, судя по „Проезжему", русские люди даже рады побоям, которые наносятся им ни с того, ни с сего, — лишь бы в награду за эти побои им выдали монету на водку. Ни обиды, ни ропота. Рабы, навсегда закосневшие в рабстве. И — судя по „Обозу" — кретины, не способные ни к какому мышлению. Эти наиболее пессимистические рассказы Николая Успенского, которые всякого другого привели бы в отчаяние, Чернышевским были использованы для самых оптимистических выводов. Надо было так пламенно верить в близость революционного взрыва, как верил в нее тогда Чернышевский, чтобы увидеть в этих печальных рассказах предвестие великого будущего. Впрочем, Чернышевский и сам соглашается, что „Проезжий" не дает материала для революционных надежд, и потому вносит в этот рассказ от себя целый ряд таких черт, которые рассказу неприсущи. „Неужели вы думаете, — спрашивает он в своей статье, как бы возражая Николаю Успенскому, — что побитые мужики в самом деле не чувствуют ни боли, ни озлобления?" И доказывает, что под видимой покорностью масс таится бунтарская ненависть. Но в самом-то рассказе на эту бунтарскую ненависть нет ни намека, там нет ни одной строки, которая свидетельствовала бы о малейшем протесте хотя бы одного из побитых.

Что касается „Обоза", то и в него Чернышевский внес свой собственный революционный порыв. Ни одного такого слова не сказано в этом „Обозе", которое хоть отдаленно намекало бы, что слабоумие изображаемых в нем деревенских людей может быть преодолено в самом непродолжительном времени и что, чуть только удастся его побороть, они немедленно вступят на путь революции. Но недаром Чернышевский был, по выражению Ленина, полон „настоящей любви к родине, любви, тоскующей вследствие отсутствия революционности в массах".[1] Из того, что Успенский в рассказе-гротеске вывел целую ораву

[1] В. И. Ленин, Собрание сочинений, 1931, т. XVIII, стр. 81.

полоумных, Чернышевский сделал вывод, что Успенский обличает народную тьму, дабы объяснить, отчего крестьянин не готов к революции, и указать тот единственный путь, которым его нужно к революции вести.

Все тяготы тогдашнего крестьянского быта объяснялись для Чернышевского именно тем, что народ по своему „простофильству“ до сих пор еще не поднял восстания. Для того чтобы провозгласить эту мысль в легальном подцензурном журнале, Чернышевский хитроумно использовал рассказы Успенского, но отсюда не следует, будто в этих рассказах действительно имеется та революционная мысль, которую провозгласил Чернышевский. Там ее нет и в зачатке.

Чернышевский ценил в его рассказах другое: антитургеневскую, антидворянскую правду о русской деревне. Радуясь, что в лице Николая Успенского появилась литературная смена Тургеневу, Григоровичу, Писемскому, он видел уже в самом наличии этой смены событие огромной социально-политической важности, которое само по себе знаменует совершающуюся в России революцию.

7

„Ведь если по правде сказать, то я по доброте души только пишу о них [о мужиках] с хорошей стороны, а в сущности все они свиньи, ужасные свиньи (Григорович)“.

Неопубликованная запись Некрасова (1855).

В самом деле, контраст между Тургеневым и Николаем Успенским разительный. Хотя оба они — земляки и наблюдали крестьянство в одних и тех же тульско-орловских местах, их наблюдения были так несхожи, словно они описывали совершенно различные страны, разделенные между собой океанами. Недаром критика на первых порах заявила, что Николай Успенский явился Колумбом новой неизвестной Америки.

Раньше всего там, у Тургенева, в благодатной стране, изображаемой „Записками охотника“, нет и в помине той лютой нужды, которая свирепствует в книгах Николая

Успенского. Тут она, как воздух, заполняет собою все щели. Ее даже не замечают, с ней не борются, потому что она — естественный фон, на котором происходят все события. Это — безнадежная, изматывающая душу, тягучая бедность, которую по-настоящему мог описать лишь испытавший ее на собственной шкуре. Вздорожание селедки на две копейки — для его героев катастрофа, а объеденные тараканами крендели — самое пышное лакомство. Шесть с половиной целковых годового дохода — в их быту самая обыкновенная норма, а если их школьники не являются в школу, то потому, что собирают под окнами милостыню.

Потому-то в этих очерках люди так часто стремятся к еде. Кажется, до Николая Успенского ни у какого самого гуманного автора еда не являлась таким могучим рычагом человеческих жизней. Только для него голод — не исключение, а правило, только у него целые сословия людей характеризуются потребляемой ими едой.

„— Ведь подумаешь, братец мой, праздник-то; оттого-то он дорог, что еда прекрасная... А уж как у этих попов жрут сладко!

„— Ну, у приказчиков лучше. У тех еда царская... в десять раз лучше поповской... Одно слово, трескотня здоровая!

„— Что им? Народ пшеничный!“

Только для него, с детства жившего под угрозою голода, тот, кто потребляет наиболее обильные яства, есть непрощаемый враг. В рассказах и романах из народного быта, написанных до Николая Успенского, крестьяне, если и пьянствовали, то истово и даже картинно, либо на радостях, либо от горя, а у него сосчитайте, сколько ведер сивухи выпито просто так, беспричинно в одном только рассказе в „Хорошем житье“, где все население деревни „как пойдет пьянствовать — держись, шапка! оттыкай бочки! Жену готов пропить со всею утварью!“

Этого сивушного моря, заливавшего Антонов горемык, не видели томные господские очи, жаждавшие сладких иллюзий о кротком и благообразном народе. Только тот, кто заодно с мужиками и сам утопал в этом море, мог выдвинуть в своих очерках на первое место кабак.

Самая литературная манера Николая Успенского была во многих отношениях антитургеневской.

Читатель шестидесятых годов не мог не почувствовать в „Записках охотника“ некоего отпечатка салонной изысканности. Недаром в одном из своих очерков этот охотник советует не выезжать на охоту без фрака! Фрак действительно ощущается у него на многих страницах. Читателей разночинцев не могла не коробить чрезвычайная субтильность благородного автора:

„— Я уже имел честь представить вам, благосклонные читатели, некоторых моих господ соседей“.

„— Позвольте, любезный читатель, познакомить вас с этим господином“.

Иногда в своих учтивостях Тургенев доходил чуть не до стихотворного ритма:

> Дайте мне руку, любезный читатель,
> и поедемте вместе со мной.
> Погода прекрасная, кротко сияет
> майское небо...

Все эти приемы Николаю Успенскому были совершенно несвойственны. Он прямо начинал свои очерки так:

„Жив еще старичок-то, — мой тятенька“.

Или:

„Был сентябрь в исходе; вечерело; шел дождик“.

И уже одно это отсутствие жеманных ужимок делало его своим человеком для той новой породы читателей, которая возникла в шестидесятых годах.

Другая типичная особенность его „Очерков народного быта“ заключалась в том, что он нигде никогда не выставлял напоказ своих чувств. Он до такой степени изгонял из своих писаний всякое подобие лирики, что, когда однажды, описывая грустные события, вставил в очерк два слова о своей гнетущей тоске, — в следующем издании очерка он поспешил вычеркнуть эти два слова, как бы совестясь своих автопризнаний.[1]

Тургенев и здесь был антиподом Успенского: постоянно сообщал он читателям свои личные мысли и чувства по поводу изображаемых событий.

---

[1] Сравните его „Сельскую аптеку“ в издании 1861 и 1864 гг.

„Сладко стеснилась грудь", — говорил он в одном рассказе.

„Жалость несказанная стиснула мне сердце", — говорил он в другом.

И в третьем:

„Образ бедной Акулины долго не выходил из моей головы, а васильки ее, давно увядшие, до сих пор хранятся у меня".

Вся эта лирика в рассказах Успенского была упразднена.

И, конечно, Николай Успенский не был бы писателем шестидесятых годов, если бы в его очерках появилась хоть одна красивая строка, относящаяся к описаниям природы, которыми так щеголял Тургенев. Успенский, в полном согласии с разночинной эстетикой, изгнал из своих очерков всю тургеневскую пейзажную живопись, и в них ни слова не найдешь ни о „невинной небесной лазури", ни о „спокойной сияющей бездне", ни о „лучистых алмазах росы", ибо и здесь Николай Успенский проявил то пренебрежение ко всякой красивости, которое было свойственно всей плеяде беллетристов шестидесятых годов.

Не забудем, что он был предтечею этих писателей, что и Слепцов, и Помяловский, и Решетников, и Глеб Успенский — все пришли после него, и что, значит, те антитургеневские формы, которые он установил в литературе в конце пятидесятых годов, не навязаны ему со стороны, а органически спаяны с его биографией.

8

Летом 1861 года Николай Успенский вернулся из Парижа в свою тульскую глушь. Земляки смотрели на него, как на чудо, и приходили в его избу издалека послушать о парижских диковинах. Вначале он хотел было остаться в деревне на целую зиму, — должно быть для того, чтобы засесть наконец за свой многотомный роман, но не усидел и через месяц был в Питере. Там только что вышла его первая книга, журналы много шумели о ней. „Неожиданный успех в литературном мире, к сожалению, очевидно кружил ему голову", — вспоминал впослед-

ствии Яков Полонский.[1] Та звериная среда, где он вырос, ценила личную удачу превыше всего и, кроме карьерных стремлений, не воспитывала никаких других... Мудрено ли, что он возгордился и потерял равновесие. „Благодаря бога талантом я не обижен! — говорил он Мартьянову через несколько лет. — Что будет дальше, не знаю, а теперь пока всем этим моим антагонистам я стану костью в горле. Никому ни в чем не уступлю. Ни на эстолько!" Антагонистами называл он своих же собратьев, таких же, как и он, разночинных писателей. У него до такой степени не было никакого коллегиального чувства, что даже в своих ближайших товарищах он чувствовал только соперников, которых ему надобно одолеть. „Он, — продолжает Мартьянов, — относился к своим литературным коллегам свысока и пренебрежительно. Сашка Левитов, Васька Слепцов, Николашка Помяловский. Все это, по его словам, была мелочь, мошка, мразь".[2]

„Мой рассказ „Обоз" стяжал мне великую славу знатока народного быта", — заявлял он впоследствии в книжке своих мемуаров и тут же без стеснения сообщал, кому из великих писателей его очерки казались „прелестными", кому „чудесными", а кому „бесподобными".[3]

Опьяненный этими хвалами, он так высоко возомнил о себе, что стал требовать невероятных гонораров и, придя однажды в „Современник", предъявил Некрасову претензии на какие-то тысячи, которых тот будто бы не додал ему, издавая его первые рассказы. „Он дорого ценил свои летучие произведения", — говорит по этому поводу Яков Полонский.

В те времена — и даже несколько позже — издатели платили разночинцу-писателю от 50 до 100 рублей за всю книжку. Решетников и через несколько лет продал своих „Подлиповцев" Звонареву за 61 рубль 25 копеек.[4] Между тем Некрасов, как мне уже случалось доказывать (на основании новооткрытых документов), дал Ни-

---

[1] „Исторический вестник", 1898, 4, стр. 148.
[2] П. Мартьянов, Дела и люди века, П. 1893, I, стр. 237.
[3] Н. В. Успенский, Из прошлого, М. 1889.
[4] Из литературного наследия Ф. М. Решетникова, под ред. И. И. Векслера, Л. 1932, стр. 259.

колаю Успенскому никак не меньше двух с половиною тысяч. На деньги Некрасова Николай Успенский прожил за границей восемь месяцев, не стесняя себя никакими расходами, и покуда не вернулся в Россию, чувствовал себя в долгу у Некрасова и все обещал расквитаться с ним своим новым романом, но теперь, взбудораженный журнальной шумихой, поднявшейся вокруг его „Рассказов", стал утверждать вопреки очевидности, что Некрасов присвоил немалую долю того барыша, который дала эта книжка.

„Помню однажды, — вспоминает Полонский, — он зашел ко мне сильно взволнованный и тотчас же стал рассказывать, что он прибежал ко мне от Некрасова.

„— Что с вами? — спросил я. — Пожалуйста, успокойтесь и расскажите.

„— Вообразите, — начал он, — что со мной сделал Некрасов. Я считал его у себя в долгу, так как он не заплатил мне всего, что мне следует, и я уже несколько раз заходил к нему за деньгами... заходил неудачно, так как лакей его мне отказывал постоянно: то говорил, что барина дома нет, то уверял, что он вернулся поздно из клуба и спит. Наконец, сегодня я его застал... говорю ему: так и так, подавайте деньги. „Я, говорит, ничего вам не должен, не приставайте". Я стал горячиться — и что вы думаете?! Некрасов взял заряженное охотничье ружье и поставил его около себя в уголке. Я тотчас же понял, чем это пахнет, и разумеется ради самосохранения ушел.

„Все это было рассказано мне с величайшим негодованием, — Успенский и бледнел, и краснел, и задыхался от волнения, точно и в самом деле жизнь его была в опасности, и не уйди он во-время, Некрасов бы застрелил его. Тогда с Некрасовым мы были в самых приятельских отношениях, и я настолько его знал, что, понятно, в его намерение подстрелить Успенского не поверил. Мне было только одно очевидно, что Некрасову Успенский так надоел, что ему захотелось напугать его: дескать, берегитесь, иначе я, чего доброго, выстрелю. Знал я и то, что сотрудники „Современника" довольно аккуратно получали свой гонорар, и в данном случае Некрасов, без торгу взявшись напечатать что-то из сочинений Н. Успенского, заплатил ему по расчету столько, сколько, по его мнению, следовало ему заплатить. Успенский

этого не ожидал, ибо ценил себя втрое дороже других беллетристов, печатавшихся в то время в журнале Некрасова. Явилось крупное недоразумение, и настойчивость Успенского получить за труды свои несравненно больше того, что было ему уплачено, наткнулась на человека тоже настойчивого, переломить которого ему было не по силам".[1]

Полонский не знал в то время, что Некрасов дал Успенскому гораздо больше, чем ему полагалось, и что вообще в 1860—1861 гг. издатель „Современника" проявил величайшую щедрость по отношению к своим главным сотрудникам: Добролюбову дал шесть с половиною тысяч, Чернышевскому — больше тринадцати,[2] и что в сущности, как мы ниже увидим, его столкновение с Успенским произошло совсем не из-за денег.

После этого эпизода Николай Успенский порвал с „Современником". В начале 62 года там был напечатан его последний рассказ — и этим заключился первый, наиболее блистательный период его литературной работы. Он так и не начал писать тот роман, на который в „Современнике" возлагали столько надежд и которому должен был позавидовать сам Александр Дюма.

Разрыв с „Современником" был для Николая Успенского очень тяжелым ударом. „Он приехал из Петербурга на родину совершенно больным, затосковал", — вспоминает его племянник. Родные опасались, что он сойдет с ума.

Знаменательно, что вскоре после этой истории в нем приняли самое живое участие и Лев Толстой, и Тургенев. До той поры они видели в нем чужака, а теперь сблизились с ним и, как бы в пику Некрасову, стали ему покровительствовать. Их не могло не обрадовать, что тот, кого они считали одним из самых надежных и верных приверженцев ненавистной им чернышевско-некрасовской партии, дезертировал сейчас же вслед за ними из ненавистного им „Современника".

И можно ли сомневаться, что Тургенев, который в то время, в ослеплении партийной вражды, распространял

[1] „Исторический вестник", 1898, 4, стр. 148.

[2] В. Е. Евгеньев-Максимов, Некрасов как человек, журналист и поэт, М.—Л. 1928, стр. 188.

самые невероятные слухи о денежной нечистоплотности Некрасова, с большой симпатией выслушивал жалобы Николая Успенского на его новые каверзы.

Толстой тогда же, в 62 году, пригласил Николая Успенского учителем в свою любимую яснополянскую школу и напечатал у себя в журнале его рассказ „Хорошее житье". Один из полицейских шпионов, наблюдавший тогда за Толстым, вообразил даже спьяну, будто Николай Успенский есть тайный агент Льва Толстого, распространяющий среди крестьян сочинения Герцена.[1] Конечно, все это была сплошная фантастика, которая свидетельствовала только о том, что Николай Успенский в то время был частым посетителем Ясной Поляны и что Толстой нередко беседовал с ним. Впоследствии Толстой говорил одному из своих посетителей:

„Я ставлю Николая Успенского много выше превознесенного другого Успенского, Глеба, у которого нет ни той правды, ни той художественности".[2]

Тургенев, наоборот, утверждал через несколько лет, что „у Глеба в десять раз больше таланта",[3] но все же отнесся в то время к Николаю Успенскому с небывалой сердечностью и предоставил ему (опять-таки в пику Некрасову) в своем имении Спасском небольшой участок земли, чтобы он жил, не нуждаясь, и спокойно занимался писательством.

„Отечественные записки", умеренно-либеральный журнал, к которому примкнул тогда Успенский, тоже были преисполнены враждой к Чернышевскому, и таким образом через несколько месяцев после того, как Чернышевский провозгласил Николая Успенского одним из носителей революционных идей „Современника", Успенский оказался в рядах его непримиримых врагов. В „Отечественных записках" встретили его очень приветливо и заявили в одной из рецензий, что в своих новых рассказах он понемногу становится чистым художником, что идея уже не берет у него перевеса над формой, то есть

---

[1] „Звенья", 1932, т. I, стр. 378.

[2] И. Н. Захарьин (Якунин), Встречи и воспоминания, II 1903, стр. 214.

[3] „Первое собрание писем И. С. Тургенева", СПБ. 1884, стр. 249.

иными словами, что он совершенно отошел от позиций, которые занимал в „Современнике“.[1]

„Современник“ с своей стороны поспешил указать, что именно вследствие этого его новые писания так бездарны.[2]

Тогда „Отечественные записки“ разразились громовой статьей, полной восклицательных знаков, о том, что „Современник“ — лицемер и отъявленный циник, так как, покуда Николай Успенский печатался у него на страницах, он устами Чернышевского расхваливал своего сотрудника самым неумеренным образом, а теперь, когда рассказы этого автора явились в другом журнале, „Современник“ без зазрения совести объявляет его бездарностью.[3]

Нужно сказать, что, действительно, в новом журнале произведения Николая Успенского стали до странности плюгавы и мелки. Очевидно, Некрасов потому и не удерживал его у себя в „Современнике“, что подметил эту убыль его дарования. А главная беда была в том, что „очерк из народного быта“ (в юмористической манере Николая Успенского) ко второй половине шестидесятых годов сделался очень дешевым литературным продуктом и, понемногу утратив свою, так сказать, революционную функцию, стремительно покатился по направлению к лейкинщине.

Впрочем, и прежние произведения Николая Успенского тогда же подверглись суровой переоценке со стороны „Современника“ — те самые произведения, которые во времена Чернышевского „Современник“ так охотно печатал у себя на страницах как свои программные вещи. Теперь именно за эти прежние рассказы и очерки „Современник“ обозвал его бесталанным писакой „с крошечным куриным миросозерцанием и крошечной куриной наблюдательностью“, начисто аннулируя таким пренебрежительным отзывом знаменитую статью Чернышевского, напечатанную на тех же страницах около года назад.

---

[1] „Отечественные записки“, 1863, 11—12, стр. 117.
[2] „Современник“, 1864, 5, стр 27—59.
[3] „Отечественные записки“, 1866, 5, стр. 168—172.

Теперь установлено с точностью, что против статьи Чернышевского выступил не кто иной, как Щедрин.[1] Для демонстрации „куриных качеств" Николая Успенского сатирик в анонимной статье пропародировал один из его последних рассказов, недавно напечатанных в том же журнале.

Этот рассказ — „Летний день".[2]

Таким образом уже в марте 1863 года „Современник" отрекся от своей былой солидарности с Николаем Успенским и от той высокой оценки, которую за год до этого дал бывший руководитель журнала социально-политическим тенденциям его „Очерков народного быта".

Характерно заглавие щедринского шаржа: „Полуобразованность и жадность — родные сестры". Это заглавие — отнюдь не пародия, так как у Николая Успенского подобных заглавий нет. Вернее всего, что эта сентенция вызвана недавним поведением Успенского во время разрыва с Некрасовым, когда своими требованиями фантастических денег Успенский обнаружил ту „жадность", которая, по мысли Щедрина, свойственна полуобразованным людям.

На земле Тургенева Николай Успенский прожил очень недолго; не прошло и года, как он покинул ее и в течение нескольких лет мыкался по разным уездным училищам в качестве преподавателя русской грамматики, а потом — должно быть под давлением безденежья — внезапно вернулся в Спасское, чтобы продать предоставленный ему Тургеневым участок земли.

Тургенев испугался и тотчас же написал своему управляющему:

„Обратитесь к нему (т. е. к Николаю Успенскому) и попытайтесь воздействовать на его совесть: вот скоро пять лет, как мои тысяча рублей за ним пропадают, неужели он будет столь мало честен, что продаст эту самую землю в чужие руки?"

Мирные переговоры не привели ни к чему. „Человеко-

---

[1] Иванов-Разумник, М. Е. Салтыков-Щедрин, М. 1930, стр. 307.

[2] „Наша общественная жизнь". „Современник", 1863, 3, стр. 183. Кроме „Летнего дня" в пародии частично использована концовка рассказа „Вечер".

ненавидец" стоял на своем. Тургеневу пришлось заплатить ему за свою собственную землю, и лишь тогда он выехал из Спасского, „осыпая Ивана Сергеевича бранью, говоря, что Тургенев его надул, что он отнял у него то, что было подарено ему" и т. д.[1]

Через несколько лет Тургенев в письме к Полонскому написал о нем следующее:

„Николай Успенский давным-давно конченный человек. На него можно махнуть рукой".

Таково тогда было общее мнение. Петр Ткачев тогда же или даже несколько раньше отозвался о нем, как о бывшем писателе.

„Когда-то знаменитый, а ныне почти всеми позабытый г. Николай Успенский".[2]

С тех пор прозвище „забытый писатель" прочно пристало к нему. Его как будто для того и вспоминали в журналах, чтобы, вспомнив, назвать забытым. Если какой-нибудь критик и отмечал его произведения в печати, то тут же непременно указывал, что теперь уж их никто не читает. Н. К. Михайловский так и начал статейку о нем:

„Г[осподин] Николай Успенский пишет давно уже и пользовался когда-то большой известностью и особенным вниманием как публики, так и критики, но ныне почти забыт".[3]

Он и сам именовал себя забытым. А когда он умер, во всех некрологах слово „забытый" стало его постоянным эпитетом. Газеты в один голос признавались, что не помнят ни одного заглавия его сочинений. „Забытый человек" — таково заглавие одной мемориальной заметки о нем.[4]

10

Чем объяснить это внезапное забвенье? Упадком его таланта? Нисколько. Ибо именно тогда, к началу семидесятых годов, когда он впервые очутился под бойкотом

---

[1] Н. Гутьяр, И. С. Тургенев и Николай Успенский, „Литературный вестник", 1904, 1.

[2] „Дело", 1872, 1, стр. 7.

[3] „Отечественные записки", 1877, 2, стр. 212.

[4] Статья И в[а н а] Б[у н и]н а в „Русской жизни", 1892, № 333.

читательских масс, его талант после нескольких лет увядания расцвел самым неожиданным цветом, и этот „конченный человек“, на которого все так охотно махнули рукой, именно тогда принялся создавать одну за другою самые зрелые и полновесные вещи — уже не клочки, не наброски, а большие сюжетные повести с широким социальным охватом — „Федора Петровича“, „Сашу“, „Егорку Пастуха“, „Старое и новое“, „Издалека и вблизи“, но повести эти прошли незамеченными. Ими он не только не отвоевал себе своей прежней головокружительной славы, но не привлек самого ничтожного внимания какой-нибудь захудалой газетки.

Мне уже случалось указывать, что это бесславие было для него, как удар кулака. Избалованный вчерашними успехами, он не умел с достоинством стушеваться в толпе третьестепенных писателей, куда его внезапно оттеснили, а все еще цеплялся за прежнее, громко заявляя свое право на утраченное им первородство. Тяжелее всего было то, что слава не составляла для него какого-то второстепенного придатка ко всей сумме его жизненных благ, как это бывало с писателями, принадлежавшими к дворянскому роду; для него, бедняка-разночинца, в славе было все: и свобода, и общественное положение, и деньги. Нет славы, и нет ничего, — возвращайся в свое захолустье, а провинция жестока к неудачникам и не прощает успехов, которые окончились крахом...

Почему же произошло с ним такое несчастье? Почему те самые круги, которые встретили его как одного из лучших своих представителей, теперь отвернулись от него, как от докучной ненужности?

Причина этого заключалась не в нем, а в эпохе.

Именно в ту пору, когда он порвал с „Современником“, кончился праздничный период „бури и натиска“ шестидесятых годов и началось тяжелое похмелье. Знаменитые пожары в Петербурге, свирепое усмирение польских повстанцев, муравьевские виселицы, разгром революционных и радикальных кружков, арест Михайлова, Чернышевского, Серно-Соловьевича и, главное, та кабала, в которой оказались крестьяне после „великой реформы“ Александра II, — все это не могло не произвести самых крутых перемен во взглядах молодой демократии.

Тот самый год, когда Николай Успенский ушел из революционного лагеря, был годом перелома всей эпохи. В русском „обществе“ именно с этого времени стала медленно, но верно слагаться доктрина крестьянского социализма семидесятых годов. Разночинцы именно тогда стали создавать себе новую веру — народничество — основанную на сладчайшей иллюзии о каком-то непогрешимом народе, в недрах которого, будто бы, тайно сокрыта мощная революционная воля и который в созданной им общине имеет, будто бы, все предпосылки грядущего идеального строя, причем, конечно, всякое нелестное слово об этом боготворимом народе воспринималось как оскорбление святыни. Вера народников в общину была, по выражению Ленина, „детской“, а практическая сторона их доктрины — „утопией“.[1]

Но именно поэтому, как и большинство утопистов, они были нетерпимы ко всякому, кто не разделял их иллюзий. От писателей, изображающих крестьянскую жизнь, они стали деспотически требовать славословий по адресу „деревенских устоев“, которые будто бы сами по себе идеальны и нуждаются только в освобождении от чужеродных полицейско-государственных пут, чтобы стать фундаментом всеобщего счастья. Благоговение перед скрытой мудростью „спасенного в рабстве“ народа вменялось тогдашним бытописателям в прямую обязанность.

В рабстве спасенное
Сердце свободное —
Золото, золото,
Сердце народное!

Вот какой верой жила в ту эпоху вся разночинная культурная масса, — верой в то, что, хотя русский народ и после крестьянской реформы пребывает во всяческом рабстве, но в глубине-то глубин он сохранил неистраченной всю свою боевую энергию для неизбежного революционного взрыва. И мудрено ли, что в эту эпоху автор „Хорошего житья“ и „Обоза“, разоблачитель всеисцеляющей общины, увидевший в деревенском быту только „лютую бессодержательность жизни“, „окамене-

[1] В. И. Ленин, Собрание сочинений, т. I, 1926, стр. 284.

лое безобразие", „грязь", „летаргическую спячку" и звериное „всеобщее глотание", стал для народников семидесятых годов одним из самых ненавистных писателей. [1]

Как только что было указано, народнические настроения возникли еще в шестидесятых годах, и по мере их возрастания росла неприязнь молодой демократии к „циничным и клеветническим" писаниям Николая Успенского. Уже в 1865 году „Современник" напечатал статью молодого экономиста Жуковского о том, „как измерить примерно долг народу цивилизованных классов", — и там уже можно найти основные „веяния" народничества.

Эти новые веяния великолепно почуял такой гениальный журналист, как Некрасов, создавший именно в ту пору, в 1864 году, свою первую крестьянскую поэму „Мороз-красный нос", где воспел в монументальных стихах небывало-величавую, труженическую, гармонически-прекрасную жизнь великорусской деревни. Тогда же он принялся за создание своей крестьянской Одиссеи „Кому на Руси жить хорошо", которая впоследствии стала поэтическим манифестом народников.

Чем больше росло и укреплялось народничество, тем враждебнее относилась передовая молодежь к Николаю Успенскому, который не только не примкнул к дружному хору Златовратского, Засодимского, Юзова и других апологетов общинных „устоев", но, напротив, постоянно указывал, что община дает полную волю хищническим, кулацким инстинктам, разрушающим ее изнутри.

Критика семидесятых годов запрещала тогдашним писателям даже малейшие сомнения в „устоях". Когда брат Николая Успенского, Глеб, высказал было в „Отечественных записках" несколько еретических мыслей о том, что община, пожалуй, не препятствует нарождению кулачества, правоверный народник Юзов написал свирепую статью, где уподобил Глеба Успенского полицейскому приставу, утверждающему, что „наш народец — подлец". А другой журналист, Леонид Оболенский, в еще более

[1] „Рассказы Н. В. Успенского", М. 1876, т. II, стр. 160—185.

грозной статье назвал Глеба Успенского — „шалопаем", „болтуном", „ретроградом".[1]

Если за малейшие сомнения в крестьянских „устоях" критика платила такой жестокой расправой, можно себе представить, с какой яростью обрушилась она на того отщепенца, который вообще не верит ни в какие „устои".

Для народнической критики имя Николая Успенского было синонимом самой постыдной клеветы на крестьянство. Она либо замалчивала его „очерки народного быта", либо отзывалась о них, как о постыдном литературном явлении.

Один из виднейших представителей народнической критики, А. М. Скабичевский, прямо обвинял Николая Успенского в специальном желании насмеяться над русским народом.

„В его рассказах, — писал Скабичевский, — народ представляется в невообразимо безобразном виде: каждый мужик непременно или вор, или пьяница, или такой дурак, каких и свет не производил; каждая баба такая идиотка, что ума помрачение... Что удавалось Н. Успенскому мельком увидеть или услышать, он передавал в сыром и конкретном (!) виде, с единственной целью показать, как русский мужик невежествен, дик, смешон, загнан и забит, как тонет он в грязи невежества, суеверий, пошлости. Забитость, тупоумие, отсутствие всякого человеческого образа и подобия в героях Николая Успенского одуряют вас, когда вы читаете его очерки".[2]

Эти суждения о Николае Успенском принадлежали тогда не одному Скабичевскому. Их высказывали решительно все. А так как народничество было живо и в восьмидесятых годах, то ненависть преследовала Николая Успенского до самой могилы, причем позднейшие его прокуроры осуждали его по преданию, даже не читая его книг. О нем раз навсегда установился готовый критический штамп, которым каждое новое поколение критиков клеймило его снова и снова. И за все эти сорок лет,

---

[1] В. Чешихин-Ветринский, Г. И. Успенский, М. 1929, стр. 221 и 227.

[2] А. М. Скабичевский, История новейшей русской литературы, П. 1909, стр. 219. Эти обвинения против Николая Успенского повторялись Скабичевским из года в год около тридцати лет.

прошедших со дня его трагической смерти, никто так и не собрался переоценить его творчество.

Один только Плеханов, в конце девяностых годов, в разгаре баталий с народниками, несколько раз вспоминал его имя и доказывал, что народники были неправы, черня и унижая его. Но, к сожалению, Плеханов говорил о Николае Успенском всегда мимоходом, вскользь, по случайному поводу, и не успел посвятить ему отдельной статьи, — вроде тех, какие он посвятил Каронину, Наумову, Глебу Успенскому. Может быть поэтому его отзыв о Николае Успенском не встретил никакого резонанса, и автор „Обоза" попрежнему остался отверженным. [1]

А между тем, повторяю, те повести, которые писались Николаем Успенским в ту пору, когда он находился под литературным бойкотом, свидетельствовали о новом расцвете его дарования. Первая из этих повестей „Федор Петрович" относится еще к 1866 году. Она прошла незаметно в убогой книжке полумертвого журнала, но ее тема была нова и огромна: о нарождении новой буржуазии в деревне на развалинах гибнущей дворянской усадьбы. За тринадцать лет до знаменитых сатир Щедрина, посвященных появлению „чумазого", за восемь лет до того, как Щедрин впервые бегло набросал Дерунова, чумазый был введен в литературу и показан во весь рост Николаем Успенским.

Та оценка, которую в этой тщательно написанной повести дал Николай Успенский чумазому, предвосхищает щедринскую характеристику даже в деталях, но, конечно, у Щедрина этот образ (как более поздний) гораздо законченнее. Щедрин, например, уже вполне осознал, что Дерунов есть опора самодержавного строя, для Успенского же эта особенность чумазого как бы в тумане. Но кое-какие черты, свидетельствующие об этой особенности, ему все же удалось разглядеть. Его чумазый — кандидат в черносотенцы: он почетный церковный староста, помогает полиции ловить дезертиров и призывает уважать царев кабак, как учреждение высокой государственной

---

[1] Любопытно отметить, что в полемике с А. М. Скабичевским Плеханов выдвигал на первое место помещичью дочь Сашу и страдающую религиозной манией Катерину.

важности, украшенное двуглавым орлом. Здесь все предпосылки для той политической роли чумазого, которую позднее отметил Щедрин.

В одном только расходятся Щедрин и Успенский. Для Щедрина Разуваев — „праздношатающаяся тля", „ленивейший забулдыга", нисколько не похожий на того буржуа, которому удалось „неслыханным трудолюбием (хотя и не без участия кровопивства) завоевать себе положение в обществе". Успенский же наделяет своего кровопивца раньше всего неистощимой энергией хорошо организованного хищника.

Русская публицистика позднейшей эпохи вполне подтвердила диагноз Николая Успенского, но тогда эта повесть, возвещавшая о классовых боях в деревенской среде, которую народники представляли себе монолитной, до такой степени противоречила их воззрениям на крестьянскую массу, что даже не была замечена ими, словно написанная на чужом языке.

Такому же замалчиванию подверглась и следующая повесть Николая Успенского на такую же горячую тему — о земстве. Повесть была напечатана в „Вестнике Европы" 1870 года и называлась „Старое по старому". В ней Николай Успенский снова восстал против своих давнишних врагов — либералов, для которых земство к тому времени сделалось одним из фетишей, и разоблачил классовую сущность так называемой земской работы и показал на целом ряде конкретных примеров, что под прикрытием демократических лозунгов эта работа идет на потребу барину, купцу, кулаку. Но эта повесть Николая Успенского, насколько я мог установить, не встретила в журналистике ни единого отклика.

Тогда он сделал новую попытку завоевать себе сочувствие читателей и, чтобы покончить с кривотолками, будто он „ненавидит крестьян", для того же „Вестника Европы" написал „Егорку Пастуха" — поэтичную идиллию об идеальной любви двух безупречных крестьянских сердец, в духе деревенских повестей того времени, но и это не вернуло ему прежних симпатий, так как приговор о нем был произнесен раз навсегда, репутация его была установлена твердо, и поколебать ее уже ничто не могло.

А между тем это была его последняя ставка. Проиграв ее, он сразу сорвался и полетел словно в яму.

Самое ужасное было вовсе не то, что он запьянствовал и „пошел нищебродом". Этот погибельный путь не омрачал его писательского облика. Хуже всего было то, что растленная среда, от которой он когда-то оторвался, снова поглотила его. Он уехал к себе в захолустье и, погрузившись в нечистую тину „мелких помыслов, мелких страстей", отказался от всех своих прежних литературных задач и стал писать микроскопические очерки на самые микроскопические темы. Даже его язык, еще недавно такой полнокровный, сразу стал каким-то худосочным и в нем появились трафаретные фразы самого моветонного свойства: „стройная белокурая девушка с голубыми глазами", „под кустами блестела как бриллиант утренняя роса", „в свежем воздухе раздавались несмолкаемые трели жаворонка" и т. д., и т. д., и т. д.[1] Вскоре, когда он окончательно опошлел и осунулся, „очерк народного быта" выродился у него под пером в пустопорожнюю с ц е н к у, освобожденную от всякой идейной нагрузки: как горничная целуется с кучером, как старая барыня передвигает в своей комнате шкаф, как одного мещанина выгнали из дамской купальни, как тульские охотники ловят уток на самку-крякву, как в вагоне конно-железной дороги один пассажир разглагольствует о преимуществе говядины перед куриными яйцами, — и название всем этим сценкам одно: о б ы в а т е л ь щ и н а, и в эту обывательщину он ушел с головой, уже не обличая ее, а как бы солидаризируясь с нею в качестве одного из ее представителей. Даже крестьянский говор в его позднейших рассказах становится обывательски-фальшив и аляповат. Появляются всевозможные „йефто", „прикрасно", „двистительно", „ужасти", „щикатулка", „фуртупьяны" и пр. Чувствуется, что теперь он адресует свои рассказы другому — самому низменному — слою читателей, вполне равнодушный и к их литературной оценке, и к своей теме, и к себе самому. Ему даже как будто стало в тягость измышлять какой-нибудь сюжет, и он начал писать „ни о чем", чаще всего воспроизводя со стеногра-

[1] Сочинения Н. В. У с п е н с к о г о, М. 1883, 4, стр. 133.

фической точностью никчемные разговоры никчемных людей, культивируя то самое „перекабыльство", над которым издевался когда-то.

11

В конце семидесятых годов его, старика-неудачника, полюбила шестнадцатилетняя девушка Елизавета Успенская и, наперекор отчаянному сопротивлению родителей, вышла за него замуж — на вечную гибель. Ее отец был деревенский священник, сколотивший себе состояние при помощи всевозможных афер. Узнав, что его дочь хочет выйти за этого сорокадвухлетнего „Каина", он запер ее в чулане, но „Каин", разобрав досчатую крышу чулана, стал посещать свою милую тайно.[1] Отец вознаградил себя тем, что не дал за дочерью никакого приданого. Должно быть это сильно возмутило Николая Успенского, так как он тогда же напечатал рассказ о богатом и жестоком попе, который довел свою дочь до скоротечной чахотки, отказавшись наделить ее имуществом.[2]

Впрочем, до скоротечной чахотки довел ее он сам, так как нельзя себе представить человека, менее способного к семейному быту. Говорят, он замучил больную жену, заставляя ее кочевать из деревни в деревню, когда же однажды ему поручили няньчить двухнедельную дочь, он оставил ее в запертой комнате, а сам ушел часа на три в лес, и ее чуть не загрызли крысы. „Жизнь с таким человеком хуже всякой смерти, хуже всякой каторги и могилы", — писал ее разгневанный отец и снова называл его „Каином".[3] Впрочем, порою на „Каина" находили припадки самой пламенной нежности, и когда его жена заболела чахоткой, он посадил ее в ручную тележку и стал катать в ясные дни по селу, возбуждая насмешки соседей, которые должно быть видели и в этом катании свойственное ему „балаганство".

Свою дочь он тоже любил по-особенному: кинет ее,

---

[1] С. Миловидов, Из воспоминаний о Н. В. Успенском, „Приазовский край", 1893, № 119.

[2] Сочинения Н. В. Успенского, М. 1883, стр. 133—150, „Письмоводитель".

[3] „Исторический вестник", 1905, 12, стр. 439.

голую, с берега в воду, она кричит и барахтается, посинеет от крика, а он „стоит себе спокойно“ на берегу и глядит, — уверенный, что такое купанье укрепляет ее организм.[1]

Его тесть был выжига, стяжатель, кулак, сочетавший церковную службу с аферами, и, конечно, сейчас же после свадьбы Успенский объявил ему войну, которую и вел в течение нескольких лет с неистовым напряжением всех своих умственных сил, то жалуясь на него архиерею, то грозно обличая его перед паствой, то громя его в сокрушительных письмах.

Со стороны было больно смотреть, что столько таланта и пафоса тратится на мелкие дрязги, но в том-то, повторяю, и было несчастье Николая Успенского, что, вырвавшись на несколько лет из провинциальной среды, он к старости снова погрузился в нее. Другие писатели той же семинарской породы — Чернышевский, Добролюбов, Елисеев, Помяловский, Левитов, оторвавшись от „духовного“ быта и возненавидев его, никогда не возвращались к нему, а Успенский, чуть только литература отвергла его, вернулся в родную топь и завяз в ней по самое горло. Податься было некуда. Похоронив жену, он взял гармонику, взял крокодила, взял двухлетнюю дочь и, распухший, пьяный, лохматый, с седой бородой, в арестантской овчинной бекеше, пошел шататься по ночлежным домам и трактирам, и у него появились друзья с воровскими кличками — Мазепа, Левша, Костоправ, Фармазон и Шептун, и он сделался настоящий босяк; одна нога в калоше, борода нечесаная, коленки трясутся, — ходит и выпрашивает рюмочку в долг, но ему не верят и гонят, а порою и бьют:

— Закатил ему в шею, ажно закувыркался! — вспоминал впоследствии один заводской.[2]

Единственное близкое ему существо была маленькая Оля, его дочь, и когда она чуть-чуть подросла, он одел ее мальчишкой и потащил по притонам, заставляя петь и плясать перед публикой и собирать медяки. Всякого, кто порывался спасти ее от такой развращающей

---

[1] „Русская жизнь“, 1892, № 333.
[2] Там же и „Русская мысль“, 1902, 11, стр. 105.

жизни, он считал своим заклятым врагом. Отсюда его беспрестанные стычки с родными, которые то и дело похищали ее. Он врывался к ним в дом со скандалом и требовал, чтобы они немедленно отдали девочку, а та, услыхав его голос, начинала дрожать и плакать и в ужасе забивалась за шкаф. Тогда он предпринимал многодневную осаду их дома, садился в ближайшей канаве и ждал, они же, глядя на него из окна, и ругали его, и жалели:

„Слез-то, слез-то сколько пролила я в ту пору, — вспоминала его сестра Елизавета Васильевна. — Ведь какой он в молодости был красивый, добрый, умный... А тут сядет и сидит в канаве против нашего дома. Помню, пекла я лепешки, выслала ему. Гляжу, взял он, ест, а сам старый, седой, страшный". [1]

Когда девочке пошел десятый год, ее окончательно поселили у деда.

Изумительны письма, которые в то время Успенский адресовал сыновьям ее тетки, якобы способствовавшей ее похищению:

„...Во имя святого чудотворца и угодника Сергия вразумите вашу мать, что красть и продавать чужих малолетних детей... и внушать им: „не чти отца твоего" — есть великий грех..."

„...Младенец Христос, которого мы в эти дни прославляем, не замедлит ниспослать свой праведный гнев на ваших родителей..."

„...Вообще не держитесь ни политеизма, ни деизма, ни дарвинизма, а держитесь правды, за которую пострадал господь наш Иисус Христос..."

„...Да разразится же небесная кара и божий гнев над вашими беззаконными и нечестивыми родителями..."

В этих письмах выразилось ярче всего полное поглощение его психики той растленной средой, от которой он когда-то оторвался. Их клерикальный жаргон не был, как можно подумать, стилизацией под привычную фразеологию врагов, пущенной в ход ради полемических надобностей. Нет, это был подлинный стиль его тогдашних речей. Своим знакомым он тогда же заявил, что идет

[1] „Исторический вестник", 1905, 12, стр. 498.

на богомолье — поклониться чудотворным мощам калужского святителя Тихона, куда его трижды звал некий таинственный голос.

От прежнего „нигилиста" уже почти ничего не осталось. Правда, рассказывая по трактирам о знаменитых писателях, он все еще взимал со своих слушателей самую высокую плату за биографии тех, которые либо сидели в тюрьме, либо побывали на каторге, а самую дешевую плату брал за биографию Пушкина, которого по традиции шестидесятых годов считал великосветским шалопаем, но только в этом, пожалуй, и сказывался весь его былой радикализм. Хуже всего было то, что теперь он подпал под влияние московского пропойцы Кондратьева, который немало способствовал его отпадению от прежних позиций.

Про его дружбу с Кондратьевым мы узнали совсем недавно из одной маленькой книжки, вышедшей лет семь тому назад.[1] Там этот Кондратьев обрисован в виде самой безобидной литературной богемы, между тем, покопавшись в тогдашних московских журналах, можно без труда убедиться, что это был раньше всего — боевой черносотенец, бравировавший своей необузданной преданностью белому царю, чудотворным иконам, православным церквам и т. д. В пору своей дружбы с Успенским он сочинял вот такие стихи:

Слава богу, храмам божиим,
Слава всем святым местам,
Слава нашим православным
Позолоченным крестам.
И еще на годы долгие
В ночь и ясную зарю
Слава белому могучему
Православному царю.

Был он человек далеко не бездарный, бойко владевший пером, — романист, водевилист, переводчик. Состоял он в то время ближайшим сотрудником еженедельного журнала „Развлечение", который, стремясь завоевать

[1] Иван Белоусов, Литературная Москва. Воспоминания 1880—1925 гг., М. 1926, стр. 29.

популярность среди духовенства и купеческой черни, усердно демонстрировал свою преданность алтарю и престолу. В это-то „Развлечение“ Кондратьев и втянул Николая Успенского. Дико было видеть, как ветеран „Современника“ подвизается в погромном листке, промышляющем антисемитизмом и набожностью. „Иуда Пейзенсон“, „Иуда Шельманзон“, „Гешефтмахер из Шклова“, „Жидовская логика“, „Ой вай мир! мой кумир злато, злато, злато!“ — таков был стиль этой замоскворецкой клоаки. И тут же ратоборство за православную веру, сбор пожертвований на черниговский Спасо-Преображенский собор и посрамление какой-то „язычницы“, которая имела несчастье родиться „от австрийских неверующих в бога родителей“. И рядом с карикатурами — иконы лубочного жанра: „Святой преподобный Сергий благословляет Дмитрия Донского“, „Владимир-Красное Солнышко совершает крещение Руси“ и т. д. И яростная травля Льва Толстого за его измену православию. [1]

Словом, нужно было начисто отречься от всякого касательства к так называемым заветам шестидесятых годов, чтобы сделаться сотрудником этого трактирного органа. Николай Успенский и отрекся, насколько у него хватило уменья. Теперь в его новых очерках из народного быта помещики сделались благодушны и милостивы, а крестьяне — воры и пройдохи, не стоящие их благодеяний. В очерке „Отрадное явление“ им выведен евангельски-праведный барин, исполнявший все прихоти обнаглелых крестьян, которые в конце концов насмеялись над ним и увели у него тройку самых лучших коней. [2]

И тут же заодно среди икон, карикатур, анекдотов и ура-патриотических виршей Успенский начинает печатать, по совету того же Кондратьева, серию обличительных мемуарных набросков о Некрасове, Льве Толстом, Глебе Успенском, Слепцове, словно мстя им за то, что они знамениты и окружены ореолом, а он — в канаве, с разбухшими почками, презираемый даже трактирною сволочью, и, конечно, на страницах рептильного органа его выпады против писателей, наиболее чтимых в ради-

[1] „Развлечение“, 1889, №№ 5, 9, 11, 15, 24, 36.
[2] Там же, 1889, № 15, стр. 7.

кальной среде, были восприняты как политическое выступление врага. Даже правые и те возмутились.

„Как это пошло, мерзко и позорно!" — восклицали московские „Новости дня" по поводу его нападок на Некрасова.[1] Даже Буренин объявил в „Новом времени", что его мемуары — циничная ложь.[2] А Глеб Успенский прислал в редакцию „Развлечения" письмо, где требовал немедленно прекратить публикацию этих клеветнических „выдумок".[3]

Зато Кондратьев был очень доволен:

— Жарь их хорошенько! — приговаривал он.

Успенский и жарил их, что называется, в четыре кнута, но в конце концов „Развлечение", испуганное поднявшимся шумом, внезапно прекратило всю серию, тем более, что по поводу его недобрых страниц о Некрасове тогда же были напечатаны документальные данные, устанавливающие их легендарность.[4]

Так что ренегатство у него тоже не вытанцовалось. Ведь даже в этих своих мемуарах, где он как будто солидаризируется с самыми реакционными группами, он по существу продолжает свою прежнюю линию, ибо все его нападки на Некрасова, Григоровича, Толстого, Тургенева были, если всмотреться внимательно, не справа, а слева: он обличал этих людей за их барственность, за их оторванность от народных низов, за их лжедемократизм и прочее, отлично понимая в то же время, что весь этот левофланговый обстрел будет использован правыми.

Все же в черносотенном лагере написание этих мемуаров ему, очевидно, вменили в заслугу, так как он получил приглашение сотрудничать в „Русском вестнике" Берга, наиболее респектабельном из победоносцевских органов. Он воспользовался этим приглашением и напечатал там „Очерки усадебной жизни", которые вызвали одобрение самого Константина Леонтьева за их верность православным началам.[5] Тут же рядом, на соседних страницах, была дана апология шефа жандармов Шувалова, был ошельмо-

[1] „Новости дня", 1888, № 1869.
[2] „Новое время", 1889, № 4831.
[3] „Развлечение", 1889, № 14, стр. 7.
[4] „Новое время", 1889, № 4630.
[5] „Русский вестник", 1889, 5.

ван герценовский „Колокол“ и были расхвалены церковно-приходские школы в качестве одного из оплотов самодержавного строя.

Дальше Николаю Успенскому было уже некуда падать. Видевшие его в эту пору были поражены его внешностью: „он был полураздет, худ и страшно грустен“. Очевидно, сознание своего ренегатства тяжело угнетало его. Он отправился было в деревню за дочерью, но та, увидев его, испугалась и спряталась. Он постоял, подождал, а потом заплакал и ушел. А через несколько дней в газетах появилась заметка:

„21 октября (1889 года), около одного из домов Смоленского рынка, где ютится бездомный московский люд, был найден труп какого-то старика. Горло оказалось перерезанным в двух местах. Около трупа были две большие лужи крови, и тут же лежал тупой перочинный ножик. Труп был одет в рубище. При обыске в карманах не оказалось ничего, кроме паспорта на имя бывшего учителя Николая Васильевича Успенского“.

Как выяснилось потом, этот ножик он купил за четвертак на базаре. Просил у Кондратьева бритву, но тот сказал:

— Зарежешься и ножиком!

В кармане у него нашли восемь копеек и передали их его наследнице — дочери.

12

Никто из сколько-нибудь заметных писателей не пришел на его погребение: ни Златовратский, ни Короленко, ни Чехов, ни Боборыкин, ни Эртель. Даже Глеб Успенский демонстративно отсутствовал. Не было даже представителя от Литературного фонда. Зато почтить его, как „отставного учителя“, явился во всей своей славе статский советник Карл Карлович Кноблох, инспектор московских народных училищ, и тем только сильнее подчеркнул его отрыв от литературной среды.

Профессорские „Русские ведомости“ напечатали первое известие о его трагической смерти рядом с заметкой о пятирогом баране и о черноносых гусях, поступивших

в московский зоологический сад, — и тоже третируя его, как „отставного учителя“, не привели в некрологе ни единого заголовка его сочинений.[1]

Для либеральных петербургских „Новостей“ он был безвестный писатель:

„Многие ли из современной публики, — вопрошала газета, — не говорим уже, читали, но хотя бы слышали об этом писателе?“[2]

Зато трактирно-купеческий „Московский листок“, в котором Успенский в последние годы сотрудничал, объявил его всемирной знаменитостью. Так и напечатал в его некрологе: „известный всему миру [!] Николай Васильевич Успенский“. Правда, и эта газета не могла привести ни одного заголовка его сочинений, но взамен этого она тут же указала на его близкое родство с Глебом Успенским, очевидно полагая, что такой литературной заслуги вполне достаточно для всемирной известности.[3]

Это было подхвачено другими газетами, и „двоюродный брат Глеба Успенского“ вскоре сделалось как бы чином покойного.

Через несколько дней в печати выступили профессиональные плакальщики, и каждый из них плакал неспроста, но с определенною партийною целью.

„Страшным, ничем неизгладимым укором да ляжет смерть Николая Васильевича Успенского на совесть факиров либеральной кружковщины! — заливался один из них. — Пусть этот холодный безжизненный труп страшным призраком смущает покой многодовольных собою фигляров“ и т. д., и т. д., и т. д.[4]

Другой, порыдав сколько надо, заявил, что умерший был сам виноват в своей гибели, ибо в качестве бесшабашной богемы отвергал буржуазный уют.[5]

Третий откровенно признавался:

---

[1] „Русские ведомости“, 1889, № 295. На такое отношение этой газеты к смерти Николая Успенского несомненно влияла ее близость к Глебу Успенскому (см. Г. И. Успенский, Сочинения и письма, под редакцией В. В. Буша, Н. К. Пиксанова и Б. Г. Успенского, М.—Л. 1929, стр. 559, 622—624).

[2] „Новости“, 1889, № 295.

[3] „Московский листок“, 1889, № 295.

[4] Там же, 1889, № 297.

[5] „День“, 1889, № 514.

„Мы как будто даже радуемся такому трагическому исходу жизни нашего талантливого собрата: — слава богу, наконец-то человек зарезался!" — и как бы для того, чтобы оправдать эту радость, тут же в некрологе стал доказывать, что покойный клеветал на крестьян, что талант у него был зловредный и дрянненький, так что, в сущности, жалеть его нечего.[1]

В иллюстрированных журналах того времени, во „Всемирной иллюстрации", „Севере", в тех самых номерах, где сообщалось о его трагической смерти, были даны отличные портреты только что умершего Трепова, какой-то мадам Чикуановой, генерал-майора Бранденбурга, генерал-адъютанта Софьяно, но портрет Николая Успенского так и не нашел себе места.

Толстые журналы не напечатали о его смерти ни слова. Вся беда была в том, что он умер ничей, равно чужой и для правого и для левого лагеря. Левые считали его ренегатом, а для правых он все же был „нигилист шестидесятых годов", автор антидворянских рассказов, соратник Чернышевского, Некрасова. Один только князь Мещерский, для того чтобы ущемить „прогрессистов", причислил его в „Гражданине" к с в о и м — и тем окончательно запятнал его память:

„Умерший писатель, — говорил князь Мещерский, — принадлежавший, как известно, к консервативному лагерю... не был служителем либеральной музы, не был писателем, изливающим либерально-народнические ламентации, — поэтому он умер нищим, голодным и холодным в стране, где существует Литературный фонд, в громадном городе, где издается несколько газет и журналов. Двери последних были закрыты для покойного. Еще бы! Он не принадлежал к той либеральной клике, которая не прочь проводить до кладбища гроб человека, ею же уморенного голодом".[2]

Рассвирепевшая „либеральная клика" так и накинулась на князя Мещерского. „Если Николай Успенский действительно ваш, почему же вы дали ему умереть на панели?" — запальчиво спрашивала одна из провинциальных

[1] „Новости", 1889, № 302.
[2] „Гражданин", 1889, № 300 от 29 октября.

газет.[1] А другая напечатала письмо председателя Литературного фонда, который в ответ на инсинуацию Мещерского доводил до всеобщего сведения, что Успенский в течение двадцати пяти лет получал из Литературного фонда... около сорока рублей в год.[2] После этого третья газета, уже совершенно забыв о покойном, выступила и против Мещерского и против Литературного фонда, обвиняя обоих в скаредности.

А четвертая газета, „Неделя", придравшись к этой полемике, напечатала целый ряд диссертаций о проживающих в нищете литераторах и о той благодетельной помощи, которую они получают от великодушного Литературного фонда.[3]

В пылу этой газетной перепалки „известный всему миру писатель" был окончательно и бесповоротно забыт. Вскоре для него начался новый бойкот, еще более суровый, чем прежде.

Обычно, когда умирает писатель, да еще такой потрясающей смертью, в широких читательских массах повышается интерес к его творчеству. Здесь не случилось и этого. Правда, одна из малозаметных газет заикнулась было, что недурно бы Литературному фонду издать собрание его сочинений, под редакцией Глеба Успенского, но это предложение сейчас же заглохло, и книги покойного остались под спудом: в течение сорока с чем-то лет для них не нашлось издателя.

И лишь теперь мы получили возможность вернуть литературе этого большого писателя, одного из первых разночинцев, грудью пробившего дорогу антидворянским беллетристам-народникам, ибо, каковы бы ни были его позднейшие падения и немощи, об этой великой заслуге наша литература забывать не должна.

---

[1] „Волжский вестник", 1889, № 272.
[2] „Новости", 1889, № 308.
[3] „Неделя", 1889, №№ 45, 46 и 47.

НИКОЛАЙ УСПЕНСКИЙ И НЕКРАСОВ

1

„Воспоминания“ Николая Успенского появились в печати в конце восьмидесятых годов. С тех пор уже давно установлено, что это самая лживая книга во всей нашей мемуарной словесности. Ее лживость так демонстративна, что ни один из сколько-нибудь серьезных исследователей не удостоивал ее опровержением. Глеб Успенский тогда же отозвался о ней:

„Человек прожил 52 года и помнит, считает нужным помнить одни только гадости и всегда сочиняет их, врет“.

И этот приговор — окончательный. Те документы, которые впоследствии мы отыскали в архивах, вполне подтвердили его. Да и кто же станет требовать достоверности от таких мемуаров, которые печатались в трактирно-юдофобском листке, — специально для черносотенных надобностей? От них требовалось нечто иное: чтобы они какой угодно ценой посрамили писателей левого лагеря — Слепцова, Некрасова, Глеба Успенского и заодно, конечно, Льва Толстого, который как раз в это время ополчился на православную церковь. Они эту функцию выполнили, чем, конечно, весьма угодили победоносцевской партии: когда впоследствии князь Мещерский заявил в „Гражданине“, что Николай Успенский „принадлежал к консервативному лагерю“ и был во вражде с „либеральною кликою“, он имел в виду главным образом именно эти мемуары Николая Успенского — и раньше всего о Некрасове.[1]

В это время Николаю Успенскому уже нечего было терять. Его черносотенный друг, стихотворец с Никольского рынка, пропойца Кондратьев, говорил ему: „жарь

[1] „Гражданин“, 1889, № 300.

этих господ хорошенько!" — он и жарил их изо всех своих сил, и был бы, пожалуй, весьма удивлен, если бы нашелся чудак, который стал бы не шутя опровергать его откровенную ложь.

И все же теперь мне приходится волей-неволей приниматься за эту работу, так как на-днях в Ленинграде произошел загадочный случай: в седьмом выпуске „Известий Академии наук СССР" [1] появилась статья, где предпринята немаловажная попытка подвести под эти мемуары солидную научную базу, дабы придать академическую достоверность тем вымыслам Николая Успенского о кровопийстве Некрасова, которые уже давно опровергнуты фактами.

Увидев эту статью, я, было, подумал вначале, что в архивах Академии наук отыскались какие-то неизвестные нам материалы, которые осветили по-новому взаимоотношения обоих писателей, но вскоре, к моему удивлению, выяснилось, что все исследование зиждется исключительно на старых цитатах из давно напечатанных мемуаров и писем, нисколько не связанных с интересующим нас эпизодом. Во всех этих цитатах ругают Некрасова. Ругательств собрано много: „жулик", „вор", „подлец", „сукин сын". Из этих ругательств для ученого автора каким-то образом следует, будто Некрасов совершил преступления, инкриминируемые ему Николаем Успенским.

При том авторитете, которым по всей справедливости пользуется у нас Академия наук, эта апология мемуаров Николая Успенского, провозглашенная в научном академическом органе, понуждает меня отнестись к ним с максимальной серьезностью, которой сами по себе они не заслуживают, и опровергнуть при помощи фактических данных содержащиеся в них измышления.

Измышление первое, к которому „Известия Академии наук" относятся с необъяснимым доверием, изложено у Николая Успенского так:

Встретились, будто бы, однажды в Париже Некрасов с Тургеневым, и Тургенев, будто бы, спросил у Некрасова:

---

[1] VII серия, Отделение общественных наук, 1932, № 7.

— Вы из Парижа куда думаете? В Питер?
— Нет, заверну в Лондон, — ответил Некрасов.
— А скоро туда отправитесь?
— Да хотел бы завтра.
— Ну вот и прекрасно! пожалуйста, передайте моему приятелю 18 000 франков, а мне необходимо на-днях быть во Флоренции.

Некрасов, по словам Николая Успенского, присвоил эти деньги и, вместо Лондона, укатил в Петербург, где тотчас пустил их в аферы.

Может быть, мы и поверили бы этой легенде, если бы до нас не дошла подлинная переписка поэта с Тургеневым, из которой явствует следующее:

1. Тургенев не мог давать никаких поручений Некрасову в Лондон, так как сам находился тогда в Лондоне.
2. Не Тургенев посылал с Некрасовым деньги в Лондон, а Некрасов посылал деньги в Лондон Тургеневу.
3. Не Тургенев при этой оказии давал какие бы то ни было поручения Некрасову, а Некрасов давал поручения Тургеневу.
4. Не Тургенев уехал из Парижа во Флоренцию, а Некрасов приехал из Флоренции в Париж.

Словом, вся ситуация была прямо противоположна той, какую изображает Николай Успенский в своих мемуарах.

„Известиям Академии наук" не трудно было установить эти факты, так как Тургенев и Некрасов одновременно жили в Париже только один единственный раз: весною 57 года. В мае этого года Тургенев уехал в Лондон, а Некрасов остался в Париже и вскоре послал Тургеневу тысячу сто франков, чтобы тот накупил ему в Лондоне разных английских вещей. Все это видно из тогдашних писем Некрасова, напечатанных в пятом томе гизовского собрания его сочинений (стр. 295, 296, 297 и след.).[1]

Второе измышление Николая Успенского заключается в том, что Некрасов похитил у него, будто бы, несколько тысяч рублей.

„Известия Академии наук" поддерживают эту легендарную версию, между тем в рукописном отделении ИРЛИ

[1] См. также В. Евгеньев-Максимов, Некрасов и его современники, М. 1930, стр. 162.

хранятся подлинные приходо-расходные книги некрасовского „Современника“ (шифр 4863), и в этих книгах записано, что на 1 января 1861 года Николай Успенский был должен журналу Некрасова 1546 рублей, а на 1 января 1863 года — 2851 рубль, которых он так и не отдал Некрасову.

Выставляя кредитора должником, а должника — кредитором, Николай Успенский, конечно, был неспособен предвидеть, что в том же рукописном отделении ИРЛИ при Академии наук сохранится его подлинное письмо к Ипполиту Панаеву (от 9 июня 1861 года), где его собственною рукою написано:

„Живо проникнутый сознанием своих долгов [„Современнику“], спешу их счистить с моей души, а для этого твердо решился ехать скорей в Россию и работать, поселившись где-нибудь в деревне. Прошу Вас выслать мне на дорогу денег... Передайте Некрасову мою искренюю благодарность за его доброе ко мне расположение, я прошу у него извинения, если я не так воспользовался его благородным предложением, что я растратил денег более, чем нужно, — то есть тратил их не по условию. Меня подкрепляет надежда, что я вскоре расквитаюсь... Пора, пора приступить к расплате, неправда ли?..“

Вот каковы были на самом-то деле отношения между кровопийцей Некрасовым и его беззащитною жертвою, — и нам приходится горько скорбеть, что сотрудники „Известий Академии наук“ не осведомлены о тех материалах, которые хранятся в самой же Академии наук.

2

Кровопийство Некрасова состояло исключительно в том, что, ценя талант Николая Успенского, желая, чтобы этот талант приобрел, так сказать, европейский закал, он дал молодому писателю денег, дабы тот побродил по Европе, пожил в Италии, в Швейцарии, во Франции и, расширив свои горизонты, мог выбиться из узкого и мелкого литературного жанра, которым был порабощен до сих пор.

Конечно, в этом случае он больше всего хлопотал о своем „Современнике“, но ведь он был не филантроп,

а редактор. И все же, когда в кассе „Современника“ не было денег, он субсидировал Николая Успенского из своих собственных средств. Об этом свидетельствует запись в бухгалтерской книге журнала от 6 октября 1861 года: „Пересылка письма от Некрасова с деньгами — 1 рубль 13 копеек“. То есть касса журнала оплатила лишь стоимость почтовой пересылки, а то, что она посылала, было выдано из средств Некрасова.

Чтобы у читателей не осталось сомнений, что бухгалтерские записи Ипполита Панаева вполне соответствуют фактам, я процитирую еще несколько писем Николая Успенского, находящихся в том же архиве ИРЛИ.

Из Рима в марте 1861 года Николай Успенский писал Ипполиту Панаеву:

„Семистофранковый вексель, присланный вами, я получил“.

Из Флоренции в апреле:

„Шестьсот франков я получил“.

Из Женевы в мае:

„Шестьсот франков я получил“.

Из Парижа в июне:

„Потрудитесь выслать мне не менее 350 рублей серебром. Пришлите в Париж 1100 франков. Семьсот франков я получил“.

Из Парижа в июле:

„Вышлите вместо 1100 франков — 1200 франков“.

Каждое это письмо является, так сказать, собственноручной распиской Николая Успенского в получении от Некрасова денег, и все они в совокупности свидетельствуют о педантической точности бухгалтерских записей Ипполита Панаева, пунктуально вносившего в свои приходо-расходные книги те самые даты и цифры, которые указаны в письмах. Ни одного расхождения между письмами и книгами нет. Так что напрасно почтенный ученый пытается, при помощи каких-то невнятных намеков, дискредитировать этот надежный источник для бытовой истории „Современника“, неоднократно проверенный фалангой исследователей в течение последних пятнадцати лет. Записи этих книг в данном случае вполне подтверждаются письмами Николая Успенского.

Подо что же „Современник“ выдавал Николаю Успенскому такие большие авансы, которые позволяли ему в течение 8 месяцев праздным туристом проживать за границей, переезжая по прихоти из Рима во Флоренцию, из Флоренции в Неаполь, из Неаполя в Париж, из Парижа в Гавр, в Женеву, в Диепп, „тратя денег более, чем нужно“?

„Известия Академии наук“, в полном согласии с Николаем Успенским, находятся в той уверенности, что эти авансы были ему выдаваемы за книжку его первых рассказов. В этом — третье измышление Николая Успенского, так как теперь из его собственных писем мы видим, что издание книжки было здесь ни при чем. В письме от 9 июня 1861 года он прямо говорит, что намерен „счистить с души свои долги „Современнику“ — отнюдь не книжкой своих старых рассказов, а какой-то новой работой, ради которой он и собирается возможно скорее покинуть Париж и, вернувшись в Россию, надолго поселиться в деревне.

„Может быть я в деревне проживу год целый!“ — писал он Ипполиту Панаеву в более позднем письме.

Каковы были в то время его литературные замыслы, видно из его письма к Константину Случевскому:

„Вы не знаете, какой у меня план для романа! Фу! Где вам знать! Какой-нибудь Дюма написал бы тридцать частей (томов) на этот сюжет“.

Вот, значит, какую работу для „Современника“ имел он в виду, когда писал 9 июня:

„Пора, пора приступить к расплате, не правда ли?..“

„Меня подкрепляет надежда, что я вскоре расквитаюсь“ и прочее.

Это — пункт чрезвычайной важности, так как благодаря ему, мы можем раз навсегда зачеркнуть в мемуарах Николая Успенского все, что он пишет о причинах своей размолвки с Некрасовым. Причина была, как мы видим, иная.

Вообще, говоря об издании своей книжки Некрасовым в 1861 году, Николай Успенский как будто нарочно принимает все меры, чтобы даже нечаянно, даже случайно не сказать ни одного правдивого слова.

Все цифры, которые он сообщает по этому поводу, рассыпаются в пыль при первом соприкосновении с фактами.

Цена каждой его книжки была 75 копеек, а он говорит, что рубль. Эта мелкая поправка к его мемуарам сбрасывает полторы тысячи рублей с того счета, который он предъявляет Некрасову.

Он утверждает, будто получил от Некрасова на всю свою поездку за границу не больше одной тысячи рублей, но при этом умалчивает, что еще до поездки он успел задолжать поэту около полуторы тысячи рублей, да и после поездки еще несколько месяцев продолжал получать от него какие-то деньги.[1]

Даже продолжительность своего пребывания в Европе он указывает в „Воспоминаниях" неверно. Он утверждает, что пробыл там около двенадцати месяцев, а на самом деле всего только восемь.

Далее он сообщает, что будто Некрасов, издав его книгу, извлек из нее огромный барыш, ибо напечатал ее тайком от него в количестве шести тысяч экземпляров. Но и это, конечно, миф, такой же как и все остальные, потому что по тем временам шесть тысяч экземпляров — баснословный тираж. С таким же правом можно написать: шестьдесят тысяч или шестьсот шестьдесят. Норма для подобных изданий была тогда тысяча двести. Самое большее: две с половиною тысячи.

Впрочем, если даже допустить на минуту, что Некрасов напечатал „Рассказы" Николая Успенского таким невероятным тиражем, то и тогда он не вернул бы всех денег, выданных этому автору. Ибо за вычетом книгопродавческой скидки (900 рублей), за вычетом расходов на бумагу, печать, брошюровку (1500 рублей) никоим образом не могла бы очиститься сумма, покрывающая всю задолженность Николая Успенского.

А между тем „Известия Академии наук" считают этот шеститысячный тираж главною уликою против Некрасова.

---

[1] См. приходо-расходную книгу „Современника" за 1862 г., стр. 149, а также письмо Некрасова к Ипполиту Панаеву от 13 ноября 1861 г.

3

Теперь мы вполне понимаем, почему исследователь так упорно игнорирует те документы, которые хранятся в Академии наук. Истрепанные цитаты из старых брошюр для него гораздо сподручнее.

Впрочем, и с цитатами бывают конфузы. Он, например, неоднократно ссылается на пресловутую антинекрасовскую брошюру Жуковского и Антоновича, вышедшую в 1869 году. Между тем читателям отлично известно, что сами авторы впоследствии отреклись от нее и признали, что она основана на ошибочных данных. „Мы ошиблись, мы были неправы", — заявил Антонович о себе и Жуковском в своей позднейшей статье о Некрасове.

Напрасно также почтенный ученый, доказывая, что Некрасов был „жулик" и „вор" оперирует цитатами из Писемского, Лескова, Кавелина, Тургенева, Анненкова. Надеюсь, и ему небезызвестно, что все это политические враги „Современника", для которых ненависть к Некрасову являлась одним из обязательных пунктов их партийной программы. Или он предпочитает не знать, что Писемский — Никита Безрылов, автор „Взбаламученного моря", что Лесков — автор „Некуда", для которого шестидесятые годы — торжество разврата, невежества и польских интриг, что Тургенев — главный организатор той травли против личности и поэзии Некрасова, которая велась тогда в реакционных кругах, что Анненков — подголосок Тургенева? Классовая подоплека их неприязни к поэту до такой степени очевидна для всех, что опираться на них, как на достоверных свидетелей, можно только при полном пренебрежении к науке.

Этим пренебрежением автор даже как будто кичится. Всякие разговоры о каких бы то ни было социальных основах того или иного литературного факта кажутся ему пустопорожними бреднями.

Вы, например, думаете, будто Тургенев порвал с „Современником" из-за того, что этот дворянский журнал превратился в шестидесятых годах в орган революционно-демократических масс? Ошибаетесь. Ученому отлично известно, что этот разрыв произошел из-за денежных счетов. Платили бы Тургеневу аккуратнее, и он остался бы

в союзе с Чернышевским и, пожалуй, напечатал бы „Отцов и детей“ рядом с романом „Что делать“.

Вы думаете, что те враждебные чувства, которые питал к Николаю Успенскому народнический вождь Михайловский, находятся в причинной зависимости от тогдашней эволюции народничества? Ошибаетесь. Просто в каком-то петербургском трактире Николай Успенский назвал Михайловского скверной букашкой, а Михайловский сидел за столом и все слышал и, конечно, воспылал к нему неугасимою местью.

Никто, конечно, не мешает почтенному автору апеллировать к личным дрязгам для истолкования социальных явлений, но я никогда не пойму, почему эти личные дрязги должны печататься в органе „Отделения общественных наук Академии наук СССР“. Точно так же не могу я понять, почему главное положение моей статьи о Николае Успенском, что этот писатель с начала семидесятых годов находился под общественным бойкотом, вызывает такой суровый отпор со стороны ученого органа. В статье я, между прочим, указываю, что читательские массы той эпохи изгнали Николая Успенского из своих лучших журналов и предали его имя забвению. „При чем же здесь читатели?“ — удивляется мой оппонент и приводит целый ряд доказательств, что все дело совсем не в читателях, а в интриганстве „капиталиста“ Некрасова, который, решив затравить ненавистного ему „пролетария“ Николая Успенского, воспользовался капиталистической властью своего „Современника“.

Очевидно, ему представляется, что Некрасову удалось подкупить и Петра Ткачева, и Утина, и Скабичевского, и Салтыкова-Щедрина, и Михневича, чтобы они в самых разнообразных изданиях хором поносили Николая Успенского, и что наряду с этим он выдал немалую сумму газетным и журнальным рецензентам семидесятых годов, чтобы те встречали гробовым молчанием каждую новую повесть Николая Успенского — и „Старое по старому“, и „Егорку Пастуха“, и „Федора Петровича“, и „Сашу“.

Если Николая Успенского в конце концов перестали печатать „Отечественные записки“ и „Вестник Европы“,— в этом тоже, по убеждению нашего автора, самодержавная воля одного человека. И если на погребение Нико-

лая Успенского не пришел ни один писатель, если ни один толстый журнал не напечатал его некролога, здесь тоже, очевидно, сказались злодейские козни Некрасова, хотя этот журнальный вампир давно уже в ту пору находился в могиле.

4

Кто же он такой, этот автор, и почему его статью напечатало Отделение общественных наук Академии наук СССР?

Оказывается, он — племянник Николая Успенского, выступивший на защиту своего оскорбленного дяди.

Все это, конечно, весьма утешительно. Родственники Николая Успенского сорок лет скрывали от нас его письма, его портреты, его реликвии, его биографию — и вообще обнаружили столько постыдного равнодушия к памяти этого большого писателя, что мы рады приветствовать их желание высказаться. Но, конечно, нам нужны от них не подтасованные цитаты из старых брошюр,—а неизвестные нам документы, относящиеся к его жизни и творчеству. Мы ждем от них его писем, его дневников, его рукописей и достоверных воспоминаний о нем.

Они же, очевидно, полагают, что родственные связи с Николаем Успенским дают им право выступать на страницах „Известий Академии наук" в качестве заправских ученых и авторитетно высказывать свои научные домыслы по поводу всевозможных научных явлений. В этом они заблуждаются. Нам нужны не их идеи, но их материалы. А с их идеями о Николае Успенском мы уже знакомы давно. Вот что писал этот самый племянник тотчас после того, как Николай Успенский зарезался. Письмо это опубликовано в „Историческом вестнике" на 504-й странице 11-й книжки 1905 года.

„В этот же день, как я узнал о его смерти, я пошел в церковь и отслужил панихиду по иерее Василии и боляpине Николае. Иерея Василия я сюда приплел в той мысли, что Николай Васильевич только к нему, кажется, чувствовал хотя искорку любви, а то ко всем питал недружелюбное чувство. Это был „человеконенавидец"... „Болярина" я прибавил к его имени на том основании,

что в душе своей он был барин и ломал себя, опускаясь в демократический низ, облекаясь в рубище оборванца. Кроме того, он все-таки числился и был учителем кадетских корпусов... Николай Васильевич издал свои воспоминания и продал собрание своих сочинений, так что выйдет скоро посмертное издание. Вот так делец! Постарался свести счеты с жизнью до точности и так как в конце концов, оказался нуль, то... Николая Васильевича мне, право, не жаль: ведь это буквально сумасшедший человек, страдавший, да и страдавший ли? — за пьянство своих предков"...

Письмо потрясающее, и, читая его, я впервые постиг, что разумел Глеб Успенский, говоря о растленной семье, в которой вырос и жил его брат.

Но до сих пор мне было неизвестно, кто автор этого растленного письма.

Теперь автор, наконец, отыскался — в „Известиях Академии наук".

Теперь, через 40 лет, в качестве нежного родственника он выступает пламенным защитником Николая Успенского от меня и от моих статей. Вся моя вина перед этим писателем заключается в том, что я в течение нескольких лет изучал и собирал материалы о нем, напечатал о нем несколько статей (в „Новом мире", „Звезде" и т. д.), исследовал тексты его повестей и рассказов, подготовил (для издательства „Academia") собрание его сочинений и составил его биографию без всякого замазывания его грехов и падений, но с глубоким уважением к его смелому, своеобразному большому таланту, сыгравшему незабвенную роль в начале шестидесятых годов. Все это я делал без помощи каких бы то ни было родственников Николая Успенского, потому что его родственники либо отмалчивались, либо ругали его. Теперь, когда вся эта работа проделана, когда, как гиперболически выражается мой оппонент, Николай Успенский „воскрешен и реабилитирован" мною, его родственники становятся в благородную позу и начинают его защищать... от меня! Теперь Николай Успенский для них не „болярин", но чистейшей воды „пролетарий", жертва „капиталиста" Некрасова, теперь его произведения не нуль, а напротив, довольно изрядная цифра. Теперь они готовы защищать

даже те произведения покойного, которые написаны им в пору его ренегатства.

В „Известиях Академии наук“ его племянник печатает, что я не знаю того-то, не понимаю того-то, извращаю такие-то и такие-то факты. Ни на одно из его возражений, я, конечно, отвечать не стану. Но в одном месте он вполне одобряет меня и совершенно соглашается со мною. Вот от этого-то места я и хотел бы отмежеваться возможно скорее. Приведя цитату из моей первой статьи о Николае Успенском, будто тот до конца своих дней оставался верен заветам шестидесятых годов, он, со своей стороны, подтверждает, что так оно и было в действительности. А между тем это была моя ошибка. Некоторые материалы были мне тогда недоступны. Теперь, изучив тот журнал, где печатались „Воспоминания“ Николая Успенского, исследовав его отношения к „Русскому вестнику“, „Московскому листку“, „Гражданину“, познакомившись с его предсмертными письмами, я увидел, что этот бывший сотрудник Чернышевского, Добролюбова, Некрасова в последние три года своей жизни изменил так называемым заветам шестидесятых годов и был вовлечен обстоятельствами в реакционную победоносцевскую прессу. Скрывать этого не надо, это надо изучить и понять.

ВАСИЛИЙ СЛЕПЦОВ

1

Обстановка, в которой жил Василий Алексеевич Слепцов, всегда отличалась необыкновенным изяществом. Об этом в один голос твердят все знавшие его современники.

„Я, — вспоминает Водовозова, — принялась разглядывать его комнату, убранную с большим вкусом. Все письменные принадлежности были чрезвычайно изящны: чернильница, пресс-папье, портфель, подсвечники, всевозможные ножички, ваза с красивым букетом; столики и этажерки были уставлены красивыми безделушками и портретами в рамках".

— Уверяю вас, мне это необходимо, — говорил ей Слепцов.[1]

„Случалось, — вспоминает Скабичевский, — что, идя мимо Милютиных лавок, он увлекался каким-нибудь необыкновенным яблочком и покупал его не для того, чтобы тотчас же съесть, а положить на письменный стол и любоваться его красотою".

Обыкновенно такие вкусы и привычки свойственны богатым эстетам, которые платят немалые деньги за свою изящную жизнь. Слепцов, до конца дней не выходивший из тяжелого безденежья, все свои пресс-папье и портфели выделывал сам, так как руки у него были очень талантливые и с удивительной легкостью изготовляли всевозможные изящные вещи. „Он мог сделать все, что угодно,— сообщает Авдотья Панаева, — и так хорошо, точно несколько лет обучался этому мастерству". До сих пор сохранилась нарядная, обшитая шелком, коробочка, которую

[1] Е. Водовозова, Василий Алексеевич Слепцов, „Голос минувшего", 1915, 12, стр. 107—120

он смастерил для одного из друзей. По словам Панаевой, он с таким искусством обшил новой тесьмой свой старый пиджак, что один портной, восхищенный его дарованием, стал приглашать его к себе в подмастерья.[1]

Когда, вышибленный из литературы, он был вынужден искать себе в провинции места, он написал своей приятельнице Вере Ворониной, чтобы она нашла ему работу в Тамбове по любой специальности: „Вы можете припомнить хоть некоторые из моих многосторонних способностей и разнообразных занятий: слесарь, столяр, портной, механик, лепщик, рисовальщик, резчик, маляр“ (1866).

В другом письме к ней же читаем: „По случаю обносившейся обуви я принялся чинить сапоги, и очень успешно с помощью старых дамских башмаков реставрировал свои ботинки“ (1867).

По свидетельству Топорова „изготовляемые В. А. [Слепцовым] ботинки имели весьма элегантную внешность“.

Таким образом безденежье нисколько не мешало Слепцову культивировать изящные вкусы. „До чего ни дотрагивалась его художественная рука, — говорит Скабичевский, — всему он умел придавать изящный вид и был в высшей степени способен при случае украсить комнату такими пустяками, вроде каких-либо еловых шишек“.[2]

Конечно, в среде „нигилистов“ шестидесятых годов, где самое слово эстетика считалось ругательным, а щегольская одежда — безнравственностью, эти вкусы Слепцова не вызывали сочувствия. Многим он казался слишком холеным. Даже его красота отталкивала от него на первых порах этих суровых людей. А красота была действительно редкостная: бледное, спокойное лицо классически-правильных линий, ровные, поразительно белые зубы, черная густая борода. Петр Быков вспоминает, что, когда во время пребывания в Москве Слепцов явился однажды в судебную камеру послушать какое-то дело, отовсюду сбежались дамы, чтобы полюбоваться его красотой.

Его тяготение к изяществу сказалось не только в его ботинках, абажурах и рамочках, но почти во всех его

---

[1] Авдотья Панаева, Воспоминания, М.—Л. 1933, стр. 538.

[2] А. М. Скабичевский, Литературные воспоминания, М.—Л. 1928, стр. 231.

писаниях, которые по стройности своей композиции, по тонкой обработке деталей стоят особняком в беллетристике шестидесятых годов.

Такие очерки, как „Спевка", „Питомка", „Ночлег", обточены у него словно на токарном станке. Соразмерность частей, отсутствие всяких композиционно-ненужных подробностей, предельная лаконичность образов, исполненное тонкого вкуса воспроизведение простонародного говора — все это делает слепцовские очерки наиболее изящными из всех „коротких рассказов" предчеховского периода. Изящество было до такой степени присуще Слепцову, что сказывалось у него в самых беглых и небрежных писаниях. Например, свою „Владимирку и Клязьму" он писал буквально находу, во время пешего хождения из Москвы во Владимир, а между тем, несмотря на кажущуюся свою хаотичность, это одно из самых стройных произведений шестидесятых годов, всюду сохраняющее внутреннюю свою доминанту.

Скупо, редко, словно поневоле, но все же неизменно и настойчиво он выражал в своих очерках эстетические любования и влечения:

„По всему озеру разлился тот великолепно фиолетовый цвет, который можно видеть только на взморье", — говорит он, например, в одном из своих „Писем об Осташкове", и эту художническую фразу о красоте колорита нельзя представить себе ни у какого другого писателя шестидесятых годов.

„У этого человека бездна вкуса", — говорит он там же с большой похвалой про некоего иконостасного мастера и любуется его иконостасами, „необыкновенно художественными".

Как для всякой эстетической натуры, находиться в неизящной обстановке было для него невыносимо. Изображая осташковскую церковь, он говорит в тех же письмах:

„Все это очень грубо, аляповато и без всякого вкуса... Иконостас в одном стиле, а стенная резьба в другом... Вообще заметно желание налепить как можно больше всяких украшений, не разбирая, идет одно к другому или нет. Живопись тоже плохая".

Подобные эстетские суждения были совершенно несвойственны Решетникову, Помяловскому, Николаю Успен-

скому. У них как будто и органа не было для таких чисто-вкусовых восприятий.

Столь же ярко художническая натура Слепцова выразилась в том осташковском письме о театре, где он, слегка иронизируя, описывает свое сближение с тамошней труппой:

„Все мы прониклись одним бескорыстным чувством — страстью к искусству. Всех в этот вечер занимало одно желание — заниматься искусством". [1]

Вообще он резко выделяется из очень однородной группы своих литературных собратьев. В то время как их биографии в общих чертах очень схожи, его жизнь совершенно особенная и заключает в себе много такого, что было несвойственно этой плеяде. Его отец был не дьячок, а полковник, столбовой дворянин. Его мать была родом шляхтянка, очень гордившаяся своими именитыми предками. Его деды были генералы, его бабка была баронесса. В то самое время, когда Помяловского, Николая Успенского, Воронова нещадно драли их учителя, его никто и пальцем не тронул, когда он учился в привилегированной московской гимназии.

Тем замечательнее полный отказ от барской идеологии и барской эстетики, который сказался в его жизни и творчестве.

2

Он родился в Воронеже в 1836 г. и рос в старинном дворянском гнезде, в Саратовской губернии. На пятнадцатом году поступил в Пензенский дворянский институт, где вначале зарекомендовал себя примерным воспитанником, но вдруг его как бы прорвало, и он совершил такой дерзкий поступок, который обнаружил перед всеми, что он в своей среде — отщепенец.

Во время обедни, в переполненной институтской церкви, когда пели „Верую во единого бога", он внезапно взошел на амвон и сказал:

— А я не верую!

И можно себе представить, как были ошеломлены

[1] В. А. Слепцов, Сочинения, М.—Л. 1932, т. I, стр. 304, 341, 350, 471.

таким кощунством священник, директор института, педагоги, студенты, молящиеся.

Преступника схватили, увели, наказали и, в виде особой милости, исключили из института, не предавая суду.

Его мать была в отчаянии: так безумно погубить свою карьеру! Вообще с той поры для нее начались огорчения. Этот случай ясно показал, какие пылкие страсти кипят в ее изящном, благовоспитанном сыне, и как он героически-смел, когда дело доходит до его убеждений. Его допрашивали, зачем он кричал на амвоне о своем неверии в бога, он очень учтиво объяснил, что ему хотелось проверить на опыте, существует ли бог, и что он считает свой опыт удавшимся, так как бог непременно убил бы его, если бы существовал в самом деле. К сожалению, мы не располагаем сведениями о тех ранних влияниях, которые способствовали его отрыву от дворянской среды.

Из института его исключили в 1853 году, во время русско-турецкой войны. Родные захотели определить его в действующую армию. Поначалу он как будто и сам был непрочь, но вскоре изменил свое намерение и поступил на медицинский факультет, наиболее ценимый тогдашней недворянской молодежью.

Через год он охладел к медицине, страстно увлекся театром и, опять-таки к великому огорчению матери, поступил на сцену в Ярославский театр в качестве первого комика, но почему-то не прослужил и сезона, бросил сцену, вернулся в Москву.

Частая перемена профессий и мест — тоже характерная черта его личности. „Он был непостоянен в своих увлечениях и всякий раз менял свои занятия, — вспоминает о нем его брат. — Эта неустойчивость и постоянное искание чего-нибудь нового рельефно выразились в его вечных скитаниях с одного места на другое, от одного занятия к другому". Впрочем, не следует думать, что это было его личной особенностью: такими же непоседами были все его литературные сверстники, разночинцы шестидесятых годов: Левитов, Решетников, оба Успенских.

Сцену Слепцов покинул в 1855 году, вскоре после

смерти Николая I, когда эпоха шестидесятых годов была уже в полном разгаре. Но, очевидно, эта эпоха не сразу захватила его, так как именно в то время он сильно увлекся балетом и вскоре, к новому огорчению матери, женился на кордебалетной танцовщице, с которой, впрочем, не прожил и года, так как она умерла.

Еще через год он женился вторично на дочери одного тверского помещика, но брак был несчастлив, и они разошлись. Мы не знаем, с какого времени он начал усваивать ту идеологию боевых разночинцев, которая впоследствии сказалась в его сочинениях, но в 1860 году мы видим его в „якобинском" салоне графини Салиас де Турнемир.

Он близко сходится с ее сыном Евгением, оппозиционно-настроенным юношей, который через год, как известно, принял участие в московском студенческом „бунте". Товарищи Салиаса были горячие головы (Кельсиев, Покровский, Аргиропуло), и в их кругу двадцатичетырехлетний Слепцов скоро забыл недавние свои увлечения, всецело отдавшись новым идеям и чувствам. Конечно, якобинство московской графини было наносное и фальшивое. Впоследствии, сделавшись писателем, Слепцов показал, как ненавистен ему этот фразистый либерализм дворянской формации. Сам он к тому времени уже безоглядно „ушел в разночинцы". Это не могло не отразиться на первых же его произведениях.

3

Осенью 1860 года он, по поручению Общества любителей российской словесности, отправился пешком в деревенскую глушь собирать народные пословицы, песни и сказки, чтобы потом напечатать их в специальном издании. К этому понуждал его Даль, знаменитый исследователь великорусского живого языка. Но после первых же дорожных впечатлений Слепцов и думать забыл обо всяких песнях и сказках (хотя и сам был знатоком в этой области) и с величайшею страстью принялся изучать экономическое положение крестьян и рабочих.

С зонтиком в руках, весь увешанный мешками и мешочками, чрезвычайно изящными, но, как вскоре оказалось,

ненужными, он в первой же деревне направился прямо к попу, разбудил его и скороговоркой спросил, как живется рабочим на соседних Ивановских фабриках. Тот долго спросонья безмолвствовал, а когда заговорил, то лишь за тем, чтобы выпроводить дикого гостя за дверь.

Гость не обиделся и, вежливо поклонившись священнику, отправился на ближайшую фабрику, где с такой же прелестной учтивостью спросил у ее хозяина, как велика прибавочная стоимость, которую тот выжимает у рабочих. Хозяин фабрики, по примеру священника, немедленно выставил молодого человека за дверь, но молодой человек не обиделся, а пошел к другим фабрикантам и всюду задавал один и тот же вопрос. Ответ, конечно, получался везде одинаковый.

— Ты мне, голубчик, легарий-то этих не читай! — кричала ему, например, одна владелица текстильной фабрики. — Что ты дурочку-то строишь из меня!.. Я и так не умна. Не на такую напал. Мы, голубчик, всяких видали.

Он поклонился ей с преувеличенной вежливостью, взвалил на себя все свои ранцы и зашагал по дороге, размышляя о том, что должно быть деятельность этих почтенных господ не отличается кристальной чистотой, если они предпочитают вести свои дела бесконтрольно и на пушечный выстрел не подпускают посторонних людей к изучению их производственных тайн.

Это был для него как бы первый урок политграмоты.

Пробиваясь пешком от деревни к деревне, он, наконец, дошел до тех мест, где производилась постройка Московско-Нижегородской железной дороги. Здесь он окончательно отказался от собирания песен и сказок и, как въедливый следователь, принялся собирать материалы для обвинительного акта против организаторов и руководителей этой постройки, разоблачая ту систему узаконенных подлостей, при помощи которой они эксплоатируют крестьян и рабочих, и установил очень четко, что дело здесь не в отдельных грабителях, а во всем государственном строе.

Так создались его очерки „Владимирка и Клязьма“, которые он напечатал в 1861 году в малозаметном либеральном журнальчике „Русская речь“, издававшемся той же

графиней Салиас де Турнемир. В них, при всем своем обличительном пафосе, он почти не прибегает к публицистике, а пользуется, главным образом, словесною живописью и, вместо всяких рассуждений, дает артистические зарисовки с натуры. Тон у него почти везде благодушный, и даже веселый, к людям он относится с юмором и виртуозно воспроизводит их забавно-нелепые речи, а между тем в результате у него получилась грозная картина чудовищного разорения, голода, холода, рабства, болезней, насилий, обид, выпавших на долю рабочих. В этих дорожных письмах Слепцов показал себя одним из величайших мастеров того, литературного рода, который в настоящее время называется очерком.

Очевидно этот жанр пришелся ему по душе, так как через год он снова отправился в провинциальную глушь, — на этот раз в город Осташков, который в то время гремел своей несравненной культурностью: банком, библиотекой, театром, женской гимназией, детскими яслями. Не было в то время в уездной России другого столь культурного города. Слепцов поселился в Осташкове, внимательно изучил его быт и пришел к убеждению, что вся культура этого хваленого города есть создание нескольких дельцов, которые прикрывают свою кровососную деятельность дешевой и показной филантропией.

„Письма из Осташкова“ появились в некрасовском „Современнике“, в нескольких книжках, и были замечены всеми: строгий анализ экономических и социальных явлений сочетался в них с изящною живописью, с простодушным, но очень язвительным юмором.

Беллетристическое дарование Слепцова обнаружилось здесь во всей полноте. Многих, в том числе и Некрасова, очаровало искусство, с которым он воспроизводит оттенки простонародных речей. Когда же около этого времени в петербургских журналах появились его лучшие рассказы: „Спевка“, „Свиньи“, „Питомка“, „Ночлег“, он сразу выдвинулся в первые ряды молодых беллетристов, хотя необходимо отметить, что при всей своей художественной прелести, эти рассказы не отличаются большой самобытностью, так как их техника уже была разработана Горбуновым и Николаем Успенским.

4

1863 год, когда он поселился в Петербурге, был самой кипучей и шумной порой его жизни. Модный писатель, красавец, обаятельный собеседник и вдобавок певец, музыкант, он сделался одной из самых популярных фигур — особенно среди молодежи. Студенты приглашали его к себе на вечера и вечеринки, где он играл на гармонике, пел народные песни, читал свою „Питомку“ и „Спевку“ — в сущности не читал, а разыгрывал в лицах, так как обладал незаурядным театральным талантом.

Времена тогда стояли трудные. Разночинцы первого призыва быстро сходили со сцены: Добролюбов умер, Чернышевский был арестован, Михайлова сослали в Сибирь. Революционному лагерю требовались свежие силы, и когда явился Слепцов, его встретили как одного из представителей „смены“. Он близко сошелся с Некрасовым, Ткачевым, Салтыковым-Щедриным, Елисеевым, — и на первых порах вполне оправдал те надежды, которые возлагали на него эти люди. Он сделался сотрудником обличительной „Искры“ и газеты Елисеева „Очерки“ — единственной радикальный газеты в то время. Вскоре новая страсть захватила его: борьба за так называемое „раскрепощение“ женщин, которое, как мы видели, для него было неотделимо от борьбы за раскрепощение трудящихся. Он читал женщинам научно-популярные лекции, устраивал для них мастерские, где сам же обучал их переплетному делу, создал для них фонд взаимопомощи, в пользу которого постоянно устраивал концерты, литературные вечера и спектакли.

„Женский вопрос“ был в то время вопрос боевой и жгучий. Разночинная молодежь, перестраивавшая тогда на свой лад все формы общественной жизни, выдвинула небывалое множество женщин, экономическое положение которых понуждало их выступить в качестве самостоятельных работниц. Ими был наполнен тогда Петербург, и, конечно, в реакционных кругах к ним отнеслись с ненавистью. Они приехали из дальних захолустий с неопределенным стремлением — „работать, учиться“, но у них не было ни опыта, ни знаний, ни трудовой дисциплины. Охранители старорусских устоев издевались над

их неумелостью, и „новые люди“ были кровно заинтересованы в том, чтобы, приобщив этих женщин к работе, доказать маловерам, что есть немало профессий, где женщина может сравняться с мужчиной.

Слепцов встал во главе всего „женского дела“. Каждый день у него были новые планы: основать бюро приискания работы для женщин, открыть для них контору переписки бумаг, основать артель типографских наборщиц и т. д., и т. д., и т. д. Осенью того же года он под влиянием романа „Что делать“, который только что появился в печати, устроил на Знаменской улице общежитие для кружка молодежи (главным образом женской), вскоре получившее известность под именем слепцовской коммуны. Таких коммун было много в то время, особенно в Москве и в Петербурге.

На первых порах он придавал этой коммуне большое значение и, выполняя завет Чернышевского, намеревался ввести в нее производственный труд, чтобы таким образом мало-помалу превратить ее в нечто вроде социалистического филанстера Фурье.

Но коммуна не удалась, как вообще не могли удасться никакие коммуны в капиталистическом обществе. Ее жильцы принадлежали к различным социальным слоям: наряду с подлинными нигилистами, „бурыми“, там поселились нигилисты поддельные, либерального толка, из зажиточных помещичьих кругов, вследствие чего между ними начались нелады, и к концу сезона коммуна распалась (в 1864 году).

Как водится, во всех ее неудачах обвинили Слепцова — его будто бы аристократические замашки и вкусы, его донжуанские отношения к женщинам. То была клевета его партийных врагов, но и друзьям его сделалось ясно, после этой истории с коммуной, что он мало пригоден для практической деятельности, ибо, горячо отдаваясь всякому новому делу, скоро охладевает к нему и кроме того страшно разбрасывается, берется сразу за десятки дел, изобретает множество проектов и не доводит до конца ни одного.

Другие затеи Слепцова испытали ту же участь, что и коммуна: его женские ассоциации, мастерские, артели не просуществовали и нескольких месяцев. А между тем, эта самоотверженная, хлопотливая деятельность сильно

отвлекала его от литературной работы. Теперь, после краха коммуны, он наконец-то мог приняться за писание давно задуманной повести.

5

Эта повесть называется „Трудное время". В ней он обличает дворян-либералов, показывая, что даже честнейший из них есть на самом деле замаскированный хищник. Он сталкивает типичного нигилиста шестидесятых годов, петербургского писателя Рязанова, с либеральнейшим помещиком Щетининым и, изображая в целом ряде картин хозяйственную деятельность этого доброго барина, посрамляет его на каждой странице.

Даже такие, казалось бы, благодетельные начинания, как деревенская школа и устройство лечебной помощи крестьянам, подвергаются в повести самым жестоким насмешкам, так как максималиста Рязанова не удовлетворишь этой грошовой филантропией: он жаждет революционного взрыва, который приведет к переустройству всей жизни на совершенно иных основаниях, а микроскопические щедроты помещика, по его мнению, отвратительны тем, что затемняют истинную сущность кровавой войны, которая ведется между двумя сторонами.

Так как, по цензурным условиям, Слепцов не мог высказать эту мысль со всею отчетливостью, его максималистский роман был многими понят превратно. Многим почудилось, будто он — мракобес, восстающий против школ для крестьянских детей и врачебной помощи деревенскому люду. Особенно возмущались Слепцовым журналы либерального лагеря. В „Отечественных записках", которые были в ту пору органом дворян-постепеновцев, объявили Щетинина евангельским праведником, а Рязанова — циником, смеющимся над гуманнейшими стремлениями благородного, высоко просвещенного деятеля.

Но радикалы без труда разглядели скрытый смысл повести Слепцова. Писарев увидел в ней апофеоз разночинца, „мыслящего реалиста", представителя „новых людей".[1]

[1] См. о „Трудном времени" статью в настоящей книге.

Вскоре после напечатания „Трудного времени“ случилось большое событие: покушение Каракозова на Александра II (апрель 1866 г.), после чего диктатором России стал Муравьев-Вешатель, усмиритель польского восстания, и начался белый террор. Слепцов был арестован Муравьевым в числе многих других литераторов, участвовавших в радикальных изданиях, причем ему вменялось в вину главным образом основание коммуны. Полиция вообще считала его опасным крамольником. До нас дошел отзыв о нем канцелярии С.-Петербургского обер-полицеймейстера, относящийся к этому времени:

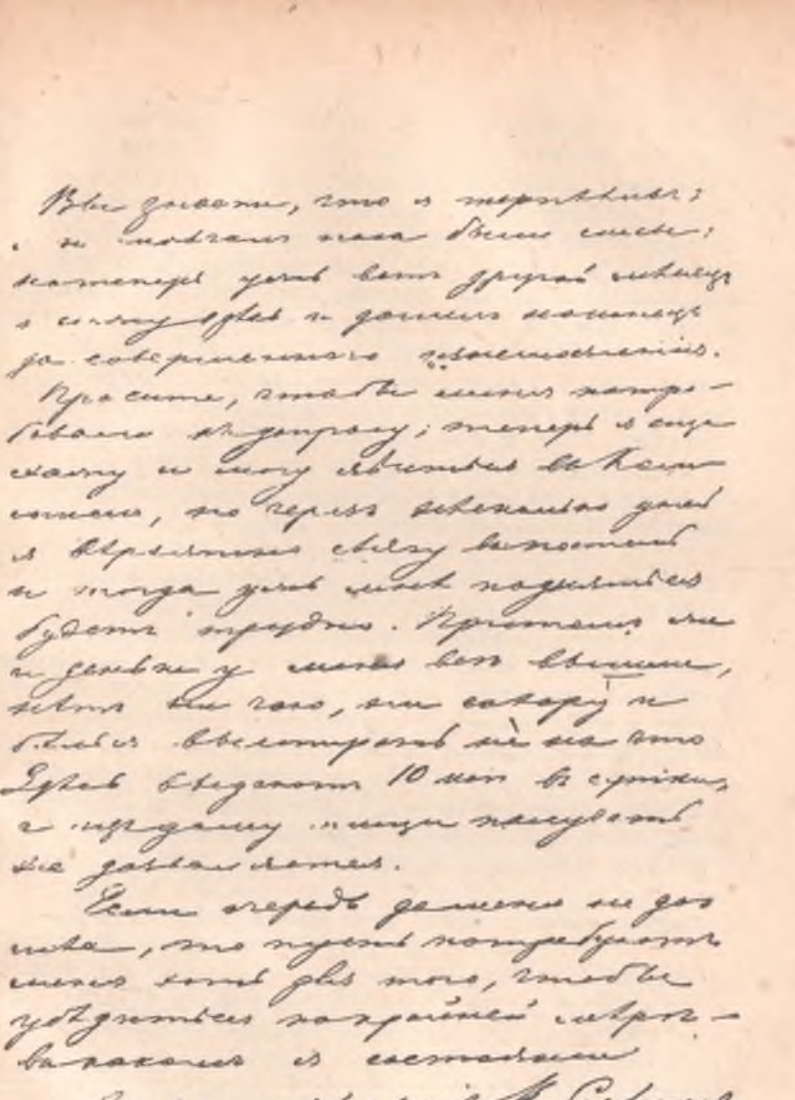
„Крайний социалист. Сочувствует всему антиправительственному. Нигилизм во всех формах“. .

Арестованного продержали семь недель в полицейской части, в заплеванной грязной камере, которая кишела клопами; кормили его скудной и отвратительной пищей, он заболел, исхудал, у него опухли ноги, началось кровохаркание, и, после долгих хлопот его матери, его отдали ей на поруки. „Арест и свел его в преждевременную могилу“, — говорит в своих воспоминаниях его мать.

Выйдя из-под ареста и немного оправившись, Слепцов принял живое участие в организации журнала „Женский вестник“, но через два-три месяца из-за издательских дрязг прекратил связи с журналом и вскоре почти охладел к так называемому женскому вопросу.

Шестидесятые годы кончились, началась новая полоса русской общественной жизни, а в ней Слепцов, как писатель, уже не нашел себе места, народничество семидесятых годов оказалось так же чуждо ему, как и Николаю Успенскому. Даже его дарование поблекло, и те немногие вещи, которые он написал после „Трудного времени“, далеко не так блестящи, как прежние.

Впрочем, он почти отошел от писательства. Некрасов, который очень любил его, предоставил ему место секретаря „Отечественных записок“, и здесь он нашел свою тихую пристань: читал чужие рукописи, вел переговоры с сотрудниками, но сам почти ничего не печатал. Так что все его произведения созданы им в самое короткое время, в какие нибудь три-четыре года, не больше, и то, что написано им после этого времени, носит отпечаток усталости и даже какой-то растерянности.



Письмо Слепцова из тюремной камеры Александро-Невской части (1866)

Правда, замыслы у него были обширные. Отказавшись от легких картинок и сценок, он затеял монументальный роман, в центре которого поставил типическую для новой эпохи фигуру „кающегося дворянина", богатого барина, искупающего всевозможными жертвами свою вековую вину перед народом. Этот роман он писал несколько лет и возлагал на него большие надежды, но написал только первоначальные главы, которые были напечатаны в „Отечественных записках" 1871 года и не имели никакого успеха. Критика называла их вымученными.

На беду вместо диалогов и зарисовок с натуры, которые так удавались ему, он ударился в психологический анализ. В нем появилась новая черта — склонность к резонерству по всякому мелкому поводу, и это особенно сказалось в его очерках „Записки метафизика", которые он изредка печатал в журнале.

Впрочем, вскоре ему пришлось уйти из журнала, потому что он тяжело заболел — язвой большой кишки и уехал на Кавказ лечиться. Болезнь то отпускала его, то возобновлялась опять, он не находил себе места, побывал и в Таганроге, и в Тифлисе, и в Саратове, и в Киеве, и в Пятигорске, и в Виннице, и в Харькове, и в Петербурге, и в Москве, беспрестанно меняя врачей и лекарства.

За ним самозабвенно ухаживала Лидия Филипповна Ломовская, дочь директора Петровско-Разумовской академии, молодая писательница, которой он внушил такое глубокое чувство, что она порвала с семьей и вся отдалась заботам о нем.

Никто не знал, в чем его болезнь, мнения врачей разошлись, предполагали рак.

Все его денежные средства поглотило лечение, он жил в бедности на пособия Литературного фонда и, переехав к матери в Сердобск, скончался 23 марта 1878 года.

Смерть прошла незамеченной, и так как у его близких нехватило денег, чтобы выкупить из ломбарда принадлежавшие ему вещи — и в том числе сундук с его рукописями, его литературное наследие погибло.

ТАЙНОПИСЬ „ТРУДНОГО ВРЕМЕНИ“

— А зачем же так пишут, что нужно еще голову ломать?
— Да что же делать? Привыкли.
— И вы так же пишете?
— И я так же пишу. Какой бы я был писатель, если бы я так и валял все, что в голову придет.
„Трудное время“.

1

У Слепцова в повести „Трудное время“ есть много таких эпизодов, которые кажутся лишними.

Сидит, например, человек на террасе за чаем и вдруг восклицает ни с того ни с сего:

— Скверный какой нынче сургуч стали делать!

А что за сургуч — неизвестно. Тема повести как будто ни в каких сургучах не нуждалась.

А на другой странице уездный учитель, обедая в клубе с помещиками, спрашивает с такой же внезапностью:

— Телеграмму посылать будете?

Какую телеграмму, кому и о чем? И речи не было ни о какой телеграмме.

А на дальнейших страницах, — тоже ни с того ни с сего, — в повести воспроизводится большой разговор о современных методах дрессировки собак! И вдруг героиня, тоже без всякого повода, начинает рассказывать о каком-то портрете какого-то смешного старика, который она видела в детстве:

— Как посмотрю на него, так и засмеюсь.

Какое отношение к сюжету имеет этот смехотворный старик? И что за охота автору загромождать свою повесть ненужностями? Мало ли каких пустяков ни болтают люди от скуки, — особенно летом, на даче, — стоит ли автору, взявшемуся за изображение трудного времени, воспроизводить эти пустяки в своей повести?

Но в том и заключается особенность литературной манеры Слепцова, что он только делает вид, будто подобные мелочи не имеют отношения к его теме. На самом деле все они страшно нужны ему — именно для характеристики того трудного времени, которому посвящена его повесть.

Возьмем хотя бы разговор о сургуче. Легко установить по косвенным указаниям автора, что этот разговор происходил в июле 1863 года, то есть в то самое время, когда правительство Александра II, воспользовавшись польским восстанием, стало принимать энергичные меры для борьбы с угрожавшей ему революцией. В числе этих мер, как мы знаем, был пресловутый черный кабинет, где производилась перлюстрация писем. Конечно, перлюстрация производилась и раньше, но именно в то „трудное время", летом 1863 года, она дошла до небывалых размеров.

В одном из своих неизданных писем, относящихся именно к этой поре, Слепцов предупреждал одну живущую заграницей писательницу:

„Когда будете писать, не называйте, пожалуйста, фамилий, потому что Ваши письма читаются на почте. Люди ни в чем невинные могут пострадать от того, что их имена попадаются в письмах... Да и подпись ваша — вещь совершенно лишняя..."[1]

Это письмо Слепцова помечено июлем 1863 года, то есть именно той самой датой, когда герой его повести, рассматривая чье-то письмо, заговорил о скверном сургуче:

„— Скверный какой нынче сургуч стали делать.

„— А что?

„— Да не держится".

То есть не держится потому, что жандармы, исследуя письма, сдирают сургучные печати с конвертов.

Таким образом, то, что на первых порах представлялось нам случайным пустяком, оказывается в сущности очень важным намеком на тогдашнюю злобу дня. В связи

---

[1] Письмо к украинской писательнице Надежде Александровне Марковичу (Марко Вовчок). Подлинник хранится в рукописном отделении ИРЛИ.

с этим становится ясен для нас и такой, — казалось бы, пустяковый, — разговор двух приятелей, воспроизведенный Слепцовым на одной из первых страниц:

„— Отчего ты не писал мне писем? И не стыдно тебе это? а?

„— Да что толку писать! Нынче эту манеру бросают совсем".

То есть именно в 1863 году люди оппозиционного лагеря были принуждены под давлением террора совершенно прекратить переписку. „Нынче эту манеру бросают совсем".

И такова вся повесть Слепцова. Самая, казалось бы, невинная фраза, случайно подвернувшаяся ему под перо, сплошь и рядом оказывается у него нелегальщиной, которую нечего было и думать печатать в тогдашней России.

Ведь и разговор о телеграмме далеко не так простодушен, как кажется. Именно тогда, в 1863 году, во время польского восстания, в дворянских и чиновничьих кругах установилась трактирная мода посылать после всякой попойки приветственные телеграммы усмирителю Литвы Муравьеву-Вешателю с выражением восторга перед его патриотическим подвигом.

Изображая ту эпоху, Слепцов естественно не мог не отметить этого характернейшего ее проявления. Потому-то, когда в его повести пьяные помещики заговорили за обедом на модную тему, — о поимке бунтовщиков-поджигателей, — тотчас же раздались голоса о верноподданнической телеграмме палачу Муравьеву. Ибо в сознании тогдашних людей оба эти явления были в теснейшей связи. Как мы ниже увидим, даже то обстоятельство, что об этой телеграмме хлопочет уездный учитель, крепко связано с главным тезисом повести.

И тот отрывок, где героиня ни с того ни с сего вспоминает о каком-то смешном старике, тоже далеко не так прост.

„У моей няньки, — говорит героиня, — картинка была, на которой был нарисован старик. Нянька меня, бывало, пугает им, а я ничего не боюсь. Как посмотрю на него, так и засмеюсь".

Несмотря на всю свою легковесную видимость, этот отрывок — один из важнейших, так как в нем изобра-

жается тот разрыв с традиционными религиозными верованиями, который в шестидесятых годах характеризовал раскрепощенную женщину. Нужно только вместо к а р т и н к и поставить и к о н к а и вместо с т а р и к а — г о с п о д ь б о г.

Таких еле уловимых намеков в повести Слепцова немало. Многие ее страницы приходится разгадывать, как ребусы. Так, например, разговор о современной дрессировке собак, который на поверхностный взгляд представляется никчемной болтовней, оказывается, при более внимательном чтении, хорошо зашифрованной притчей о новых методах эксплоатации крестьян. Крепостное право тогда только что пало, но, по мысли Слепцова, одни цепи сменились другими, ибо ограбленные реформой крестьяне оказались в новом — денежном — рабстве у тех же привилегированных классов, так как их стали бить не дубьем, но рублем.

Высказать в то время эту истину было, конечно, немыслимо, и вот у Слепцова в повести люди начинают говорить о собаках:

„— Нынче новая мода пошла: собак не бить...

„— Да это вы про собачье гуманство-то? Знаю. Это все пустяки. Ежели ее не бить, так она, дьявол, и поноски подавать не будет.

„— Будет... Дворняжка простая... знаете, бывают лохматые такие... и пляшет, и поноску подает, и умирает. Что угодно.

„— Как же так это? Расскажите.

„— Самая простая штука: есть не дают. И до тех пор не дают, пока не сделает. Проморят ее голодом, потом возьмут вот так палку, а здесь кусочек положат — с о т ѣ. Вот она глядит, глядит... делать нечего, перепрыгнет, а тут ей и дадут кусочек".

Эта притча о собачьем гуманстве излагает в аллегорической форме основную идею повести. Внутренне она связана со многими эпизодами „Трудного времени", но цензура этой связи не заметила.

Вообще вся повесть зашифрована так виртуозно, что для многих осталась темна даже ее основная тенденция. Конспиративная повесть, полная иносказаний и загадок. Хитрость ее в том, что она кажется совершенно бесхит-

ростной. Иначе Слепцову было никак невозможно, потому что тема у него была нелегальная, и ему приходилось протаскивать ее в печать контрабандой. Главную идею этой повести он спрятал глубоко под спудом, а на поверхность для отвода глаз выдвинул другую идею, вполне безобидную, не имеющую ничего общего с подлинной.

2

Таким образом, в повести два разных сюжета, — один показной, а другой настоящий.

Показной сюжет очень банален. К тому времени повести с такими сюжетами успели уже превратиться в шаблон. Молодой „нигилист", освобождающий женщину из семейного плена, уничтожая в ее душе предрассудки, которые мешают ей сделаться общественной труженицей, стал к тому времени самой затасканной, трафаретной фигурой журнальных повестей и романов.

Один из критиков реакционно-либерального лагеря тогда же указал не без язвительности, что одновременно со слепцовскою повестью в одном только журнале, в „Русском слове", появились одна за другой три точно такие же повести, имеющие точно такой же сюжет. Он обвинял Слепцова в самом тяжком грехе — в тривиальности, и указывал, что во всех четырех повестях один и тот же герой: нигилист из духовного звания. Статья была озаглавлена так: „Четыре повести и один пономарь".[1]

Критик не заметил, что, наряду с этим банальным сюжетом, в повести Слепцова есть другой, — небывалый и новый, придающий ей высокую идейную ценность.

Найти этот сюжет нелегко, так как скрытный писатель на каждой странице сбивает читателя с толку. Скрытность его такова, что многие критики не только не могли уловить его подлинного революционного пафоса, но напротив, заподозрили его в ретроградстве!

Откуда в его повести, — говорили они, — такие нападки на деревенскую школу, на лечебную помощь беднейшим крестьянам вообще на те самоотверженные

[1] „Отечественные записки", 1865, декабрь, статья Incognito (т. е А. Е. Зарина).

заботы о благе народном, которыми волнуются в настоящее время лучшие люди страны? Почему, изображая одного из этих лучших людей, радикального писателя Рязанова, который многими своими чертами вышел у него похож на Чернышевского, почему он заставляет этого лучшего представителя передовой молодежи издеваться над всеми бескорыстными попытками „гуманных и культурных людей" облегчить тяжелую долю забитой бесправной деревни?

И в самом деле, поведение этого идеального героя загадочно. Подходит он, например, к благороднейшей барыне, которая лечит крестьян, и, вместо того чтобы сочувствовать ей, начинает хихикать над ее пациентами.

— Вам это смешно? — удивляется барыня.

— Нет, не смешно, — отвечает он, а сам еще пуще глумится над ними, а заодно и над нею, так что в конце концов она бросает лечить, и крестьяне остаются без помощи.

Другой его поступок еще более странен. Его знакомые захотели вступиться за несчастную беременную бабу, которую колотил ее муж, а он, с самым неуместным ехидством, высмеивает их благородный порыв, и таким образом озверелому мужу предоставляется полная воля бить сапогами беременную.

Если бы все это печаталось в каком-нибудь реакционном романе, у одного из тех твердолобых, которые сделали своим лозунгом „бей нигилистов", — это было бы в порядке вещей. Но в „Современнике", в журнале Некрасова, в органе боевых разночинцев, на тех самых страницах, где только что печаталось „Что делать"!

Либеральные критики называли Рязанова циником: издевается над добрыми и любящими, а сам хоть бы раз попытался активно выступить против какого-нибудь зла. При нем посредник в кровь избивает крестьянина, а он берет фуражку и уходит. При нем наказывают розгами двух мужиков-неплательщиков, а он спокойно созерцает экзекуцию и не пытается протестовать против нее.

Но вот и еще возмутительнее: какой-то либеральный помещик, жестоко объегоренный своими крестьянами, был до такой степени добр, что не захотел на них жаловаться, а Рязанов, к изумлению читателей, издевается

над его добротой и внушает ему, что он должен обратиться к начальству, чтобы крестьян оштрафовали, разорили и посадили в тюрьму:

„Ты думаешь, не взыщут? Нет, брат, теперь уж не те порядки пошли. Все до последней копейки взыщут".

„Это какой-то Держиморда!" — возмущались простоватые критики.

Когда же та самая барыня, которая лечила крестьян, затевает устроить деревенскую школу, он встречает ее затею такой неприязнью, что она охладевает к своей школе, и деревенские дети остаются неграмотными.

Даже либералы-постепеновцы возмущались его постыдным равнодушием к народному благу. Тот же Зарин видел в нем бессердечного циника и писал о нем с полным презрением:

„Его дело стороннее, его практика вольная, его время вакационное, ни к чему-то он тут непричастен, ничему не родня. Ему [Рязанову] все представляется смешным или вызывает его дрянную иронию: и мужик с больною ногою, и побитая мужиком беременная баба... и сельская школа, и мировые съезды, и все остальное... Человек этот до бесконечности равнодушен ко всему, что только может поглощать в настоящую пору всякого не совсем пустого человека".[1]

Почему же в таком случае главная масса передовой интеллигенции шестидесятых годов отнеслась к Рязанову с симпатией? Почему она не только не заявила протеста против той фигуры нигилиста, которую вывел Слепцов, но поспешила признать, что образ Рязанова безошибочно воплощает в себе ее подлинные чувства и мысли? Один из тогдашних органов радикальной молодежи „Книжный вестник" отозвался о Рязанове так:

„Это не карикатура на молодежь, вроде Базарова, сделанная со злостной целью скомпрометировать все лучшие стремления последних годов... Рязанов... верно воспроизводит тип людей, создавшихся под влиянием последних событий".[2]

---

[1] „Отечественные записки", 1865, декабрь, статья Incognito (т. е. А. Е. Зарина).

[2] „Книжный вестник", 1866, 5.

Не странно ли, что та наиболее требовательная часть передовой молодежи, которая Базарова считала клеветою на „новых людей“, вполне примирилась с „паразитом“ Рязановым, выдвигаемым в качестве ее представителя?

И почему Дмитрий Писарев, глава мыслящих реалистов, не задумался причислить этого „узколобого филистера и пустозвона“ к передовому авангарду человечества? Почему в статье о „Трудном времени“ он не только заявил полную свою солидарность с Рязановым, но и сам, в конце концов, заговорил по-рязановски, — так сказать, перевоплотился в Рязанова и стал развивать его мысли в воображаемом споре с одним из персонажей этой повести?[1]

Впоследствии загадочность подлинного облика Рязанова дошла до того, что критики позднейшего времени, уже оторванные от эпохи, когда создавалась слепцовская повесть, и окончательно потерявшие ключ к ее шифру, не только не нашли у Рязанова никаких революционных стремлений, но, напротив, объявили его „изъеденным иронией скептиком“.

Один либеральный критик, не чуждый пережитков народничества, напечатал в профессорской московской газете, что Слепцов (заодно с Рязановым) „отрицает все, не верит ни во что, ни в народные силы, ни в уменье интеллигенции, ни в ее добрые намерения, ни в общественные начинания“, так как „скептицизм уничтожил в нем веру“, — словно речь идет не о боевом разночинце, а о байроническом демоне.[2]

Всё это произошло оттого, что фигура Рязанова осталась совершенно непонятой. Видя в нем „скептика“, „беспардонного циника“, критики, естественно, сочли его автора каким-то мрачным поэтом отчаяния. Старый писатель Авдеев, человек тургеневской эпохи, уже плохо разбиравшийся в веяниях шестидесятых годов, к которым относился с дворянской враждебностью, услышал в слепцовской повести „глухой и мучительный стон безвыходного отчаяния, стон, который может издавать только человек, окончательно обессиленный в борьбе“. Рязанов

[1] „Русское слово“, 1865, 12.
[2] „Русские ведомости“, 1903, 81.

показался ему выбывшим из строя революционным бойцом, потерпевшим страшное крушение, так как никакая революция в России немыслима. Эта-то мысль старику была дороже всего — мысль о невозможности в России революции, о бесплодности всех революционных порывов, и для доказательства этой своей излюбленной мысли он воспользовался повестью Слепцова. Он уверял, будто Рязанов разочаровался в революционной борьбе, будто он понял, что его дело проиграно, „потому что оно было выше возможности, потому что под основанием его не было твердой земли".[1]

Вот какая двусмысленная была эта слепцовская повесть. Даже контрреволюционеры могли при желании находить в ней подтверждение своих мыслей. Образ Рязанова, по мнению Авдеева, ясно свидетельствовал, что мечты передовой молодежи шестидесятых годов „вырваны с корнем", „разбиты до тла".

Все это, конечно, сущий вздор, и я привожу эти разнообразные мнения лишь для того, чтобы читатель мог видеть, какие различные возможны истолкования этого слепцовского образа и как хорошо он завуалирован автором.

3

Еще загадочнее другая фигура — гуманный помещик Щетинин.

Автор относится к этому помещику с несокрушимым презрением и устами Рязанова посрамляет его буквально на каждой странице, вскрывая всю неприглядность его плантаторской деятельности, — но почему же, спрашивается, он изображает Щетинина таким гуманным и прекраснодушным человеком? Почему, печатая свою антидворянскую повесть в антидворянском журнале, он как бы против воли наделяет дворянина Щетинина таким благородством?

Неужели он не понимает, какой козырь дает он в руки своим партийным врагам?

---

[1] М. Авдеев, Наше общество в героях и героинях литературы. СПБ. 1874.

Либералы дворянского лагеря, конечно, не преминули пустить этот козырь в ход и пытались использовать повесть Слепцова для прославления барской гуманности.

„Ведь это евангельский праведник, о котором сказано: „блаженни милосердии"! — восхищался, например, Щетининым тот же Зарин и горячо славословил „отлично-благородного барина" „с симпатическим и женственным характером".

Много было высказано подобных похвал критиками позднейшего времени, и спрашивается: во имя чего один из самых боевых беллетристов шестидесятых годов наделил такой неестественной святостью того, кого он должен обличать?

С первых же страниц мы узнаем, что этот любвеобильной помещик способен не только на благородные фразы, но и на благородные подвиги. Получив после смерти матери большое имение, он отдал крестьянам всю землю, которой они владели, и не взял у них за нее ни гроша. Он даже хотел было на первых порах сплотить их в трудовую коммуну, но они, по своему неразумию, воспротивились этой великодушной затее. Соседи-помещики, конечно, сочли его красным и возненавидели, как предателя.

„Сколько я ночей не спал, неприятностей, врагов сколько нажил между соседями, — вспоминал он через несколько лет. — Сплетни, крик по всему уезду!"

Крестьяне, которых он хотел осчастливить, не только не прониклись к нему благодарностью, но тоже возненавидели его, как врага. Обманывали и обижали без зазрения совести. Он хоть и сердился на них, но, в качестве праведника, охотно прощал им обиды, не жаловался на них ни становым, ни посредникам, а неустанно проповедывал им, как полезна для них же самих элементарная честность.

Вообще у Слепцова он большой филантроп. Он просит, например, свою молодую жену, чтобы она лечила больных мужиков. Приютив у себя больного товарища, он заботился о нем, как о родном, и когда неблагодарный товарищ издевается над ним изо дня в день, он терпеливо выслушивает его обидные речи и даже тогда не

указывает этому человеку на дверь, когда обнаруживается, что тот разрушил его семейное счастье.

Зачем понадобился Слепцову в его обличительной повести этот евангельски-кроткий помещик?

Характерно, что через двадцать лет после напечатания „Трудного времени", уже в восьмидесятых годах, в период самой свирепой реакции, когда в интеллигентской среде даже так называемые передовые круги отчуровывались от революционных верований недавнего прошлого и проповедывали „малые дела", публицисты той унылой поры вспомнили о Щетинине и представили его своим современникам как лучший образец для подражания. „Велика и плодотворна роль таких людей, как Щетинин, — поучал, например, Протопопов, новообращенный апологет малых дел. — Не Щетинины творят, но они исполняют. Не они ставят идеалы, но только благодаря им наши храмы не пусты, и голос лучших между нами людей не в безотрадной пустоте раздается без отзвука, без отклика... Добрые намерения Щетининых переходят в добрые дела, и эти в отдельности ничтожные, незаметные, но чистые струи в совокупности своей производят то, что мутная река нашей жизни не покрывается тиной и не превращается окончательно в клоаку. Надо это понимать и пора это ценить".[1]

Словом, бросьте всякие бунтовские попытки переменить самое русло „мутной реки нашей жизни", довольно с нас и того, что в этой зловонной реке будут ничтожные и незаметные струйки вроде доброго помещика Щетинина. Слепцову, конечно, и не снились такие реакционные выводы из его обличительной повести. Но почему же его повесть так двусмысленна, что ее могли истолковать в свою пользу даже те, кого она пыталась обличить?

4

Здесь мы подходим вплотную к тому второму — тайному — сюжету, ради которого, в сущности, Слепцов и написал свою повесть.

---

[1] Статья М. Протопопова, „Северный вестник", 1888, 5.

Этот тайный сюжет сказывается лучше всего в одном весьма опасном разговоре, происходящем у Рязанова с женою Щетинина. По своему конспиративному обычаю Слепцов придал этому разговору самую невинную форму, так что для непривычного уха он может показаться почти пустяковым, хотя, если вглядеться, в нем скрыт глубокий политический смысл.

Разговор происходит в усадьбе Щетинина. Мария Николаевна роется в старых журналах, ищет какую-то статью и не может найти. Рязанов, желая помочь ей, говорит наставительно, что напрасно она ищет эти статьи по заглавиям, так как заглавия в большинстве случаев нисколько не выражают содержания статей.

— Мало ли я какое заглавие придумаю. Это ничего не значит.

— Как ничего не значит?

Рязанов настаивает, что заглавия вообще надувательство. Это все равно, что кабацкие вывески. Один кабак называется „Русская правда", другой — „Белый лебедь".

„Ну вы и начнете белого лебедя искать, а там кабак... На свежую голову так и в самом деле белые лебеди представятся: и школы, и суды, и чорт знает что... а как приглядишься к этому делу, ну и видишь, что все это... продажа на вынос..."

Так напечатано в последнем издании — 1903 года. В издании, вышедшем при жизни Слепцова, было напечатано так:

„И школы, и суды, и конституции, и проституции..."

А первоначальная бесцензурная редакция была такова:

„И школы, и суды, и конституции, и проституции, и великая хартия вольностей..."

О какой книге говорит здесь Рязанов? Почему в заглавии этой книги поставлены только такие слова, которые связаны с реформами Александра II, — с реорганизацией школы, с обновлением суда, с освобождением крестьян (именуемым у Рязанова „хартией вольностей")? Рязанов не забыл даже той конституции, которой требовало тогда наиболее передовое дворянство и которая, по ощущению Рязанова, весьма недалека от проституции.

Ясно, что дело идет не о книге (книга только заслон для цензуры!), дело идет о реформах Александра II, и что именно эти реформы кажутся Рязанову вывеской, за которою скрывается кабак:

„И школы, и суды, и конституция, и проституция, и великая хартия вольностей, и чорт знает что... а как приглядеться ко всему этому делу, ну и видишь, что все это... продажа на вынос".

Вот какую едкую мысль попытался протащить сквозь цензуру Слепцов. Мысль, прямо направленная против Александра II и всех его „благих начинаний". Стоит только вспомнить, какими восторгами были еще так недавно встречены в либеральных кругах благодетельные преобразования нового царствования, какие гимны обновленной России еще так недавно слагались даже такими людьми, как Некрасов, Герцен, и вот про эту обновленную Россию, хоть и шопотом, но отчетливо сказано, что это — прежний николаевский кабак, только прикрытый новейшею вывескою.

Вывеска великолепная, в ней каждое слово кричит о гуманности, но тем гнуснее то, что прикрывается ею.

Вся повесть посвящена углублению и развитию этого тезиса. Здесь и заключается тайная задача Слепцова — опровергнуть либеральную ложь об „эпохе великих реформ" и разоблачить до конца тот буржуазно-помещичий строй, на фундаменте которого эти реформы возникли.

Для того он и вывел своего Щетинина таким добродетельным праведником с ангельски-кроткой душой, чтобы показать, что даже самые лучшие представители буржуазно-помещичьей касты, сколько бы они ни гуманничали, являются превосходно вооруженными хищниками, эксплоатирующими тех самых крестьян, о которых они так нежно заботятся.

Щетининых тогда было множество. Передовые, просвещенные дворяне с высоко гуманными принципами, они-то и осуществляли на деле столь необходимые им либеральные реформы шестидесятых годов, все эти Кавелины, Милютины, Унковские, Зарудные, Самарины, Черкасские, Татариновы и прочие народолюбцы-помещики, облагодетельствовавшие русский народ школами, земством, судами и главное — долгожданной свободой. Их деятельность

изображалась тогда в виде бескорыстного гражданского подвига, но для Слепцова все они были Щетиниными, ибо, оставляя нетронутым буржуазно-помещичий строй, пытались облегчить его для трудящихся масс при помощи разных гуманств. На языке Рязанова это и значило оставить кабак кабаком, прибив над его воротами лживую вывеску — „Белый лебедь" или „Русская правда". Рязанов хорошо понимал, что нужно разрушить до основания самый кабак, а потом уже заниматься гуманствами, ибо безнадежны попытки облегчить народные тяготы при капиталистическом строе. Такова тайная идея Слепцова, которую он с необыкновенною дерзостью провозгласил в своем подцензурном романе.

5

Отсюда — широкий охват его социальной сатиры: он обличает не какой-нибудь отдельный участок того или иного российского быта, а весь общественно-политический строй современной ему России, всю совокупность ее общественных зол, и при этом постоянно доискивается до того основного, первопричинного зла, которым они обусловлены.

В этом сказалась незаурядная зрелость его политической мысли. Если правильно расшифровать его „Трудное время", окажется, что во всей беллетристике шестидесятых годов не было более серьезного, меткого и строго продуманного диагноза тогдашних социальных болезней. У него темперамент ученого: отсутствие пафоса заменяется неотразимой логичностью. Систематически, бесстрастно, не спеша, на целом ряде умело подобранных фактов, доказывает он в своей повести (словно теорему из алгебры!) необходимость социальной революции. Его повесть в сущности есть диссертация: „О бесплодности либеральных реформ и неизбежности революционного взрыва". Это лучшая политграмота шестидесятых годов. Он организует свое изложение так, что под прикрытием шаблоннейшей фабулы дает всесторонний обзор тех явлений пореформенной России, которые яснее всего обнаруживают классовый характер так называемых великих

реформ. Вообще, классовая борьба для него есть единственное мерило всех исторических ценностей. От него, как и от Чернышевского, по выражению Ленина, „веет духом классовой борьбы". Этот дух сближает его книгу с идеями нашей эпохи. Конечно, до пролетарского социализма он подняться не мог, но все же в большинстве своих высказываний он до такой степени близко подходит к научному социализму наших дней, что его книга многими своими частями могла бы служить иллюстрацией к марксистским трудам по истории крестьянской реформы.

Как последовательно и четко проводит он классовый принцип при оценке социальных явлений, видно хотя бы из его еретических мыслей о зловредности школ для деревни — тех самых мыслей, которые, как мы только что видели, вызвали столько негодующих воплей среди либеральных ревнителей народного блага.

Конечно, в интересах конспирации, Слепцову и здесь пришлось до такой степени затемнить свои мысли, что многие сочли их мракобесными, но тому, кто расшифрует его тайнопись, станет совершенно ясна их революционная логика. Для того чтобы не вызвать подозрений цензуры, Слепцов изображает дело так, будто Рязанов говорит не о современной России, а о каком-то старинном журнале, где, будто-бы, напечатаны какие-то плюгавые статейки о школах, но мы, привыкнув к его иносказательной речи, понимаем, что речь идет об одном из самых волнующих вопросов эпохи.

„Какие там школы! — восклицает Рязанов. — Школа! Это опечатка. Везде, где написано ш к о л а, следует читать ш к у р а. Вон там один пишет: трудно, говорит, нам обезопасить наши школы. Он хотел сказать: наши шкуры. А другой говорит: хорошо бы нам выделать их на манер заграничных, чтобы они не портились от разных влияний. Видите?"

В позднейших изданиях здесь пропуск. Цензура выбросила очень важное место:

„...А третий говорит: ладаном, говорит, почаще окуривать ладаном. На себе, говорит, испытал — первое средство... Это все о шкурах..."

То есть иными словами, школа в руках у помещиков и духовенства (на что намекает тирада о ладане), она

служит интересам угнетателей. Такова тайная мысль Рязанова, которую он пытается выразить в таком боевом афоризме: „Ежели ты хочешь строить храм, то прими заранее меры, дабы неприятельская кавалерия не сделала из него конюшни". То есть никакое подлинное просвещение народа немыслимо, покуда оно во власти народных врагов. Нужно раньше уничтожить эту власть, а потом уже заботиться о школах.

Мысль очень отчетливая, вся построенная на ясном сознании того, что никакой гармонии интересов, никакого мирного сотрудничества не может быть у крестьян и помещиков, что это две воюющие армии, которые будут воевать до тех пор, пока одна не уничтожит другую.

Эта мысль кажется нынче трюизмом, но в то время всякое просвещение крестьян, само по себе, независимо от его содержания, считалось прогрессивным явлением даже в крайне-левых либеральных кругах. На воскресную школу смотрели, как на величайшее достижение прогресса. Недаром во всех тогдашних повестях и романах устройство любвеобильными барынями школы для деревенских ребят изображалось, как идеал благородства.

Чтобы показать, что Рязанов был прав, Слепцов при помощи всевозможных намеков, разбросанных как будто невзначай по всей повести, внушает читателю, что сами крестьяне угадывают своим темным, но безошибочным классовым чувством, какие каверзы таит в себе барская школа:

„Мужички из того опасаются, что которых грамотных, слышь, всех угнать в кантонисты хотят".

И неспроста испугалась деревенская баба, когда узнала, что добрая барыня хочет учить ее девочку грамоте:

„Одна она у меня, девочка... уж легче я вам курочку принесу за лечение... что с нее взять? малый ребенок!"

Конечно, не только о народном невежестве свидетельствует этот бабий испуг, но и о том выстраданном убеждении народа, что за всяким благодеянием помещиков непременно скрывается злая корысть.

Теперь мы понимаем, почему Слепцову понадобилось, чтобы о приветственной телеграмме Муравьеву-Вешателю заговорил на дворянской попойке учитель. Этим вполне обрисовывалась реакционная идеология тех, кому

было вверено просвещение масс. Храм, действительно, оказывался во власти неприятельской конницы. Наряду с этим учителем Слепцов изобразил в своей повести и других таких же помещичьих прихвостней, обслуживающих сельскую школу, и этим с обычной своей математической четкостью утвердил тот излюбленный тезис Рязанова, что войною, и только войною, определяются все отношения господ и крестьян и что никакими школами их не изменишь, так как школы — тоже одно из орудий войны.

6

Этот принцип классовой борьбы Слепцов прямолинейно применяет ко всем социальным явлениям, и слышать не желает ни о каких компромиссах. Соглашательство было для него равносильно измене. К сожалению, цензура в позднейших изданиях сильно исказила тот отрывок, где Рязанов декларировал закономерность, неизбежность и естественность той кровной непримиримой вражды, которую питают крестьяне ко всем — даже либеральным — помещикам. Отрывок этот был первоначально такой:

— Так, стало быть, по твоему это война, что у меня Федька Скворцов три целковых пропил? — [восклицает с негодованием Щетинин].

— Война,— [отвечает Рязанов].

— И что крюковские мужики лес у меня воруют,— это тоже война?

— Война.

— Хм, хороша война, нечего сказать.

— Партизанская, брат, партизанская. Больше всего наскоком действуют, врассыпную, кто во что горазд: тут и Федька Скворцов, тут и баба Василиса кочергой воюет, и крюковские мужики...

— Это все партизаны?

— Партизаны.

— И по твоему выходит так, что везде, где только есть мошенники, там и война. Так, что ли?

— Не совсем так.

— Как же?

— А вот как: везде, где есть сильный и слабый, бо-

гатый и бедный, хозяин и работник — там и война, а какая она, правильная или неправильная, это уж не наше дело разбирать.[1]

Нужно помнить, что разговор происходит тотчас же после крестьянских волнений, которыми был встречен манифест Александра II о даровании воли. Волнения были всюду подавлены, но злоба осталась и сказывалась в повседневном быту тысячами стачек и „партизанских боев". Помещики либеральной формации, чувствовавшие себя, подобно Щетинину, благодетелями раскрепощенных крестьян и ждавшие от них, в благодарность, беззаветной любви и покорности, были даже обижены их злобой и считали ее временной ошибкой, которая скоро рассеется,— и тогда-то наступит блаженная эра взаимного понимания и дружной работы. Рязанов хорошо понимал, что эти примиренческие иллюзии — вздор, что начавшаяся партизанская война скоро перейдет в регулярную,— и заранее приветствовал эту войну, так как знал, что победителями из нее выйдут отнюдь не Щетинины.

Поэтому повесть Слепцова есть в сущности военная повесть. Все происходящее в только что „раскрепощенной" деревне рассматривается им как целая цепь боевых эпизодов, и он чувствует себя корреспондентом с поля военных действий. Поэтому в повести так много батальных слов: „неприятельская кавалерия", „неприятельский лагерь", „подкопы", „полководцы", „адъютанты", „стук мечей" и „стон умирающих", будто речь идет не о мирном деревенском житье, а по крайней мере о взятии вражеской крепости. Слово „классовая борьба" в повести нигде не упоминается. Рязанов заменяет это слово чисто стратегическими терминами и многократно повторяет Щетинину:

„Воюй в открытую! Ты вооружен до зубов. Целые отряды приказчиков, урядников, становых и посредников сражаются для защиты твоих интересов. Зачем же тут церемониться? Нюни-то разводить зачем? Штука эта самая простая, и весь вопрос в том, к т о к о г о? Стало быть, главная вещь: не конфузься".

[1] Вместо этого в позднейших изданиях печатались нелепые строки, имеющие прямо противоположный смысл: „Стало быть, везде, где есть мошенники, там и война? — Там и война".

Но Щетинин конфузится и так хорошо прикрывает филантропическими делами и фразами все свои военные действия, что и в самом деле может показаться на первых порах каким-то воплощением гуманности.

Чтобы обнаружить, что за этой гуманностью скрываются насилие и грабеж, Слепцов выводит перед нами целую фалангу тех воителей, которые, сражаясь под щетининским знаменем, грудью защищают его. Таким образом, читателю становится ясен самый механизм эксплоатации раскрепощенных крестьян, но, конечно, из опасения цензуры, Слепцов изображает дело так, будто в его повести эти воители — случайные, эпизодические лица. Маневр удался: многие так и поверили, что эти лица не имеют отношения к сюжету и могут быть изъяты из повести без ущерба для ее содержания. В критике даже неоднократно бранили Слепцова за то, что он загромождает свою повесть лишними, не идущими к делу фигурами. Между тем, если всмотреться внимательнее, вся тяжесть сюжета лежит на этих „лишних" фигурах. Они затем и введены Слепцовым, чтобы всеми своими поступками подтвердить его тайную мысль. Без них обвинительные речи Рязанова, направленные против дворянских гуманств, могли бы показаться голословными.

Вот, например, Иван Степаныч, конторщик, написанный у Слепцова такими веселыми красками. Вначале он кажется просто несуразным субъектом, который сам ощущает свою несуразность и относится к себе с забавным презрением:

— Вы играете на скрипке?

— Чорта я играю! Ничего я не умею.

О своей должности он отзывается столь же презрительно:

— Да что письмоводитель? Чорта ли тут!.. Помилуйте. Дела?.. Какие дела! Чепуха!

Весь он в пустяках и нелепостях. Составил почему-то из деревенских детей роту для избиения собак, а сам сделался ее командиром. Сшил себе шапку из шкуры бешеного пса, но боится надеть ее, потому что — вдруг и шапка окажется бешеной!

Слепцов великолепно передает его идиотическую речь, составленную из коротких восклицаний, где каждая фра-

за внезапна, как выстрел, и нужно долго вслушиваться в этот сумбур, чтобы заметить, что он вовсе не так безобиден: в нем постоянно звучит, например, один и тот же рефрен, отголосок публицистики Каткова. Именно этому пошляку и глупцу Слепцов вложил в уста катковские премудрости, потому что как раз тогда, в 1863 году, Катков, по выражению Покровского, „только что начал карьеру первого черносотенного публициста в России".

Все речи Ивана Степаныча переполнены цитатами из катковской газеты. Вот, например, о тогдашних учащихся женщинах:

„Насчет стриженых девок. Читали, как их ловко отделывают? Это одна мать. Она прямо о себе говорит:— Я, говорит, мать. Очень чудесная статья. Вы прочитайте".

А вот цитата о польском восстании:

„Там этот жонд весь ихний — к чертям!.. А эти самые гмины ихние, что ли, чорт их знает... говорят: вот, говорят, теперь свет увидали. А? Нет, ведь, хитрые анафемы. Да!.. хлоп из ружья... вот оглашенные-то! Ха-ха-ха! Чем занимаются? а?"

И еще такие же цитаты — об американской междоусобной войне, и снова о польском восстании, и снова — о борьбе с революционной заразой, и все это, конечно, неспроста, все это черносотенство органически связано с практикой Ивана Степаныча в качестве управляющего щетининской вотчиной. А эта практика определяется такою программою:

— Ах, подлый народишко... так набалованы, дьяволы... Я говорю: палкой их... пес их возьми... То есть я вам скажу: тут какую нужно дубину...

Единственное чувство, которое вызывают в нем деревенские люди, — гадливость:

„Ишь тараканов что развели... вы их жрете, анафемы... Прачка! а? сволочь... мразь несчастная".

Для этой сволочи он знает только плети да штрафы, и здесь у него огромные боевые заслуги:

„Я у исправника жил... Так вот пороли-то мы их... Уж можно сказать, что пороли".

А так как власть ему предоставлена Щетининым очень большая, то ясно, что в войне с мужиками он не простой рядовой. Щетинин может либеральничать, сколько

угодно, покуда за него сражается этот опытный и бравый вояка.

Таким же доблестным защитником щетининской собственности является, по тайно выраженной мысли Слепцова, священник.

Нет, кажется, другой русской повести, где роль священника как боевого охранителя сильных и сытых была бы показана с такой чудесной рельефностью. Не случайно здесь один из попов именует себя полковником:

„Он так считает, что, мол, полковник я".

Конечно, он не мордобойствует, подобно Ивану Степанычу, но роль у них обоих одинаковая. Так как цензура сильнее всего искромсала страницы, где изображаются его военные действия, его образ сделался до такой степени смутным, что какой-то недогадливый критик увидел в нем даже подражание Тургеневу. Лишь теперь, когда в значительной степени заполнены цензурные бреши, сатирическая актуальность этого батального образа вскрывается во всей полноте.

Замечательно, что раньше всего священник выступает у Слепцова как набожный почитатель богатства. Слепцов очень тонко показывает, что все мысли этого человека — о рублях и хозяйственных выгодах, и что у него есть единственное мерило людей — их имущество.

— В Питере дом свой имеете? — вкрадчиво спрашивает он, например, у Рязанова при первом знакомстве.

— Нет, не имею.

. . . . . .

— Капиталы у себя имеете?

— Нет, не имею.

. . . . . .

— Лошадок не держите?

— Нет, не держу.

И в зависимости от этого „нет, не имею" его уважение к Рязанову падает.

Даже когда в доме Щетинина он любуется какими-то подсвечниками, он выражает свое любование так:

— Дорого дали [за пару]?

А желая занять разговором своего собеседника, спрашивает:

— Почем у вас в Санкт-Петербурге мука?

Естественно, что этот апостол имущества презирает свою убогую паству, и у Слепцова великолепно показано, как он потворствует порабощению и ограблению крестьян. Когда, например, ему предлагают вступиться за бабу, зверски избиваемую мужем, он спешит перевести разговор на какой-то собственный гешефт:

— Я вас хотел побеспокоить насчет того дельца, — говорит он помещику.

— Какого дельца?

— А то есть насчет сена.

В повести есть еле заметный намек, что в последнее время, в связи с поджогами и польским восстанием, власти возложили на него и полицей кие функции:

— Строгости эти пошли. Сами знаете, какое ныне время.

В пьяном виде он сам проговаривается, что местный архиерей сделал духовенству внушение, чтобы оно энергичнее помогало правительству бороться с крамолой, и, таким образом, читателю становится окончательно ясно, на чьей стороне все эти боевые полковники в рясах.

Задавшись целью изобразить наиболее доблестных воинов, отличившихся в сражениях против освобожденных крестьян, автор, конечно, не мог обойти только что выдвинувшегося тогда кулака. В повести кулак очерчен лишь несколькими беглыми чертами, но в них — квинтэссенция его бытия. Он в ту пору еще не созрел, вся его разуваевская карьера еще впереди; покуда он всего только маленький лавочник, но сражается он не хуже других:

— Денис Иваныч. Отпустите! — умоляет его один из его должников.

— Дугу оставь.

— Как же я без дуги поеду?

— А мне что! вас, чертей, жалеть нечего. Ну, да ладно, скидавай зипун. Скидавай, скидавай, нечего... нынче, брат, не зима, не озябнешь.

И, конечно, объегорив мужика, тут же (не хуже Щетинина) изображает себя его благодетелем:

— Эти мужичонки подлыи... Тепериче, как вы думаете, сколько у меня за ними денег пропадает?

Даже явное ограбление крестьян и то проходит здесь под вывеской благодеяний и жертв.

Четвертому благодетелю трудового крестьянства, „господину мировому посреднику“, Слепцов посвящает целую главу своей повести, потому что в то время в либеральной печати мировые посредники пользовались славой народных заступников, и нужно было при помощи подробного изображения их деятельности уничтожить эту ложную славу, тем более, что даже такие радикалы, как Огарев и Герцен, все еще видели в них организаторов бескровной революции.

Если послушать посредника, которого изображает Слепцов, он только и хлопочет о пользе крестьян,— но пользу эту понимает по-щетинински:

— Ты что же не кланяешься, а?— кричит он, например, мужику.— Отвалятся у тебя руки шапку снять, а? Мне твой поклон не нужен. Вас, дураков, вежливости учат для вашей же пользы, понимаешь?

Даже когда он отдает молодую женщину постылому мужу на вечную каторгу, он прикрывает жестокость своего приговора такими елейными фразами, словно счастье этих людей ему дороже всего:

— Поцелуйтесь и живите, как бог повелевает, любите друг друга и дай бог вам счастья.

Слепцов подробно описывает весь рабочий день этого либеральнейшего деятеля „эпохи великих реформ“, и мы видим, что буквально каждая минута его рабочего дня направлена к закабалению крестьян.

Словом, сколько бы ни притворялся Слепцов, будто эти фигуры попали к нему в повесть случайно, теперь уже не может быть сомнения, что они — ее основное ядро. Без них вся идея повести повисла бы в воздухе. Ему необходимо было показать на живых людях, на конкретных примерах, что, несмотря ни на какие реформы, государство осталось попрежнему аппаратом для угнетения масс, и что этот аппарат составляют не только становые да чиновники прошлого царствования (как утверждали обличители из либерального лагеря), но и такие гуманные деятели новой эпохи, как, например, мировые посредники. Отсюда был единственный вывод: не разрушив этого аппарата всего целиком, невозможно добиться никаких подлинных благ для народа.

„Народ неудержимо подни-
мется летом 1863 года".
Прокламация „*Великорусс*".

Слепцов очень наглядно показывает, как все это сплоченное воинство — и уездные учителя, и мировые посредники, и газетные публицисты, и волостные старшины, и священники, и писаря, и приказчики, — как все они сомкнутым строем, плечо к плечу, с оружием в руках, громят своего врага. А враг у них у всех один: о с в о б о ж д е н н ы й мужик, и чтобы подчеркнуть их сплоченность, Слепцов заставляет их, одного за другим, в одной и той же форме декларировать свои антимужицкие чувства. Лавочник у него говорит:

— Эти мужичонки подлыи!

И управляющий:

— Экой народишко подлый!

И священник:

— Плуты, лжецы, эфиопы!

И посредник:

— Ракалии! разбойники!

И либеральный помещик:

— Свиньи, скоты, мошенники!

Хор получается в высшей степени дружный, и, чувствуя страшную спаянность этой армии хищников, чувствуя всю сокрушительную силу ее бешеного натиска на беззащитных крестьян, Рязанов не может не издеваться над теми гуманностями, которыми тешат свою совесть Щетинины:

— Нельзя в одно и то же время, — проповедует он, — грабить мужика и ласкать его. Если вы действительно хотите крестьянам добра, у вас есть для этого единственный путь: откажитесь от своей монополии на землю, от солидарности с государственным строем, охраняющим интересы имущего класса, а покуда этого нет, не миндальничайте, грабьте открыто, благо на вашей стороне все законы и все правительственные учреждения страны.

Этот призыв — „грабь открыто, или уходи в революцию"—был из-за цензуры так затушеван Слепцовым, что вторая половина этой фразы до читателей почти не дошла:

многим почудилось, будто Рязанов благословляет помещиков эксплоатировать бесправных крестьян. Особенно сбивало читателей с толку то место в предпоследней главе, где Рязанов объясняет „кающейся дворянке" Щетининой, что вообще эксплоатация трудящихся имущими классами — дело естественное, в порядке вещей. Такие критики, как Петр Ткачев, с негодованием увидели здесь оправдание капиталистического строя и, главным образом, за эти якобы ретроградные речи и обозвали Рязанова „узколобым филистером".

Между тем речи Рязанова были прямо противоположного свойства: желая возможно рельефнее высказать, что в недрах буржуазно-феодального строя невозможно уничтожить эксплоатацию масс, ибо только ею и держится весь этот строй, Рязанов прибегает к таким обинякам и метафорам:

„Жизнь как жизнь: все совершается в строгой зависимости и надлежащем порядке, случайностей никаких нет и быть не может... Медведь душит волка, волк режет овцу, овца ест траву, трава из земли сок получает; а лев... и медведя, и волка, и овцу, и всех побеждает... Вот это порядок. Теперь какие же тут возможны случайности? Разве что резал волк овцу да не дорезал, потому что самого в это время медведь задушил, или что лев мимо медведя прошел и не тронул его... Такие случайности бывают, это точно; но удивляться этому я, право, надобности никакой не вижу".

Иначе говоря: если какой-нибудь хищник (на подобие Щетинина) и проявит случайно гуманные чувства, эти чувства отнюдь не изменят самой системы хищничества; систему возможно разрушить только революционным путем.

Не постигая этой затаенной морали, читатели сосредоточили все свое внимание на тех отрывках рязановской речи, где говорится о полной естественности грабительского социального строя, и не заметили тех реплик Рязанова, которые в сущности являются центром всего диалога.

„Я никогда не говорил, — заявляет Рязанов, — что так надо и что иначе быть не может".

То есть в переводе на бесцензурный язык:

— Мне весь этот строй ненавистен, и я верю, что нам удастся перестроить его.

И через две-три страницы еще более четко:

— Что же остается делать человеку, который потерял возможность жить так, как все живут? — Остается выдумать, создать новую жизнь...

Кажется, яснее и сказать невозможно, между тем именно в этих словах многоумные критики почему-то услышали „стоны безнадежности“ и „вопли отчаяния“.

Человек прямо говорит: „не надо хныкать и жаловаться, давайте создадим новую жизнь“, а его называют банкротом, живым мертвецом.

Слепцов верил, что эту новую жизнь даст России только крестьянский мятеж. Вокруг усадьбы Щетинина скопилось столько народного гнева, что даже странно, как ее не подожгут. Если судить по слепцовской повести, народная месть неизбежна, — до такой степени весь воздух изображаемой Слепцовым деревни насыщен предреволюционною ненавистью.

Эту ненависть Слепцову тоже приходилось изображать экивоками, так как две тысячи крестьянских волнений, которые произошли в тот период, были, так сказать, государственной тайной.

В печати полагалось лжесвидетельствовать, будто манифест Александра II был принят крестьянами с благоговейною радостью. Между тем, как мы знаем теперь, крестьяне отлично поняли, что их обманули и встретили манифест кулаками. „На местах пришлось практически доказывать крестьянству необходимость принять даровую волю, — пишет современный историк. — Для этого пускались в ход шпицрутены, розги, кавалерийские эскадроны, пехотные роты и батальоны“.[1]

Обо всем этом Слепцову было конечно, невозможно писать. Он только слегка намекнул на такое отношение крестьян к царской милости в той главе, где Щетинин жалуется, что крестьяне три года отказывались принять от него в дар его землю, а Рязанов с коварным участием спрашивает:

---

[1] С. Пионтковский, Очерки по истории России XIX и XX вв., 1930, стр. 122—125.

— Ну, а воинские чины тут не убеждали их принять твой подарок?

Этот вопрос — отголосок тех кровавых событий, которые разыгрывались тогда в деревнях на почве непринятия крестьянами манифеста о даровании воли.

Слепцов на протяжении всей повести делает, так сказать, ревизию освобожденной деревне и на каждой странице показывает, что

В жизни крестьянина, ныне свободного, —
Бедность, невежество, мрак.

„...Изба была ветхая, — пишет Слепцов, — с одним окном, подпертая с двух сторон подпорками, в отворенные ворота глядела слепая кобыла... Рядом с этой избою стояла другая такая же, и дальше все то же: гнилые, сырые крыши, черные окна с запахом гари и ребячьим писком, кривые ворота и дырявые покачнувшиеся плетни с повисшими на них посконными рубахами".

Такова вся деревня. „Эпоха великих реформ" не внесла в ее черные избы никакого просвета. Мудрено ли, что живущие в этих избах крестьяне находятся в состоянии скрытого бунта: то нарочно испакостят Щетинину лес, то растратят деньги Щетинина, то пригрозят ему искалечить его скотину, и не будь они связаны по рукам и ногам, они хорошо отблагодарили бы своего гуманного барина.

„На пруду дворовая женщина полоскала белье. Заметив Рязанова, она подоткнула себе подол и, не оборачиваясь, поклонилась ему задом".

Это ничтожная мелочь, но из таких мелочей слагается у Слепцова вся жизнь изображаемой им деревни. Уж на что, кажется, Мария Николаевна была добра к деревенскому люду, даже зонтики хотела купить для работающих в поле крестьянок, но и ей вся деревня объявила бойкот. Она проходит, например, по улице и видит поющих девок. Ей хочется послушать их пение, но они, увидев ее, умолкают.

— Что же вы не поете? — говорит она ласково. — Мы бы вас послушали.

Но они молчат и прячутся одна за другую, а когда она, опечаленная, удаляется прочь, дерзко хохочут ей вслед.

Она подходит к играющим детям и заискивающе зовет их к себе:

— Приходите ко мне ужо, я вам гостинцев дам.

Но и гостинцами не может приманить их к себе...

Исход всей этой злобы один, и Рязанов предвидит его. Он прямо говорит про отношения крестьян и помещиков:

„Вот и хороводимся мы таким манером, и долго еще будем хороводиться, доколе мера наших беззаконий не исполнится“ [то есть доколе мужицкое долготерпенье не лопнет].

По ощущению Слепцова, это время не так уж далеко, ибо, как видно из повести, крестьяне начинают кое-где сознавать, что „мера беззаконий“ уже исполняется и что дольше терпеть невозможно. При помощи разных стилистических хитростей Слепцову удалось протащить сквозь цензуру такой многозначительный разговор с мужиками:

— Век свой будете платить, и все-таки земля будет помещичья.

— Вот что! — восклицают мужики. — Значит его же царствию не будет конца?

— Не будет. Что же делать. Сами вы глупы.

— Это справедливо, что мы глупы. Дураки. Да еще какие дураки.

То есть крестьяне сами заявляют о том, что только по своему неразумию они терпят помещичий строй. А так как в то время считалось, что революция зависит почти исключительно от сознания масс, то такие заявления крестьян могли казаться Слепцову предпосылками революционного взрыва.

А для того, чтобы у читателя не оставалось сомнения, что, несмотря на тот тяжелый разгром, который только что перенесла тогдашняя радикальная партия, Рязанов верит в революцию попрежнему, автор заставил его в самом конце произнести такую декларацию:

— Как не верить [в успех этого дела]. Нельзя не верить. Успех-то будет несомненно...

Слова опять-таки весьма недвусмысленные, и не дико ли, что именно в этом романе, где так четко отмечены не только тяготы, выпавшие на долю народа, но и пути к освобождению от них, критики разных реакционных

оттенков услышали проповедь индефферентизма и непротивления злу! Не дико ли, что Рязанов, доказывавший с математической точностью неотвратимость победы порабощенного класса, был воспринят теми же реакционными критиками, как политический Гамлет, утративший всякую веру в революционное освобождение России!

8

Но, конечно, нельзя отрицать, что, проповедуя революцию как единственный путь к подлинному раскрепощению масс и глубоко веруя в окончательное ее торжество, Рязанов все же изображен у Слепцова человеком великой тоски и усталости.

Из всех революционных бойцов, какие когда-либо появлялись в русских повестях и романах, он наиболее понурый и скорбный. Похоже, что с ним только что произошла катастрофа, безнадежно надорвавшая все его силы. Даже физически он так ослабел и осунулся, что Щетинин не узнал его на первых порах и все повторял при свидании с ним:

"Худ-то как, худ!.. Худ-то ты как, э! брат!"

Слепцов подчеркивает, что спина у Рязанова „болезненно согнута", „лицо исхудалое", „взгляд неподвижен" и что вообще он — полный контраст со Щетининым, который румян и свеж:

Вишь ты лядащий какой...
Словно тебя там сквозь строй
В зиму-то трижды прогнали.

В сущности так оно и было, и теперь Рязанов приехал залечивать раны. Критики не раз удивлялись, что же такое случилось с Рязановым, отчего он так печален и озлоблен. Недоумение это вызвано тем, что они упорно не желали заметить ту дату, к которой Слепцов приурочил свое „Трудное время": лето 1863 года.

Ею объясняется все. Мудрено было представителю революционного крыла молодой радикальной партии не затосковать и не озлобиться в 1863 году.

Этот год для передовых разночинцев действительно был годом катастроф. Зима, которую Рязанов только что

пережил в Питере, перед тем как приехать к Щетинину, явилась печальнейшей вехой „этого трудного времени". Воспользовавшись паникой, вызванной знаменитыми пожарами в Петербурге, Симбирске, Саратове и других городах, правительство обвинило в поджогах ненавистных ему радикалов и натравило на них темные массы мещанства, — после чего приступило к небывалой расправе с крамольниками.

Начались массовые аресты среди молодежи. „Современник" Некрасова и писаревское „Русское слово" были приостановлены. Чернышевского сослали в Сибирь. Писарева заточили в крепость. К Михайлову, сосланному несколько ранее, были применены — уже на каторге—такие суровые меры, которые по существу равнялись его удушению. Разгром польского восстания и связанная с ним демонстрация патриотических чувств в чиновничьих и обывательских кругах окончательно разнуздали реакцию. Муравьев-Вешатель стал национальным героем. Небывалое влияние приобрела черносотенная газета Каткова, где началась ежедневная травля восставших поляков, а вместе с ними и других „инородцев". Доносы на революционных бойцов стали специальностью газеты. Катков сделался идейным вождем всей реакционной России. Влияние Герцена, еще недавно такое могучее, ослабело, и авторитет его пал. Именно в эту проклятую зиму либералы всевозможных оттенков, которые до той поры более или менее поддерживали молодую радикальную партию, отшатнулись от нее окончательно. Внутри нигилистических групп закончился процесс расслоения: от них отпали, так сказать, меньшевики нигилизма — и они оказались в тесном кольце врагов. Обороняться они не могли, потому что у них были отняты все их печатные органы. Возобновленный „Современник" оказался лишь бледною тенью прежнего, а газета „Очерки", где сплотились было писатели радикального лагеря, просуществовала всего несколько месяцев — до весны 1863 года.

Вот что такое была эта зима для Рязанова. Было от чего приуныть и озлобиться. В первой редакции „Трудного времени" Рязанов, при помощи обычных своих недомолвок указывал, какие колоссальные потери понесла молодая революционная партия, лишившаяся своих учителей и вождей:

— Да, хорошие люди. Да, были люди. Это правда.
— А теперь?
— И теперь, пожалуй, еще с пяток наберется.

И дальше прямой намек на гибель Чернышевского, Михайлова, Серно-Соловьевича:

— Одни умирают, а другие не умирают...
— Так что же?
— Так просто погибают.
— Как погибают?
— Да так вот, пропадет — и кончено. Вот как в балетах: все танцует, все танцует, найдет на такое место — вдруг хлоп! пропал.

Сам Слепцов мучительно пережил этот разгром революции. 28 июня 1863 года он писал за границу в одном из своих неизданных писем: „Кто это так бесчеловечно посмеялся надо мной, сказав вам, что я жизнию тешусь? Я не могу придумать для этого человека лучшего мщения за насмешку, как пожелать ему тешиться жизнью точно так, как я ею тешусь, особенно теперь в России, когда можно различать людей только по тому, как они чувствуют себя в настоящую минуту".

Рязанов — выразитель этой боли. Боль мучительная, но видеть в ней „безысходное отчаяние" и „скорбь безнадежности" могли только либеральные критики, которым было выгодно истолковывать повесть Слепцова как отказ от революционной борьбы.

9

Для обуздания радикальной печати правительство Александра II в том же 1863 году перевело цензуру в полицейское ведомство — в Министерство внутренних дел, и журналистика сразу поблекла. „Современник" и „Русское слово" после постигшей их кары погрузились в мелочные литературно-журнальные дрязги и потеряли прежнюю агитационную силу. „Свисток", еще недавно такой оглушительно-резкий, после слабой попытки возобновить свою шумную деятельность должен был затихнуть навсегда.

Рязанов, судя по его многократным высказываниям, был ближе всего к „Современнику". Нет сомнения, что

он сотрудничал именно в этом журнале,— и вот теперь, летом 1863 года, он пришел к убеждению, что дальнейшая журнальная работа для него едва ли возможна. В повести очень бегло и по обыкновению невнятно указывается, что, получив свежую книжку журнала и увидев в ней свою статью, Рязанов с горечью отметил внесенные в нее цензурой искажения, „швырнул [книжку] на окно и задумался". Пропагандировать социализм в легальных журналах стало уже невозможно.

Но именно в то трудное время Некрасову каким-то чудом удалось, благодаря целому ряду счастливых случайностей, напечатать у себя в „Современнике" одну из самых смелых и будоражащих прокламаций шестидесятых годов — повесть Чернышевского „Что делать".

Чернышевский писал ее в крепости. Она была как бы его завещанием оставшимся на воле бойцам: в ней заключался призыв не складывать оружия перед наступившей реакцией, а исподволь, мало-помалу, планомерно и организованно вводить в современную русскую жизнь желанный социалистический быт. Призыв этот, раздавшийся в такую мрачную пору, прозвучал для радикальной молодежи, как боевая труба. В обеих столицах и отчасти в провинции возникло множество очень наивных и хилых коммун (то есть, попросту говоря, общежитий), и, как мы знаем из биографии Слепцова, осенью 1863 года он сам, подхваченный этой волной, основал в Петербурге на Знаменской улице пресловутую слепцовскую коммуну, столь нашумевшую в летописях той эпохи. Коммуна просуществовала всего несколько месяцев, до ближайшей весны, и распалась.

Нет сомнения, что Мария Николаевна, как и все передовые женщины 1863 года, тоже была под обаянием романа „Что делать" и, разрывая навсегда с ненавистной ей дворянской средой, стремилась в Петербург для того, чтобы сделаться участницей одной из коммун. Рязанов прямо говорит об этом, при прощании с ней в своем последнем напутственном слове:

„Она, мелкота-то эта, все дела справит, и все эти артели заведет... на законном основании, они вас там приютят и все порядки вам расскажут, как и что".

Так как повесть писалась Слепцовым тотчас же после распада основанной им коммуны (в 1864 году), он заставляет Рязанова отозваться о коммунах скептически. Видно, еще не исчезла та горечь, которую оставил в его памяти этот неудавшийся опыт. Он изображает дело так, будто, после ареста главарей радикальной партии, в Питере осталась одна мелкота, которая, кроме, как на устройство артелей, уже никуда не годится. Эта несправедливость естественна в устах человека, который только что пережил гибель таких великанов, как Добролюбов и Чернышевский.

Рязанов, как уже было сказано выше, носитель идей „Современника". Его борьба с либеральным гуманством, его презрение к реформам Александра II, его истолкование тогдашнего государственного строя России как диктатуры зажиточных классов, его вера в торжество социализма — все это получено им по наследству от „Современника" 1859—1861 гг. Даже тоном голоса, даже манерой излагать свои мысли, даже внешними приемами речи он напоминает Чернышевского. Любопытна догадка одного из позднейших исследователей, критика-марксиста Дивильковского, что черты Рязанова „заимствованы автором из черт самого Чернышевского, как он рисуется из всех современных свидетельств о нем".[1] Не сомневаюсь, что эта догадка верна, ибо Чернышевскому в высшей степени была свойственна та самоуверенная, уклончиво-насмешливая, въедливая, шутливая речь, приводящая к абсурду всякую мысль противника, которая так характерна для Рязанова. Идеи этих двух людей почти тождественны. Не потому ли Некрасову и вообще „Современнику" так полюбилась слепцовская повесть, что в ней был запечатлен образ только что погибшего вождя и прикровенно изложены его основные воззрения.

Есть, мне кажется, только один единственный пункт, где Рязанов не союзник Чернышевскому. Чернышевский, как известно, был уверен, что крестьянская община, носящая в себе зародыши коммунального быта, является мостом в социализм, а Рязанов уже тогда понимал, что

[1] „История русской литературы XIX в.", 1910, т. III.

этот мост гнилой и ведет в противоположную сторону. Как человек, на практике изучивший крестьянскую жизнь, Слепцов видел, что эта хваленая община есть такая же кабала для беднейших крестьян, как и все другие учреждения тогдашней деревни. В повести „Трудное время“ община изображена в качестве полицейского органа для принудительного выжимания налогов: „мир“ приговаривает двух неплательщиков к розгам и тут же приводит свой приговор в исполнение: „толпа отшатнулась, что-то жикнуло, и вслед за тем раздался дикий, безобразный крик“.

Слепцов был совершенно свободен от тех герценославянофильских иллюзий, которыми тешили себя, наряду с Чернышевским, многие социалисты шестидесятых годов — Шелгунов, Михайлов, Ткачев — и которые через несколько лет стали символом веры народников.

Он опередил Чернышевского и в том отношении, что не идеями характеризовал различные группы людей, а главным образом — хозяйственной деятельностью. Критики, говоря о Слепцове, слишком часто были склонны забывать, что незадолго до опубликования „Трудного времени“ он напечатал два исследования — именно о хозяйственной жизни России. Эти исследования даны им в беллетристической форме, в виде небрежных отрывков из записной книжки прохожего, но, как всегда у Слепцова, за этой притворной небрежностью скрывается глубоко продуманный план. Посвящены они крестьянам и рабочим. Озаглавлены очень скромно: „Владимирка и Клязьма“ и „Письма об Осташкове“. Автор, очевидно, не придавал им особой цены, так как даже не включил их в собрание своих сочинений. Между тем это работы классические и до сих пор не утратили жгучести. В них Слепцов, по своему обычаю, обличает не какое-нибудь отдельное зло, а всю систему тех насилий, лицемерий, обманов, жестокостей, на которых зиждется хозяйственная деятельность „сытых и сильных“. При помощи „экономики“ он выводит на свежую воду всевозможные гуманства „имущих и просвещенных представителей нации“.

Уж на что был прославлен своими гуманствами город Осташков. Вся либеральная печать изображала его каким-то „благодатным островком в океане всероссийской некультурности“ и в один голос восхваляла именитых осташ-

ковцев, которые на собственные средства устроили для беднейших слоев населения и богадельню, и библиотеку, и школу, и банк, — явление, не виданное в тогдашней захолустной России. Газеты особенно славили тамошних фабрикантов Савиных, которые из рода в род, в течение полувека, состояли городскими головами Осташкова и трат ли немалые суммы на культурно-просветительные учреждения города. Но вот в Осташков приехал Слепцов и при помощи пристального анализа их хозяйственной деятельности доказал, что они — те же Щетинины: по видимости филантропы, а по существу угнетатели.

Таким образом, в „Письмах об Осташкове" та же тема, что и в повести „Трудное время": даны великолепные вывески, на которых начертаны самые благородные лозунги; требуется доказать, что под ними к а б а к.

И там, и здесь Слепцов доказывает это путем экономики. В „Письмах об Осташкове" он при помощи фактов, относящихся к хозяйственной жизни городской бедноты, разрушает показную, декоративную, парадную ложь о невиданном благосостоянии города. В „Трудном времени" он точно так же проверяет выспренние речи Щетинина при помощи фактов, относящихся к его хозяйственной деятельности. Оказалось, что Щетинин, хоть и маскируется чуть не революционным бойцом, на самом деле есть типичный аграрий западно-европейской формации, новейший деревенский буржуа, представитель прогрессивного, капиталистического рационально поставленного хозяйства, по-новому эксплоатирующий о с в о б о ж д е н н ы х крестьян: как фабрикант — своих вольнонаемных рабочих. Тогда, в 1863 году, тотчас же после крестьянской реформы, такие аграрные буржуа были внове, и Слепцов один из первых уловил этот тип. Он показал его новые приемы хозяйничания: бухгалтерский учет крестьянского труда, земледельческие заграничные машины, систему тонко разработанных штрафов, широкую, научно поставленную спекуляцию хлебом и пр.

Этими-то новыми приемами хозяйственной деятельности Слепцов определяет всю психоидеологию Щетинина.

В этом отношении Слепцов значительно опередил Чернышевского.

Но, конечно, Чернышевским была внушена главная идея его повести. Ибо именно Чернышевский сосредоточил все свои силы на борьбе с дворянским реформаторством. Очень выразительно пишет об этом один из новейших исследователей:

„Так же, как впоследствии большевики, которых в свое время недаром упрекали в „кадетоедстве", Чернышевский хорошо понимал, что проповедь революции возможна только путем окончательного дискредитирования, осмеяния и уничтожения всяких надежд на реформистские пути развития. В сочинениях Чернышевского можно без труда найти бесчисленное количество подтверждений его беспощадно презрительного отношения к либералам вообще и к современному ему русскому либерализму, в частности".[1]

Эти строки целиком приложимы к Слепцову. Вообще эпиграфом к „Трудному времени" можно было бы сделать знаменитый возглас Чернышевского:

— Эх, наши господа эмансипаторы...— вот хвастуны-то, вот болтуны-то, вот дурачье-то!

Замечательно, что позиция Слепцова по отношению к либеральным реформаторам была истолкована столь же превратно, как и позиция его вдохновителя.

Тот же автор говорит о Чернышевском:

„Самым „просвещенным" либералам и радикалам из дворянской интеллигенции, даже тем из них, которые были в известной мере пропитаны народническими стремлениями, даже тем из них, которые считали себя „неисправимыми социалистами" [Герцен], позиция Чернышевского и его деятельность должны были казаться полным „нигилизмом", святотатственным покушением на основные ценности культуры, отрицанием всех завоеваний человеческого духа, наконец — политическою бестактностью, способной лишь помочь политической и идеологической реакции".

Мы видели, что именно таково было отношение к Рязанову со стороны журнальных либералов: и Зарин,

---

[1] См. Очерки по истории русской критики, под редакцией А. Луначарского и Валериана Полянского. Статья Л. Каменева (т. II 1931, стр. 57).

и Протопопов, и позднее Семен Венгеров восприняли антищетининские выпады Рязанова именно как „святотатственное покушение на основные ценности культуры". Все, что высказывала о рязановской проповеди либеральная критика, слово в слово совпадает с тем, что писал, например, Герцен о чернышевско-добролюбовских статьях „Современника", направленных против либерального лагеря („Very dangerous!", „Желчевики и лишние люди"). Рязанов в данном случае вполне разделил участь своего прототипа.

К Герцену у Слепцова отношение такое же, какое в свое время установил Чернышевский. Считая Герцена одной из разновидностей многообразной породы Щетининых, он, Слепцов, превосходно чувствует дворянскую сущность его радикальных идей. Недаром в повести есть намек, что у Щетинина в кабинете висят портреты Огарева и Герцена. Мы уже видели, что, изображая мирового посредника, Слепцов косвенно полемизирует с Герценом. Точно так же та глава его повести, где в буффонадно-ироническом стиле изображается сближение сословий, вся заострена против „Колокола", который возлагал на всесословное земство преувеличенно-горячие надежды, солидаризируясь в этом отношении с кавелинской кликой.

Известно, как Чернышевский ненавидел Кавелина, который казался ему воплощением либеральной эмансипаторской пошлости. Если бы во время введения земства Чернышевский был на свободе, он несомненно дал бы могучий отпор тем неосновательным радостям, которыми Кавелин и вся его группа встретили „великую реформу". За Чернышевского это сделал Слепцов. Хотя в 1863 году земство еще было в проекте, но Слепцов заранее предвидел, что и эта реформа окажется пуфом, ибо, при диктатуре дворянства, никакое местное самоуправление на всесословных началах немыслимо. Именно в той главе, о которой мы сейчас говорили, он ясно показал всем приверженцам Герцена, Огарева, Кавелина, во что превратится „всесословное земство", когда там начнут верховодить помещики.

Таким образом и в своем отношении к позднейшим реформам Александра II Слепцов заявил себя последователем и учеником Чернышевского.

Замечательно, что в этом партийном публицистическом злободневном романе Слепцов неизменно остается художником чистейшей воды и всю диалектику идей утверждает диалектикой образов. Вначале даже не заметишь, что его живопись подчинена публицистике — так она ярка и сильна. По сути своего таланта Слепцов был жанрист школы Горбунова и Николая Успенского. Свои короткие очерки он всегда писал для эстрады, для сцены, сильно выдвигая в них характерную дикцию, забавные речевые особенности. Недаром с таким успехом выступал он на всевозможных благотворительных вечерах и концертах в качестве рассказчика „сцен из народного быта". Петербургская публика очень ценила его именно как устного рассказчика. Крестьянскую речь он передавал виртуозно, так как, подобно Николаю Успенскому, имел изощреннейший слух к оттенкам живого простонародного говора. В то время, в первой половине шестидесятых годов, „сцены из народного быта" еще не были низменным жанром. Слепцов явился одним из признанных мастеров этой формы. Его „Питомка", „Ночлег" и другие рассказы были встречены с величайшим сочувствием и широкой читательской массой и такими ценителями, как Лев Толстой, Тургенев, Некрасов. Здесь, в области короткого рассказа, маленькой „сцены из народного быта" он чувствовал себя сильнее всего. Поэтому нет ничего удивительного, что, когда он писал свою повесть, он вклеил в нее множество этих беглых набросков. Похоже, что они были заготовлены впрок еще раньше, чем он принялся за писание „Трудного времени", и оставались, так сказать, без пристанища, покуда он не приютил их в этой повести. Такое обилие разрозненных, отрывочных сцен всякому бросалось в глаза, и в печати не раз упрекали Слепцова, что этими сценами он только зря загромоздил свою повесть.

Критик тогдашнего „Голоса" жаловался:

„Сюжет обставлен у г. Слепцова множеством вводных сценок, анекдотов, лиц, разговоров, подмеченных и подслушанных, очевидно, в разное время и в разных местностях и нанизанных теперь в один рассказ".

Такое же неудовольствие высказали и „Петербургские ведомости“:

„Повесть [г. Слепцова] представляет ряд фотографических сцен, связанных межу собою только внешним образом“.[1]

Это мнение дожило до нашего времени и, как мы видим теперь, оно совершенно бессмысленно, ибо все эти якобы разрозненные, случайные сцены и составляют главное содержание повести, которое заключается вовсе не в том, как один радикал распропагандировал молодую помещицу, а в „окончательном дискредитировании, осмеянии и уничтожении всяких надежд на реформистские пути развития“ русской общественности. Именно для того, чтобы показать всю несбыточность этих надежд, Слепцов и ввел в свою повесть такие якобы случайные зарисовки с натуры, которые должны были в своей совокупности составить неотразимый обвинительный акт против мирной реформаторской деятельности либеральнейших гуманистов эпохи Александра II. Только из-за цензурного пугала этим сценам был придан бессвязный и случайный характер, а на самом деле все они бьют в одну точку, все кричат об одном и том же. При помощи этих будто бы разрозненных сцен Слепцову удалось произвести систематический и планомерный обзор всех наиболее заметных явлений тогдашней общественной жизни и каждое из этих явлений измерить единственной мерой: полезно ли оно для трудового крестьянства. Иной меры у Слепцова не было. Этой мерой он измерил в своей повести и школу, и земство, и падение крепостного режима, и представителей церкви, и мировых посредников, и купцов, и либеральных дворян, и показал, что во всем этом нет ничего, кроме организованного вреда для трудящихся. Жаль, что никто до сих пор не заметил этого внутреннего единства всех „вводных наекдотов“ и „фотографических сцен“, которыми изобилует слепцовская повесть. Это удесятерило бы ее агитационную силу и чрезвычайно повысило бы художественную ее выразительность. Повесть, структура которой классически стройна и строга, из которой нельзя выбро-

[1] „Голос“, 1866, 67; „СПБ. ведомости“, 1866, 26.

сить ни одного эпизода, так как в ней каждая мелочь подчинена основному сюжету, все еще воспринимается читателями как беспорядочное нагромождение ненужностей, талантливых и милых, но бесцельных. Пора переоценить эту повесть и предоставить ей одно из почетнейших мест в истории революционной литературы шестидесятых годов. Нельзя допустить, чтобы тайнопись, предназначенная для обмана цензоров, обманывала также и нас. И хотя повесть обличает либерализм определенной эпохи, хотя направлена она, главным образом, против „великих реформ" Александра II, но произведенный ею анализ классовой сущности этих либеральных реформ так математически точен и четок, а ее диапазон так широк, что она не утратила своей актуальности и до нашего времени. Покуда в политической жизни буржуазного мира будут существовать либеральные праведники, прикрывающие хищнические свои аппетиты высоко гуманными лозунгами, эта давнишняя полузабытая повесть Слепцова будет снова и снова разоблачать их шулерскую игру, так как образ Щетинина, по своим основным элементам, является прообразом всякого либерального деятеля феодально-буржуазной эпохи. В нем и Гладстон, и Ллойд Джордж, и Кавур, и все будущие гуманисты-реформаторы.

Оттого-то эта повесть так живуча.

Много раз ее сдавали в архив, но она упорно не старела, и уже та запальчивость, с которой новые и новые поколения критиков относились к выведенным в ней персонажам, ясно говорила о том, что ее тема все еще не теряет своей актуальности. Цензура и в восьмидесятых годах считала нужным запрещать ее для библиотек и читален. Букинисты за огромные деньги продавали из-под полы ее единственное первое издание,[1] — наряду с теми томами „Современника", где печаталось „Что делать" Чернышевского.

Таким образом повесть, причисленная на первых порах к разряду тех журнальных однодневок, которым не суждено пережить изображаемую ими эпоху, прожила без малого семьдесят лет. Этим она обязана прежде всего,

[1] См. „Пантеон литературы", 1881, I, стр. 19.

конечно, Щетинину, который в течение всего этого долгого времени не только не ушел из русской жизни, как уходили один за другим Чацкие, Онегины, Печорины, Рудины, но, напротив, с каждым днем рос и тучнел и наконец вырос до гигантских размеров. В позднейшей смене поколений и эпох щетининство, изобличенное Слепцовым, чем дальше, тем сильнее выдвигалось на авансцену истории, и уже к девятьсот пятому году выросло в так называемую к а д е т с к у ю партию, объединившую в своих рядах Щетининых-земцев, Щетининых-заводчиков, Щетининых-профессоров и адвокатов... Заслуга Слепцова заключается именно в том, что уже в ту раннюю пору, когда это явление было в зародыше, он на много десятилетий вперед угадал и определил его сущность. И так точна оказалась та формула, которою охарактеризовал он щетининство, что последние семьдесят лет не внесли в нее почти никаких корректив.

„Кадеты и трудовики, понимая тот и другой термин в самом широком смысле, — писал Ленин, — прямые потомки и преемники, непосредственные проводники обеих тенденций, обрисовавшихся полвека назад“ [т. е. щетининской и антищетининской]... „И то обстоятельство, что в течение полувека обе тенденции выжили, окрепли, развились, выросли, свидетельствует, бесспорно, о силе этих тенденций, о том, что корни их лежат глубоко во всей экономической структуре России“.[1]

С каждым годом борьба между этими двумя тенденциями становилась все яростнее, и Слепцов первый из беллетристов шестидесятых годов обнаружил, что их, казалось бы, случайные стычки есть начало многолетней кровавой войны. Он изобразил самую раннюю стадию этого полувекового сражения, которое многим поначалу казалось невиннейшей словесной полемикой.

Победителем из этой первой стычки вышел, конечно, Щетинин. С полупрезрительной жалостью глядит он на своего антипода Рязанова:

– И что бы я взял теперь вот этак мыкаться по белу свету... Без приюта, без пристанища, ничего позади, ничего впереди.

---

[1] В. И. Л е н и н, Собрание сочинений, т. XV (2 и 3 изд.), стр. 97.

Рязанов рядом с этим самоуверенным и ретивым стяжателем кажется обреченным на гибель. Но история судила иначе. „Вышло так, — говорит В. И. Ленин, — что представители сознательно враждебной либерализму демократической тенденции в реформе 1861 г., казавшиеся тогда (и долгое время спустя) беспочвенными одиночками, оказались на деле неизмеримо более „почвенными“ — о к а з а л и с ь тогда, когда созрели противоречия, бывшие в 1861 году в состоянии почти зародышевом. Участники реформы 1861 года, смотревшие на нее с реформистской точки зрения, оказались более „почвенны“, чем либеральные реформисты [т. е. Щетинины. *К. Ч.*]. История навсегда сохранит память о первых, как о передовых людях эпохи, — о вторых, как о людях половинчатых, бесхарактерных, бессильных перед силами старого и отжившего...“ [1]

Выше было отмечено, что обличитель Щетинина и сам был Щетинин по крови, по воспитанию, по семейным традициям, единственный дворянин среди Успенских, Благовещенских, Левитовых, Вороновых, Помяловских, Решетниковых — всех тогдашних молодых беллетристов. Его мать была важного шляхетского рода, отец — полковник, генеральский сын. Но род был захудалый, обедневший. Отец, боевой улан, человек совершенно ничтожный, прокутился смолоду банальнейшим образом, и если бы не энергия матери, женщины темпераментной и пламенно-деятельной, — имение пошло бы с молотка. Слепцов рано покинул родную усадьбу и после долгих мытарств, пройдя многолетний путь деклассированного дворянина-богемы, примкнул к нигилистическому лагерю, сблизился с журналом „Современник“ и вскоре усвоил себе тот антилиберальный, народнический, революционно-социалистический дух, который господствовал тогда в „Современнике“. Под непосредственным влиянием идей „Современника“ и было написано им „Трудное время“, где он выразил полную свою солидарность с идеологией боевых разночинцев. И хотя его „Трудное время“ пропагандировало их партийные взгляды, хотя выразителем этих взглядов он вывел такого же, как они, бурсака и плебея, все же чувствуется, что автор не окончательно

[1] Там же, стр. 98.

слился со своим персонажем (не то, что Помяловский с Молотовым, или Чернышевский с Рахметовым) и наблюдает его, как чужого.

Уже самое изящество композиции „Трудного времени", тонкая отделка деталей, элегантная соразмерность частей — резко выделяют эту повесть из „плебейской" беллетристики шестидесятых годов. Рязанов написал бы ее совершенно иначе. Дворянская эстетика сказалась в ней против воли Слепцова.

Но глубоко продуманное сосредоточенное сочувствие к угнетаемым массам, вера в то, что им может помочь лишь полный разгром феодально-буржуазного строя, презрение к гуманистам-соглашателям дворянского лагеря и ко всей их реформаторской деятельности, — все это ставит его в первые ряды революционных разночинцев шестидесятых годов, и если бы даже он ничего не написал, кроме „Трудного времени", в писательской плеяде той эпохи ему подобало бы более почетное место, чем то, которое он занимает теперь.

ИСТОРИЯ СЛЕПЦОВСКОЙ КОММУНЫ

1

Принято почему-то считать, что знаменская коммуна Слепцова — явление единичное и редкостное.

В разных мемуарах печатают, будто она была „совершенною новостью", „небывалой диковиной", поразившею всех современников.[1]

А между тем таких коммун устраивалось тогда в Питере множество и до Слепцова и после него. Слепцовская коммуна тем-то и любопытна для нас, что в шестидесятых годах она была заурядным явлением. Правда, о прочих коммунах известно в нашей литературе немного, — несколько случайных записей, чаще всего злых и насмешливых, — но даже из этих записей видно, как притягательна была для молодых разночинцев идея коммунального быта.

Свешников, например, в „Воспоминаниях пропащего человека" пишет:

„Вася ввел меня в коммуну, помещавшуюся в Эртелевом переулке в доме Хрущова. Коммуна эта занимала маленькую комнатку и членами ее состояли Воскресенский, Сергиевский, Соболев, князь Черкезов и Волков, и тут же проживали две нигилистки, Коведяева-Воронцова и Тимофеева, и все они спали вповалку. Четверо первых были люди модные, потому что они только что отбыли срок заключения в крепости по прикосновенности к делу Каракозова. Впоследствии коммуна эта разрослась. В нее вступили покойный Орфанов, Щербатов и другие, и они сняли себе квартиру в Средней Мещанской улице".[2]

---

[1] „Русская старина", 1890, 1, стр. 236—238; „Голос минувшего", 1915, 12, стр. 113. В „Русской старине" абзац о коммуне был вырезан цензурой.

[2] Н. И. Свешников, Воспоминания пропащего человека, М.—Л. 1930, стр. 160.

Эта коммуна — беднейшая и потому наиболее характерная для тогдашних б у р ы х нигилистов. Семь человек в одной комнате! Врозь они, пожалуй, не выжили бы, потому что какие же заработки у вышедших из тюрьмы политических! Вряд ли, живя в одиночку, они могли бы обладать такой роскошью, как, например, тот грязный самовар, который так не понравился Свешникову.

Но не только для совместного житья, а и для общей работы соединялись тогдашние „новые люди" в коммуну. Всем, например, памятна та трудовая коммуна, из которой впоследствии выросла знаменитая артель передвижников. Покойный Репин в своих воспоминаниях подробно рассказывает, как тринадцать художников, вышедших из академии в 1863 году, решили устроить сообща мастерскую, сняли на окраине большую квартиру и переехали туда жить и работать.

„Тут они сразу ожили, повеселели, — вспоминает Репин. — Теперь у них уже не скучные конурки, где не с кем слова сказать и от скуки, неудобства и холода не знаешь куда уйти. Теперь они чувствовали себя свободней, чем в академических мастерских, и связь свою чувствовали ближе, и бескорыстно влияли друг на друга. Дела их шли все лучше и лучше. Появились некоторые средства и довольства..." [1]

То была коммуна производственная. Таких тогда было очень немного. Большинство состояло из простых общежитий.

Враги шестидесятых годов были, конечно, не склонны отмечать достоинства этих нигилистических гнезд и выпячивали их темные стороны.

Вот, например, какими чертами наделяет Лесков „гречевскую" коммуну Артура Бенни:

„Один неокончивший курса студент, один вышедший в отставку кавалерийский офицер, один лекарь из малороссиян, один чиновник и один впоследствии убитый в польской банде студент из поляков устремились овладеть священнейшею простотою Бенни, чтобы жить поспокойнее на его счет... Достопочтенные люди эти решили, скрепя сердца свои, владеть Артуром Бенни

[1] „Русская старина", 1888, 5, стр. 422.

съобща в компании, на коммунистичесхих началах... Коммунисты поселились у него все разом. Условием этой однополой коммуны было, чтобы никому между собой ничем не считаться. Наглости артельщиков Бенни не было и не может быть ничего равного и подобного. Это ничего почти не выразит, если мы по сущей справедливости скажем, что сожители его обирали, объедали, опивали, брали его последнее белье и платье, делали на его имя долги, закладывали и продавали его заветные материнские вещи, — они лишали его возможности работать и выгоняли его из его же собственной квартиры". [1]

Если верить Лескову, это был капитализм наизнанку: одного труженика эксплоатировало пять тунеядцев. Но верить Лескову едва ли возможно, ибо Бенни, при его скудных литераторских заработках, не был настолько богат, чтобы содержать на свой счет такую ораву нахлебников. Впрочем, несомненно и то, что подобные лжекоммуны возникали тогда очень часто и что всякие темные личности пытались использовать их.

Гораздо примечательнее то обстоятельство, что даже заклятые враги „нигилистов" — дворяне, офицеры, чиновники — и те охотно перенимали у них эту модную форму коллективного быта и тоже селились коммунами.

Об одной такой коммуне мы знаем из биографии композитора Мусоргского.

„Осенью 1863 года, — читаем у Стасова, — воротясь из деревни, он [Мусоргский] поселился вместе с несколькими молодыми товарищами на общей квартире, которую они для шутки назвали коммуной, быть может из подражания той теории совместного житья, которую указывал знаменитый в то время роман „Что делать?". У каждого из товарищей было по отдельной своей комнате, куда никто из прочих товарищей не смел вступать без специального всякий раз дозволения, и тут же была одна общая большая комната, куда все сходились по вечерам, когда бывали свободны от своих занятий, читать, слушать чтение, беседовать, спорить, наконец просто разговаривать или же слушать Мусоргского, играющего на фортепьяно

---

[1] „Загадочный человек". Полн. собр. сочинений Н. С. Лескова, т. VIII, П. 1897, стр. 96.

или поющего романсы и отрывки из опер. Таких маленьких товарищеских „сожитий" было тогда не мало в Петербурге и может быть и в остальной России".[1]

То была коммуна золотой молодежи, комфортабельная, очень бонтонная. Даже имена у юношей были высокого стиля: Модест, Вячеслав, Леонид. Юноши служили в гвардии, в сенате и, не в пример нигилистам, предавались чистому искусству. Их кумиром был не Фейербах, но Флобер. Тем характернее, что даже такая коммуна, — дворянская, — вела свое происхождение от романа „Что делать?". Другие коммуны еще теснее были связаны с этим романом. Недаром большинство из них возникло еще в 1863 году, то есть тотчас же после появления романа в печати. В самом деле: и коммуна Артура Бенни, и коммуна передвижников, и коммуна Мусоргского, и коммуна Слепцова — все относятся к осени 1863 года.

Молодежь того времени и до Чернышевского смутно стремилась к коммунальному быту, но Чернышевский в своем романе придал ее стремлениям такую конкретную форму, что его по справедливости можно считать родоначальником и вдохновителем этих коммун.

Правда, Скабичевский в воспоминаниях указывает, будто не только Чернышевский, но и Пфейфер толкнул Слепцова на создание коммуны.[2] По словам Скабичевского, в конце 1865 года [а на самом деле годом позже] вышла брошюра Пфейфера об устройстве ассоциаций в Европе, и вот, под влиянием этой брошюры, Слепцов будто бы и устроил свое общежитие.

Это — ошибка, потому что, во-первых, коммуна Слепцова была основана за два с половиной года до появления пфейферовой брошюры в России, а во-вторых, книга была не такая, чтобы ею мог увлечься Слепцов, ибо ее главной задачей являлось уничтожение социалистов в Европе. Если Пфейфер призывал к организации коммун, то именно потому, что в них ему мерещилось вернейшее средство предотвратить революционный пожар. Вся его книга написана в интересах „богатых и сильных", к которым автор обращался с такими призывами:

[1] „Вестник Европы", 1881, 3, стр. 301.

[2] М. А. Скабичевский, Литературные воспоминания, М. 1928, стр. 226.

„Если вы не хотите, чтобы в рабочей среде завелись агитаторы, ведущие толпу к революции, вы должны всемерно способствовать развитию кооперативного дела! Этого требует ваша же выгода!“[1]

Как мы ниже увидим, у Слепцова при основании коммуны были прямо противоположные замыслы. Да и трудно предположить, чтобы такая реакционная книжка могла иметь большое влияние на разночинную молодежь шестидесятых годов.

Другое дело роман Чернышевского.

В романе всех очаровала Вера Павловна, — не героиня, а самая обыкновенная женщина, которая, не страшась полицейского пугала, мирно и бесшумно устроила тут, в Петербурге, швейную мастерскую для женщин на коммунальных началах, — и как счастливы стали бедные швеи, освобожденные ею от власти хозяев! Как счастлива стала она сама, Вера Павловна! Как уютна в романе эта коммунальная швейная — просторная, светлая, с веселыми окнами! Как изящно меблированы комнаты девушек, а сами девушки одеты точно барышни! Как хорош у них обед из трех блюд: рыба, телятина, рисовый суп! А коллективные прогулки с четырьмя самоварами! А совместные чтения! А ложи в театре! А катанья в лодках! А ясли и очаги для детей!

Мудрено ли, что — тотчас же после появления этих приманок — коммуны стали расти ежедневно и в том же 1863 году выросли в несметном количестве.

Но совсем не такие, о каких мечтал Чернышевский. Ибо, прославляя коммуну, Чернышевский мечтал не о меблированных комнатах с общим столом, а о „деле прогресса“, о „деле всего человечества“. В швейной мастерской Веры Павловны чудилось ему начало той всемирной коммуны коммун, которая навеки осчастливит людей. Не в сокращении расходов был для него смысл коммуны и не в мелких удобствах, которые даст она маленькой сплотившейся кучке, а в том широком социалистическом строе, который будет создан в близком будущем

---

[1] Э. Пфейфер, Ассоциации, „Настоящее положение рабочего сословия и чем оно должно быть“, перевод с немецкого М. А. Антоновича, П. 1866, стр. 36, 218.

сотнями и тысячами подобных коммун, в том хрустальном дворце с алюминиевыми колоннами, куда все эти коммуны сольются впоследствии. Для Чернышевского они были не целью, но средством. Они должны были пропагандировать социалистический строй и показать самому незрячему люду все преимущества этого строя.

Между тем даже артель передвижников была чужда той идее, которою Чернышевский был охвачен, как пламенем, — идее о преобразовании всего человечества. В письме к своему другу основатель артели Крамской откровенно указывает, что он далек от каких бы то ни было утопических замыслов:

„Имея три общих больших мастерских, — писал Крамской, — нам каждому жизнь, по самому точному и нескупому расчету, будет стоить ежемесячно 25 рублей серебром. Следовательно, соединяясь, мы не только не теряем, а положительно выигрываем..." [1]

Конечно, не этот „выигрыш" был для передвижников главным: их больше всего соблазняла возможность сплоченно бороться за демократизацию живописи, но отсюда еще далеко до забот о будущей судьбе человечества.

Другим коммунам, которые я сейчас перечислил, эти заботы были еще менее свойственны. Денежные соображения и приобретение максимальных удобств — вот в сущности и вся их задача. Но не такова была коммуна Слепцова. Верный ученик Чернышевского, он затем и устроил ее, чтобы положить основание социалистической организации труда.

Совершенно не соответствует истине утверждение какого-то анонимного автора, напечатанное в „Вестнике Европы", будто слепцовская коммуна была простым общежитием, „невинной (и не весьма практичной) затеей устроить нечто вроде меблированных комнат в кружке знакомых и одиноких людей". [2]

Сам Слепцов смотрел на это дело иначе:

„Предполагаемое мною общежитие, — говорил он Екатерине Жуковской, — будет [вначале] иметь вид просто

---

[1] „И. Н. Крамской, его жизнь и переписка", П. 1888, стр. 51.

[2] „Вестник Европы", 1904, 7, стр. 382. Похоже, что эту заметку писал либо Пыпин, либо Ю. Жуковский.

меблированных комнат. Удастся нам ужиться и расширить это дело — сейчас же явятся подражатели. Такие коммуны распространятся, укоренятся, и тогда мы ли, последующие ли поколения будем развивать дело далее до настоящего фаланстера".

„Он задумал осуществить фаланстер Фурье, — поясняет Жуковская, — но, поняв, что сразу рубить прежние формы общежития невозможно, он решил вести дело постепенно"...[1]

Таким образом для Слепцова коммуна была только первоначальным этапом на пути к великому будущему.

Да и не мог автор „Трудного времени", выразивший в этом романе такую жестокую ненависть к мирному и мелочному реформизму, к обывательским гуманным полумерам, не мог он в самый разгар революционной борьбы устраивать „простые общежития".

Даже Лесков, враг Слепцова, изобразивший его в язвительном пасквиле, и тот принужден был отметить социалистические тенденции слепцовской коммуны.

„Несколько мужчин и несколько женщин,— иронически повествует Лесков, — решились сойтись жить вместе, распределив между собою обязанности хозяйственные и соединивши усилия на добывание работ и составление общественной кассы, при которой станет возможно достижение высшей цели братства: ограждение работающего пролетариата от произвола, обид и насилий тучнеющего капитала и разубеждение слепотствующего общества живым примером в возможности правильной организации труда без антрепренеров-капиталистов".[2]

Словом, никакой обывательщины не примешивалось к этой задаче: с самого начала Слепцовым были приняты меры, чтобы его коммуна не сделалась просто „меблированными комнатами с общим столом". Он организовал в ней бюро для добывания работы и даже сделал несколько попыток ввести в нее производственный труд.[3]

Разбирая новонайденные бумаги Слепцова, относящиеся к тому же периоду, я нашел там одну тетрадку, содержащую, как выяснилось вскоре, выписки из сочинений

---

[1] Екатерина Жуковская, Записки, Л. 1930, стр. 160.
[2] „Некуда". Полн. собр. соч. Лескова. II. 1897, т. IV, стр. 629.
[3] „Книжки недели", 1896, 5, стр. 187.

Фурье „Новый индустриальный порядок“ и „Теория четырех движений“. Особенно много выписок относится к практическому устройству гармонии (так Слепцов именовал фаланстер) и к положению женщины в этой „гармонии“.

„Это дедушка осмысленного русского быта,— говорится о его коммуне в лесковском романе.— Это дом, какими должны быть и непременно будут все дома в мире!“

Итак, по своей идее, коммуна Слепцова явилась одним из самых передовых начинаний эпохи шестидесятых годов.

Но выполнена эта задача была отвратительно. Практика Слепцова оказалась в разладе с его великолепной теорией: на таком шатком фундаменте построил он эту коммуну, что она не могла не разладиться в самое короткое время. С первых же шагов им было допущено столько непоправимых ошибок, что даже близкие его единомышленники в конце концов осудили его, как врага.

Коммуна была устроена на Знаменской улице, в доме Бекмана, близ Невского проспекта.

Нигилистов, ненавидящих богатство и роскошь, возмущала уже самая обстановка коммуны, которая казалась им пышной и оскорбительно-барственной. Николай Успенский ощущал, например, эту пышность, как личную себе обиду, и с озлоблением вспоминал в своих записках:

„Ярко освещенный подъезд громадного дома, напоминавшего своей внушительной наружностью совершенный дворец... Солидный швейцар с булавой... Лестница украшена статуями греческих богов и экзотическими растениями... Роскошная квартира с необозримой анфиладой комнат, освещенных люстрами, лампами с затейливыми абажурами и бра на стенах“.[1]

Скажут, что Николаю Успенскому, привычному обитателю низкопробных трущоб, могла показаться чрезмерно роскошной самая простая квартира, но вот воспоминания Скабичевского:

„Мы вошли по парадной лестнице в тысячную квартиру, в бель-этаже, с очень приличной обстановкой. Обширное зало было полно народу. Мы нашли здесь все

[1] Н. В. Успенский, Из прошлого, М. 1889, стр. 120.

сливки литературного, артистического, художественного миров. Человек было далеко за сто".[1]

На лестницу со швейцаром указывает и Авдотья Панаева. Правда, из ее слов выходит, что квартира была не в бельэтаже, а на самом верху, и это, пожалуй, вернее, ибо Скабичевский в соответствии с духом эпохи величал бельэтажем решительно все, что не подвал и не чердак. Та же Авдотья Панаева свидетельствует, что мебель в коммуне была не богатая, но, конечно, нам важно не то, какою эта мебель казалась Авдотье Панаевой, привыкшей жить в роскошной обстановке, а как воспринимали ее типические нигилисты шестидесятых годов. К тому же Екатерина Жуковская, сама бывшая членом коммуны, сообщает, что в особо парадные дни зал действительно украшали богатою мебелью, взятой из апартаментов жильцов, и даже, как это ни странно, цветами. Об этих цветах вспоминает и Коптева. Очевидно, они больно задели беднейшую часть коммуны.

„Он [то есть Слепцов], — сообщает Жуковская, — возмутил Маркелову и княжну, накупив огромное количество цветов для зала, объясняя, что это необходимо для того, чтобы придать комнате менее казарменный вид".[2]

Таким образом Лесков, писавший о коммуне со слов Коптевой, в данном случае не слишком отступил от истины, когда рассказывал, как Слепцов „один раз возвратился домой, в сопровождении десяти человек, принесших за ним более двадцати вазонов разных экзотических растений".

— Сколько стоят эти цветы?—спросила у него одна из проживавших в коммуне.

— Что-то около шестнадцати рублей.

— Как же вы смели опять позволить себе такое своеволие! Зачем вы купили эти цветы?

— Господи, боже мой!..[3]

Из воспоминаний Жуковской мы видим, что эта сцена списана с натуры и, пожалуй, не слишком шаржирована

---

[1] М. А. Скабичевский, Литературные воспоминания, М. 1928, стр. 227.

[2] Екатерина Жуковская, Записки, Л. 1930, стр. 173.

[3] „Некуда", стр. 665—668.

В то суровое время неподходящая роскошь слепцовской коммуны казалась беднякам-разночинцам почти преступлением.

Такова ли должна быть коммуна, основанная в качестве показательной, для пропаганды нового коммунального быта! К чему эти огромные расходы на цветы, на диваны и зеркала, на залу, вмещающую чуть не сто человек! А комната самого Слепцова, — с мраморным камином, с безделушками, с изящной и комфортабельной мебелью! В такой ли обстановке должен жить организатор коммуны? И почему он так часто вращается в великосветских гостиных, усиленно добиваясь того, чтобы сблизить с членами коммуны всякую — как тогда говорили — „салонную сволочь"?

А члены коммуны? Годятся ли они для той высокой исторической миссии, которую он навязал им? Кто они такие, эти люди, взявшиеся осуществить социалистический быт в обстановке тогдашней России?

В том-то и дело, что никакой такой особенной миссии эти люди на себя не возлагали. Двое или трое из них с самого начала заявили Слепцову, что фаланстеров им и даром не надо, а нужны им самые обыкновенные комнаты с общим столом, — почему же он ввел их в коммуну, даже не приняв во внимание их подлинной социальной сущности?

Если бы он всмотрелся в них пристальнее, он понял бы, что ввести их в коммуну это значит обеспечить ей неизбежный провал.

Что же это были за люди?

1. Раньше всего — *Маша Коптева*, избалованная, изящная московская барышня, дочь богатых родителей, — ленивая, насмешливая, очень неглупая, только что из института благородных девиц, приставшая к нигилизму случайно. Она, так сказать, нигилистка салонная, очень „хорошего тона", с нескрываемым презрением к черни, то есть к подлинным нигилистам, именуемым б у р ы м и. Замечательна тем, что Лесков, сильно приукрасив ее, изобразил ее в своем романе „Некуда" под именем Лизы Бахаревой.

2. Ее подруга *Ченина*, тоже институтка из так называемой „хорошей семьи", ушедшая в нигилизм случайно,

спасаясь от семейных передряг. Ни в какие слепцовские фаланстеры не верит и вообще относится к Слепцову насмешливо. Бойкая, самодовольная, очень хорошенькая.

3. *Адзокат Языков 2-й*, либеральный тверской дворянин, родственник Слепцова по жене. Поселился в коммуне именно в качестве родственника, к коммунистическим идеям вполне равнодушен: когда слышит о фаланстере, хихикает и машет рукой.

4. *Аполлон Филиппович Головачев*, тоже либеральный тверской дворянин, тоже близкий родственник Слепцова. Сотрудник и секретарь „Современника", друг Салтыкова-Щедрина, человек благородный, но ленивый и рыхлый. Проиграл состояние в карты. Всей душой верует в коммуну, но по дворянской рыхлости не воплощает своей веры в поступки.

5. *Александра Маркелова*, подлинная нигилистка, работящая, смелая, очень упрямая, из так называемых б у р ы х. Поселилась в коммуне по идейным мотивам и представляет в ней крайнюю левую. Добывает пропитание корректурной и мелкой литераторской работой.

6. *Княжна Екатерина Макулова*, тоже крайняя нигилистка, бурая. Идея коммуны ей кровно близка. Ее княжеский титул — фикция, ибо родители у нее были нищие.

Вот и все известные нам члены этой исторической коммуны. Нигилисты салонные, с одной стороны, нигилисты бурые — с другой. Аристократы и чернь. А посередине Слепцов, пытающийся соединить обе стороны. Можно было с самого начала предвидеть, что эти две группы неизбежно столкнутся, что жить всем под одной кровлей немыслимо, ибо, как ни скрыта до времени их классовая, партийная рознь, она скажется при первом же столкновении их интересов.

2

У нас до сих пор представляют себе шестидесятников сплошной однородной толпой. Между тем эта толпа всегда слагалась из двух бурно враждующих групп, ибо

в нее входили и генеральские дети и голытьба мелкомещанских низов. [1]

И если в начале эпохи, от пятьдесят шестого до шестьдесят первого года, их взаимная ненависть была незаметна, то в позднейшую эпоху она обнаружилась с кричащею яркостью и в быту, и в литературе, и в журнальной полемике.

В тот год, когда Слепцов устраивал коммуну, вражда была в полном разгаре, „бурые“ нигилисты уже окончательно откололись от нигилистов салонных, — почему же, повторяю, Слепцов чуть не силою попытался сплотить их для общего дела?

Едва он заикнется бывало про „общее дело“, салонные так и вскинутся на него, как на фразера и выдумщика:

— Нельзя ли попроще? — восклицает Коптева с презрительной миной, — нельзя ли меблированные комнаты называть меблированными комнатами, а не „нашим делом“?

— Для вас с Екатериной Ивановной, — отвечает Слепцов, — это точно меблированные комнаты, к нашему общему прискорбию, но для нас это „дело“, за которое мы стоим и значение которого мы желаем поддержать!

Здесь, в этом стремлении связать несвязуемое, был органический порок его затеи.

Одна из нигилисток салонных, представлявшая в коммуне крайнюю правую, Екатерина Ценина (Жуковская), оставила нам подробные записки об этой коммуне и, конечно, попыталась, по мере возможности, возвеличить свою дворянскую, салонную группу и унизить противоположную — „бурую“.

Дворянский нигилизм, по ее утверждению „совмещался большей частью с умом, образованием и талантом“, а также с некоторым „щегольством и комфортом“, бурые же были „неряшливы“, „лохматы“, „нетерпимы“ и по большей частью невежественны. Макулова даже не знала по-французски!

---

[1] Характеристику обеих групп см. в записках В. С. Серовой об Александре Николаевиче Серове („Русская мысль“, 1913, 4, стр. 10—11).

И ко всем достоинствам нигилистов-дворян Ценина присовокупляет еще одно — едва ли не самое главное: их нелюбовь к революции. Это ей нравится больше всего. Они были сторонниками мирных реформ, и „благие преобразования“ Александра II были им вполне по душе. Дальше мирного прогресса их вожделения не шли. Соглашательство с дворянскими литературными партиями составляло основу их партийной программы. А „бурые“ были непримиримые враги всего самодержавного строя, и через несколько лет, в конце шестидесятых годов, из их среды стали вербоваться агитаторы, бунтовщики и подпольщики. Тотчас же после каракозовских дней раскол сказался на их биографиях: правые нигилисты один за другим стали уходить на казенную службу, а левые — в подполье, в эмиграцию, в сибирскую каторгу.[1]

Для того чтобы обеспечить своей коммуне успех, Слепцову надлежало пожертвовать либо „бурыми“, либо „салонными“, а принуждать к сожительству тех и других было, воистину, делом безумным. Неудивительно, что, когда подконец он пригласил в свою коммуну работниц, работницы не пожелали войти в нее.

— Какие же это коммунисты! — говорили они про членов слепцовской коммуны, — это просто аристократы.

И те должны были сами признать:

— Действительно, невозможно набирать к нам, аристократам труда, пролетариев-тружеников.

Ни наборщицы, ни переплетчицы не пожелали и слышать о вхождении в коммуну, и для „бурых“ это было тяжелым ударом.

— Не будь у вас аристократических замашек, — говорила „бурая“ „салонной“, — все так легко могло бы уладиться.

Еще бы! Но аристократические замашки оказались непреодолимым препятствием: ведь наборщицы и переплетчицы зарабатывали тогда самое большее 30—35 ру-

---

[1] Екатерина Жуковская, Записки, Л. 1930, стр. 208. Вообще все эти эпизоды из жизни слепцовской коммуны мы узнаем главным образом из записок Жуковской, которая должно быть и сама не заметила, какой богатый материал против себя и своей аристократической группы она дает в этой книге. Из ее записок ясно видно, что разложение в коммуну Слепцова внесли именно она и ее близкие.

блей в месяц, а жизнь в коммуне обходилась каждому ее члену не меньше семидесяти, то есть чуть не втрое дороже, чем, например, в артели передвижников, возникшей в том же городе, в то же самое время, при тех же ценах на стол и квартиру. Ясно, что эта коммуна была доступна лишь зажиточным людям, а люди безденежные не смели и думать о ней. Это делало коммуну бессмыслицей.

Весь modus vivendi в этой коммуне был до такой степени далек от полуголодного быта интеллигентных пролетариев шестидесятых годов, что те чувствовали себя в коммуне, как в барских покоях, и в шутку просили Слепцова, чтобы он позволил им поселиться на кухне, так как комнаты слишком роскошны для них.

Левитов рассказывал Николаю Успенскому:

„Я раз говорил ему (то есть Слепцову): дескать, нельзя ли мне в качестве хоть пария какого-нибудь приютиться у вас, хоть, примером будем говорить, в кухне?— Ну, нет, — сказал Слепцов, — ты нашу кухню заплюешь, загадишь, а кроме того как напьешься, ворвешься в коммуну и будешь бушевать... А главное, все вы, народные писатели, страдаете безденежьем, а у нас живут люди более или менее обеспеченные, тут есть и дочка графа и сынок Тита Титыча. Нет, Левитов, ты эту кухню выброс из головы. Я лучше буду по временам оказывать тебе пособие в форме какого-нибудь пиджака, трех рублей, стеариновых свечей и т. д.“ [1]

Правда, эта беседа приводится в воспоминаниях Николая Успенского, которые знамениты своими отклонениями от подлинных фактов, но если даже это шарж, он показывает, как относились б у р ы е к коммуне Слепцова. [2]

Николай Успенский в то время был бурый из бурых, и потому коммуна представлялась ему постыдною бар-

---

[1] Н. В. У с п е н с к и й, Из прошлого, М. 1889.

[2] До чего недостоверны воспоминания Николая Успенского, видно даже из приводимых им дат. Он рассказывает, что коммуну Слепцова он посетил во время писания очерка „Змей“, между тем как этот очерк был написан им за пять лет до возникновения коммуны. Кроме того он утверждает, что роман Слепцова „Трудное время“ был тогда уже давно написан, между тем как этот роман появился лишь через семь лет после „Змея“.

скою прихотью. Даже то возмущало его, что, вместо дешевой сивухи, в коммуне предлагали гостям шартрез, шато д'икем, шато марго, лафит, — аристократические марки вин. Авдотья Панаева, возражая ему, говорит, что вообще никаких крепких напитков она не видела в коммуне,[1] но ведь она посетила коммуну лишь раз или два, а Жуковская, сама бывшая членом коммуны и проживавшая там постоянно, свидетельствует, в полном согласии с Успенским, что Слепцов для особо торжественных случаев накупал и вин и английского портеру.[2]

Вообще расходы по приему гостей были тягостны; к тому же гости приходили не только в определенные дни, но ежедневно — то к обеду, то к ужину.

Словом, пребывание в коммуне не только не вело ее членов к сокращению расходов, но, напротив, обременяло их лишними тратами, а это не могло не дискредитировать в глазах маловеров самую идею коммуны. Боясь этого, Слепцов простодушно скрывал и от публики и от самих „коммунистов" цифру истинных расходов своего предприятия и часто покрывал дефициты из собственных заработков, но так как заработки эти были весьма невелики, то вскоре он наделал долгов, и престиж коммуны упал окончательно.[3]

В довершение ко всему пошли слухи, будто в коммуне процветает разврат. Тот же Николай Успенский изображает коммуну „магометовым раем", а Слепцова — султаном, окруженным прелестными гуриями, которые все поголовно пылают к нему „неукротимою страстью". Лесков, со своей стороны, утверждает, будто Коптева именно потому и ушла из коммуны, что Слепцов оскорбил ее, войдя к ней в комнату чуть не в белье.[4] Все это, конечно, клевета его партийных врагов, вос-

---

[1] Авдотья Панаева, Воспоминания, М. 1929, стр. 462.

[2] Екатерина Жуковская, Записки, Л. 1930, стр. 173.

[3] О денежных неурядицах слепцовской коммуны было известно даже в посторонних кругах, и Лесков и Всеволод Крестовский воспроизводят ходившие тогда по Петербургу слухи о финансовых махинациях Слепцова. Конечно, эти слухи были чистейшая ложь и объясняются они полным неумением Слепцова вести хозяйство на коммунальных началах.

[4] Н. С. Лесков, Полное собрание сочинений, т. VIII, П. 1897, Загадочный человек, стр. 94.

пользовавшихся его пагубной слабостью к женщинам, чтобы набросить тень на основанный им фаланстер. Эта слабость принесла ему много вреда, и даже расположенная к нему Авдотья Панаева была принуждена согласиться, что „ему много мешали его отношения к женщинам". О том же говорит и Скабичевский.

Но все же нельзя сомневаться, что в коммуне эти наклонности не сказались никак, что она была скорее монастырь, чем гарем, и что таким образом дело было вовсе не в донжуанстве Слепцова, а в его трагически-безнадежной попытке сблизить для совместной работы большевиков и меньшевиков нигилизма.

Это превратило коммуну в арену для партийных побоищ. Всякая мелочь вызывала баталии. Особенно горячи были бои из-за хлеба: „бурые" довольствовались ситником, „аристократы" требовали булок.

— Я не извозчик, чтобы есть эту сухую кислятину!— восклицала „салонная" Ценина.

— Тысячи людей были бы счастливы иметь к чаю такой хлеб! — возражала „бурая" Маркелова.

— Ну, так и счастливьте эти тысячи, а я не хочу!

От ситника перешли к нарядам. „Бурые" клеймили „салонных" за их франтовство и, доказывая им всю „безнравственность" роскоши, щеголяли убожеством своего одеяния. „Аристократки", в пику „бурым", наряжались в шелковые платья с великолепными шлейфами и демонстрировали их в зале коммуны.

А потом — война из-за прислуги. В коммуне было слишком много работниц: две няньки, две горничные, прачка, кухарка, словно это не коммуна, а усадьба. „Бурые" потребовали, чтобы вся эта челядь была удалена из коммуны и чтобы коммунисты своими руками делали домашнюю работу, не прибегая к услугам наемниц. „Аристократы" вначале подчинились их требованию, но потом сорвали его путем саботажа.

— Принцип уничтожения прислуги нарушен! — жаловалась „бурая" Маркелова.

— Разумеется! — злорадствовала „салонная" Ценина.

Дальше — больше, и вскоре аристократы до такой степени охладели к тем принципам, во имя которых возникла коммуна, что стали вовлекать в нее совершенно

чуждые ей элементы. Ценина даже сделала попытку ввести в коммуну в качестве полноправного члена одного богатого барина, живущего своим капиталом.

„Бурые“ единодушно восстали.

— Я окончательно против допущения к нам тунеядцев-капиталистов! — запротестовала Макулова.

И Маркелова провозгласила вслед за ней:

— Принцип капитализма не может вязаться с принципом коммунизма.

Но тут обнаружилось, что в коммуне принцип „капитализма“ процветает давно. Обнаружилось, что Коптева, ушедшая из богатой семьи именно для того, чтобы жить своим личным трудом, живет в сущности на тот капитал, который ей достался по наследству от бабушки. А Ценина состоит на иждивении брата. Основным же капиталом коммуны служат те довольно крупные деньги, которые внес в нее некий помещик.

Таким образом все заветы романа „Что делать?“ были в этой коммуне искажены и нарушены. Не осталось и следа от социалистических принципов, которые легли в основание трудовой артели Веры Павловны.

Главное, в романе Чернышевского, в его идеальной коммуне не было того засилия дворянских привычек и прихотей, которое, в сущности, и погубило коммуну Слепцова. Поразительно, как в шестидесятых годах, уже после „падения“ крепостничества, все еще были сильны эти дворянские привычки и прихоти — даже среди либералов, искренно ушедших в демократию! Эти люди, мнившие себя передовыми бойцами, верными делу „прогресса“, — как по-дворянски они были изнежены, как развратил их рабий крепостнический быт, который они отвергали в теории. Как были они ленивы, безвольны, беспутны! Как были они неготовы к той роли, которую взвалили на себя добровольно. Они нагрянули в коммуну, как в родовую усадьбу, с няньками, кухарками, горничными, — с дворянским щегольством, мотовством, безалаберностью, не умея отказаться ни от раутов, ни от цветов, ни от вин, ни от долгого лежания на диванах, ни от холенных ногтей, ни от сдобных булок, ни от шелковых платьев, ни от якшанья со всякою „салонною сволочью“.

Как бы ни льнули они к разночинцам, рано или поздно их неестественный союз должен был кончиться крахом. Это и произошло весною 1864 года, когда, окончательно убедившись, что дальнейшая совместная жизнь немыслима, они разъехались в разные стороны, — кто к себе в деревню, в Тверскую губернию, кто в конуру на Васильевском острове. Конечно, помогла и полиция. Мать Слепцова вспоминала впоследствии: „Общий труд не привился, но был еще не современен, да и полиция небывалую дикомину стала преследовать, так дело и кончилось". — „Городовые бессменно торчали у подъезда квартиры коммуны", — свидетельствует Авдотья Панаева.

Неуспех коммуны оказался до такой степени наруку врагам нигилизма, что вскоре два реакционных писателя воспользовались — каждый по-своему — историей этой коммуны, чтобы опозорить эпоху шестидесятых годов. Я говорю о романе „Панургово стадо" Всеволода Крестовского и о романе Лескова „Некуда". Останавливаться на них мы не будем, отметив лишь, что в „Некуда" Слепцову предъявлено обвинение в ярко выраженных дворянских наклонностях, то есть в том самом, в чем его обвинили „бурые", вроде Маркеловой и Николая Успенского. Лесков не может простить Слепцову ни его щегольских пиджачков, ни его изящной прически, ни его аристократическо-мягкого говора. Кажется, если бы Слепцов превратился в одного из тех лохматых уродов, какими принято было в реакционной печати изображать нигилистов, Лесков охотно примирился бы с ним. Но барские привычки Слепцова до такой степени возмущают его, что ими он готов объяснять даже безвременную гибель коммуны: „Вместо чистых начал демократизма и всепрощения вы взели в коммуну самый чопорный аристократизм", — вот его приговор над Слепцовым и над общественной работой Слепцова. Этот приговор он подкрепляет десятками фактов на всем протяжении романа.

3

Но не дико ли, что все, писавшие о слепцовской коммуне: и ретроград Лесков, и радикал Скабичевский, и

„бурый" нигилист Николай Успенский, и салонная нигилистка Екатерина Жуковская, все как будто нарочно забыли, что Слепцов был не только автор этой неудачной затеи, но один из самых замечательных писателей шестидесятых годов, в творчестве которого с необыкновенной рельефностью сказались самые боевые тенденции этой эпохи. Тот Слепцов, который выведен в „Некуда", не мог бы, конечно, создать ни „Питомки", ни „Трудного времени", не говоря уже о замечательных осташковских и владимирских письмах.

Даже туповатая Ценина, совершенно игнорируя его сочинения, смотрит на него сверху вниз и с большим самодовольством отмечает, после всякого столкновения с ним, что она находчивее, умнее, честнее его, а он пасует перед нею на каждом шагу, подавляемый ее нравственной мощью и сокрушительной логикой.

Скабичевский, опять-таки забывая о нем как об авторе, третирует его как пустозвонного мелкого лодыря, а между тем стоит только раскрыть книги Слепцова — где придется, на любой странице, чтобы все написанное о нем в мемуарах сразу оказалось клеветнической ложью. Из этих мемуаров никогда не поймешь, как же могло случиться, что такой балованный щеголь вдруг отказался от всяких комфортов и с котомкой за плечами пошел на заводы, на фабрики, на постройку железной дороги обличать кулаков и подрядчиков в эксплоатации рабочего люда и обличать не либеральными фразами, а цифрами и подлинными фактами. Чтобы добыть эти цифры и факты, он, дэнди, кочевал в клоповниках и курных избах, замерзал, как нищий, в морозные ночи под чужими окошками, мыкался по больницам, по рабочим баракам, и фабриканты гнали его чуть не метлой, а мужики кричали ему: „алырник, шувалик", „куда тебя черти носят!" — и нередко он так изнемогал в дороге, что должен был делать усилия, чтобы не упасть лицом в снег. Об этом Слепцове все мемуаристы почему-то молчат. Этого Слепцова как будто никогда не бывало, а существовал только холенный фат, баловень светских женщин. „Он и женским вопросом, — говорят вспоминатели, — занимался специально для амуров: помогал только хорошеньким, а старухи и некрасивые хоть и не подходите к нему".

Николай Успенский так и напечатал в своих мемуарах, будто от чрезмерного занятия женским вопросом Слепцов заболел чуть не спинною сухоткою, от которой и скончался в цвете лет.

Все это можно высказать опять-таки при полном забвении писаний Слепцова, где столько тревоги о женщине-работнице, женщине-матери. Как относился Слепцов к феминизму, можно видеть не только из его знаменитой „Питомки", которую Лев Толстой никогда не мог читать без слез, не только из повести „Трудное время", но также из одной его статейки, не вошедшей в полное собрание его сочинений и напечатанной в журнале „Женский вестник". В этой статейке указывается, что никакого женского вопроса самого по себе нет и не может быть, ибо раскрепощение женщины тесно связано с раскрепощением трудящихся. Конечно, все это выражено им очень туманно, так как статейка появилась вскоре после террора каракозовских дней, но всякий, кто умеет разбираться в иносказаниях публицистики шестидесятых годов, увидит, как широко и серьезно понимал этот оклеветанный автор так называемый женский вопрос и каковы были те побуждения, которые заставили его в 1863 году основать нечто вроде ассоциации для женщин, учить их переплетному и типографскому делу, читать им популярно-научные лекции и вовлекать их в коммуну. Коммуна не удалась, как мы видели, но тот, кто знаком с его книгами, знает, что коммуна была для него не случайная прихоть, а серьезнейшее дело его жизни. Правда, дело оказалось ему не под силу, но можно ли сомневаться, что весь его жизненный опыт, все его тогдашние наблюдения над русской действительностью привели его к искренней вере в необходимость и желательность коммунального быта. Ведь перед тем, как устроить коммуну, он только что вернулся из скитаний по захолустьям России и напечатал в журналах целую серию писем о своих дорожных впечатлениях. Эти письма превосходны и могут служить образцом для нынешних наших рабкоров, ибо в них, не довольствуясь декоративною стороною явления, он всюду добирается до сути и не успокаивается, пока не найдет тех глубоко сокрытых пружин, которые там, под спудом, управляют человеческими жизнями. Какими только вели-

колепиями ни щеголял, например, перед ним уездный городишко Осташков, — и театром, и банком, и школой, и библиотекой для чтения, — но все эти декорации не обманули Слепцова, и он ясно увидел за ними изнуренные зелено-желтые лица полуголодных ремесленников, которых держит в кабале темная шайка дельцов, изображающая из себя их благодетелей.

И в других своих очерках — о постройке железной дороги — Слепцов опять-таки добрался до самых корней экономики, до той грабительской организации труда, благодаря которой каждый рабочий на этой постройке становится бесправным рабом целой иерархии узаконенных хищников — и при этом ясно показал, что здесь дело не в отдельных грабителях, а в государственной системе, которая только и держится ими.

Эта редкостная способность к анализу социальных явлений, эта зоркость к экономической подоплеке человеческих действий и дала ему впоследствии возможность написать до сих пор неоцененное „Трудное время", где пышным декларациям либеральных фразеров противопоставляются подлинные факты их хозяйственной деятельности. Хозяйственная деятельность — всякая — была в центре его тогдашних писаний, и он отдал весь свой изящный, я бы даже сказал грациозный талант, чтобы разоблачить ее истиный смысл. Без воплей и патетических жестов, сдержанно, суховато и даже как будто застенчиво, при помощи одних только легких и беглых штрихов, он изображал те многообразные методы отлично налаженного высасывания человеческой крови, которыми изобиловала тогдашняя Русь. Можно представить себе, с какой пылкостью взялся он, по приезде в столицу, тотчас же после своих осташковских писем, создавать такую организацию быта, которая была бы построена на других — более справедливых — началах.

Вот что вспоминал его брат о той полосе его жизни: „примкнув к кружку Чернышевского, Слепцов (по приезде в Питер) был охвачен господствующими среди молодежи идеями коммунизма" — и мы только что видели, что теми впечатлениями, которые он незадолго до этого вынес из своих блужданий по России, он был вполне подготовлен к восприятию этих идей. Недаром из „Се-

верной пчелы" и „Русский речи" он именно тогда перешел в „Современник", где все было полно Чернышевским, только что заключенным в тюрьму. И „Трудное время", задуманное им в тот же период — в эпоху коммуны, является лучшим документальным свидетельством, как велико было влияние Чернышевского на его тогдашние верования. Отметим кстати, что в последней главе этой повести Слепцов первоначально поместил еле заметный намек на трагическую судьбу Чернышевского, уничтоженный впоследствии цензурой.

Так что те очень многие авторы, которые считают коммуну Слепцова легкомысленной, беспринципной затеей, обнаруживают полное незнание его тогдашней идейной позиции.

Но верно и то, что, как бы искренне ни был он предан идеям боевых разночинцев шестидесятых годов, в личной жизни, в быту он никогда не умел слиться с этими людьми до конца и был в их среде чужаком. В одном из своих неизданных писем, относящихся к позднейшему времени, он в шутку выражает боязнь, как бы его не поставили на одну доску с Решетниковым. Это была шутка, и Решетникова он очень любил, но в этой шутке была доля правды, ибо вся его — не вина, а беда — заключалась в том, что он „ушел в разночинцы" из барской усадьбы и до самой смерти не мог уничтожить в себе свою ненавистную барственность. Как он ненавидел ее, видно из его повести „Хороший человек", где он выступил в новом обличии кающегося дворянина семидесятых годов. Но несмотря на всю горячность его покаяния, он — в личной жизни, в быту — так и не мог избавиться от своего тяжелого наследия, ибо можно ли безнаказанно быть внуком генералов, лифляндских баронов, сыном полковника и польской шляхтянки, гордящейся своими именитыми предками.

Слепцов героически отрекся от этого прошлого, безоглядно ушел в нигилисты и связал с ними всю свою деятельность, но переродиться, конечно, не мог и до конца дней по всему житейскому своему обиходу был весьма далек от их быта, что не могло не сказаться на основанной им коммуне. Все его симпатии были конечно на их стороне — недаром в том поединке между семинаристом Рязановым и либеральным дворянином Щети-

ниным, который происходит в „Трудном времени", он является, так сказать, секундантом Рязанова, а к его противнику относится с брезгливым презрением, но в крови у него все же было мало рязановского — и это болезненно ощутили те „бурые", с которыми он попытался соединиться в коммуне.

Впрочем, коммуна явилась небольшим эпизодом в его разнообразной, богатой событиями жизни, и было бы жестоко судить о нем по одному эпизоду. Жизнь писателя — в книгах, и не странно ли, что книги Слепцова, такие близкие нашей эпохе, забыты, а эта неудачная горе-коммуна и до настоящего времени служит единственным напоминанием о нем.

4

После того, как настоящая статья появилась в печати, мне случайно попались еще кое-какие материалы, имеющие отношение к слепцовской коммуне.

Это раньше всего — рассказ графа Е. А. Салиаса „Двенадцать часов — воскресенье". Салиас, как известно, еще студентом, еще в начале шестидесятых годов, встречался со Слепцовым в Москве, в салоне своей матери Евгении Тур, и на всю жизнь сохранил пиэтет к писательским талантам Слепцова: „русский Мопассан" — говорил он о Слепцове впоследствии.[1] Слепцов на глазах у Салиаса начинал свою литературную деятельность и принимал ближайшее участие в тех студенческих волнениях в Москве, зачинщиком которых был молодой Салиас. В рассказе Салиаса он фигурирует под фамилией Глебцова, и вот какими благодушными чертами изображает Салиас его коммуну:

„На набережной Мойки, между великолепным домом, почти дворцом, русского князя-богача и небольшим двухэтажным домом, где помещалась редакция очень известной газеты, были большие ворота в узкий и грязный двор. На этом дворе, в низеньком доме, очень неопрятно содержимом, помещалась типография газеты, а над ней отдавалась внаймы квартира.

[1] „Исторический вестник", 1898, 3, стр. 218.

„Весной 1862 года эту квартиру нанял на свое имя молодой человек лет двадцати шести, только что начавший подвизаться на литературном поприще. Квартира комнат в десять была ему не по средствам, но он и не предполагал жить в ней один.

„Еще до найма он условился с несколькими хорошими знакомыми и, между прочим, с двумя друзьями поселиться вместе.

„— Давайте устроим нечто вроде общежития, — объяснил он. — Будем жить вместе. Каждый будет вносить условленную плату, смотря по тому, сколько займет горниц: одну, две или три. Найдем кухарку и лакея и распределим занятия... Один будет хозяйничать, заказывать обеды, другой — смотреть за опрятностью в доме, третий еще что-нибудь.

„Таким образом однажды из разных мест: кто из гостиницы, кто из меблированных комнат, съехались и поселились в квартире шесть человек, из которых старшему было менее тридцати лет.

„Сожители в шутку называли квартиру фаланстером. Распорядителем всего, под именем президента, был выбран тот, кто придумал такого рода сожительство. Он же взял на себя все хозяйство.

„Этот, шутя именуемый, президент, по имени Глебцов' был высокого роста, статный и чрезвычайно красивый человек. С черными, как смоль, вьющимися волосами, правильными чертами лица и матово-бледный, он производил сразу на всех крайне приятное впечатление.

„Он был уже известен в Петербурге мелкими рассказами из народного быта, чрезвычайно остроумными, которые печатались в фельетонах именно той газеты, возле которой теперь он нанял квартиру.

„Глебцов был в то же время известен и в Москве, где недавно жил, и в Петербурге, куда теперь переехал, своими победами над прекрасным полом. Повсюду, куда Глебцов являлся, начинался роман".

В этом отрывке Салиас, на правах беллетриста, смешал воедино две разные коммуны — слепцовскую и „гречевскую", то есть ту, которая еще до слепцовской коммуны возникла в доме действительного статского советника Греча на Мойке, близ Почтамтского моста. Там помеща-

лась редакция обновленной „Северной пчелы“ и там случайно занимал квартиру сотрудник этой газеты, „загадочный человек“ Бенни, революционный деятель, приятель Слепцова. В его-то квартире сама собой сложилась коммуна, в которой жил одно время граф Салиас. Эту коммуну, как мы видели, изобразил Лесков в своей брошюре, посвященной Артуру Бенни. Слепцов был обитателем этой коммуны, но эпизодическим, в качестве гостя, и никакого участия в ее хозяйственных делах не принимал. Так что, говоря о „фаланстере“, где Слепцов состоял „президентом“, Салиас имеет в виду не гречевскую коммуну, а знаменскую, ту, которая возникла позднее, в 1863 году и возглавлялась Слепцовым.[1]

Преемственность обеих коммун несомненна. Знаменская возникла, так сказать, на развалинах „гречевской“.

Не нужно забывать, что рассказ „Двенадцать часов — воскресенье“ был написан в девяностых годах, когда из Салиаса давно уж выветрился его студенческий пыл Якобинец превратился в охранителя, и это не могло не отразиться на его воспоминаниях о слепцовской коммуне. Он придал ей обывательски-богемный характер и отнял у нее то боевое значение, какое придавал ей Слепцов.

Вообще, рассказ у Салиаса вышел хоть и бойкий, но мелкий. Его персонажи — картонные, и все совершается в пустопорожнем пространстве. Эпохой шестидесятых годов и не пахнет. Но фигура Бенни зарисована как будто с натуры. Слепцов тоже представлен в полном соответствии с фактами: даже его манера говорить передана, хоть и аляповато, но похоже. Тот, кто изучал его письма и мемуары о нем, услышит здесь в иные минуты подлинный голос Слепцова, узнает кое-какие его интонации. Даже словечки Слепцова („чаечерпий“, „ледлетрист“ и др.) Салиас запомнил точно. Впоследствии они дошли до нас и другими путями, так что биографу Слепцова несомненно придется, хотя бы ради нескольких деталей, использовать этот забытый рассказ.

---

[1] Но персонажи рассказа взяты не из слепцовской коммуны, а из коммуны Артура Бенни: в Штале нетрудно угадать самого Салиаса, в Ранышкине — Нарышкина и пр. Так что к нашей теме они не относятся.

Второе незамеченное мною свидетельство о слепцовской коммуне имеется в фельетоне нововременца Буренина, который в начале шестидесятых годов был в близких отношениях со Слепцовым и часто посещал фаланстер.

Воспоминания Буренина написаны в 1889 году в целях опровержения только что вышедших мемуаров Николая Успенского. Приводим их целиком, так как они очень кратки: два столбца в газетном фельетоне.[1]

„В какой мере правдивы воспоминания г. Успенского,— пишет Буренин,— это можно видеть из его сообщений о Слепцове и „слепцовской коммуне". Эту пресловутую слепцовскую коммуну многие из литераторов помнят до сих пор и многие бывали в ней... Собственно говоря, никакой там коммуны не было, а было нечто вроде меблированных комнат, которые оплачивались несколькими знакомыми между собой жильцами сообща. Велось также общее хозяйство. Особенными, тем более безобразными нравами коммуна не отличалась: жили в ней тихо и скромно человек пять мужчин, принадлежавших к цеху литераторов, и три-четыре женщины из цеха переводчиц. Некоторые из жильцов и жилиц состояли в так называемом тогда „гражданском браке"; но были и такие жилицы, которые никакими узами не были связаны в коммуне. Организаторами этой коммуны, очень правильно называвшейся „общею квартирою", были покойные Слепцов и Головачев. Коммуна просуществовала очень недолго и прекратилась вследствие разных неудобств экономического свойства. Вот ее настоящая неподкрашенная история. Но из истории коммуны, очень простой и ничего особенного не представлявшей, сделали легенду, приправленную самыми затейливыми и глупыми сплетнями. Про Слепцова говорили, что он играет в коммуне роль вроде Иоанна Лейденского, живет со всеми обитательницами коммуны, присвоил себе какие-то неограниченные права и т. п. Но даже и в дни существования коммуны подобным сплетням верили только те, кому хотелось верить. В наши же дни печатать подобные сплетни и верить им

[1] В. Буренин, Критические очерки, „Новое время", 1889, № 4831 (11 августа).

можно разве только в шутку. Между тем г. Успенский не только серьезно поддерживает эти сплетни, но в качестве „достоверного лжесвидетеля“ и очевидца рисует коммуну и Слепцова в самом фантастическом свете. Скромный дом Бекмана он описывает громадным, напоминающим своею внушительною наружностью дворец. На лестнице, ведущей в коммуну, он ставит швейцара с булавой, экзотические растения и статуи греческих богов. Квартиру коммуны, в которой, помнится, была одна гостиная в три окна и затем комнат семь-восемь очень скромных размеров, он называет „роскошной, с необозримой анфиладой комнат, освещенных люстрами, лампами с затейливыми абажурами и бра на стенах“. Слепцов пьет шартрез, шато д'икем, шато-марго, лафит, является с утра до ночи окруженным барышнями, которые без всякого милосердия осаждают его вопросами: „что им делать? какую стезю жизни избрать?“ А он надуется какого-нибудь шартрезу и возвещает: „надо итти в народ“. Коммуна была будто бы закрыта по распоряжению начальства. „Левитов уверял меня, — продолжает „воспоминать“ г. Успенский, — что в этом раю Магомета между гуриями, которые все поголовно пылали неукротимой страстью к красивому литератору [т. е. к Слепцову], возникли такие конфликты, которые грозили превратиться в рукопашные схватки и даже побоища“. Правда, почтенный автор оговаривается, что он придает мало вероятия сообщению Левитова, но тем не менее все-таки сообщает такой заведомый вздор о „красивых гуриях“.

Изложенные здесь нейтральные факты заслуживают полного доверия. У Буренина не было никакого резона уклоняться от истины, сообщая, сколько комнат было в фаланстере и сколько окон имела гостиная. Но когда, подобно Салиасу, он пишет, что это была затея невинная, аполитичная, вполне обывательская, будто „никакой там коммуны и не было“, мы объясняем его лжесвидетельство тем, что он, подобно Салиасу, в то время был уже в числе ренегатов и оценивал эпоху шестидесятых годов не так, как воспринимал ее в молодости. Личные симпатии к Слепцову остались у него неизменны, но их мотивировка теперь изменилась. Незадолго до той

статейки, которую я сейчас процитировал, он напечатал в „Новом времени“ очень сочувственный фельетон о Слепцове, где с сокрушением указывал, что Слепцов нередко губил свой блестящий талант „праздной игрой в агитацию“.[1] Несомненно, что в шестидесятых годах эта „игра в агитацию“ не казалась Буренину праздной, так как он и сам в своих тогдашних писаниях весьма ретиво занимался ею. Теперь, возненавидев „агитацию“, он естественно старается оградить от какого бы то ни было касательства к ней милую ему по воспоминаниям коммуну. В лучшем случае это — самообман, ибо, как мы только что видели, Слепцов старался создать фаланстер с „агитационными“ целями, на подобие того, который был изображен Чернышевским, и, если в недрах тогдашнего общества этот фаланстер оказался неосуществимой утопией и выродился в самые ординарные „комнаты с мебелью“, — отсюда отнюдь не следует, что именно к этому Слепцов и стремился. Цели у него были, как мы знаем, иные.

Стремясь доказать, что коммуна была совершенно невинной затеей, Буренин ссылается на то обстоятельство, что она закрылась без всякого нажима со стороны полицейских властей. Но он умалчивает, что, если бы она не закрылась сама, ее непременно закрыли бы, так как недаром муравьевская комиссия, арестовавшая Слепцова в связи с каракозовским выстрелом, поставила ему в вину главным образом основание этой коммуны.

В заключение приведу еще один документ, относящийся к истории коммуны. Это письмо Слепцова к знаменитому рассказчику И. Ф. Горбунову:

„Вы мне сказали, что на 2-й день праздника, то есть в Четверг, вы свободны вечером, по этому случаю я, рассчитывая на вашу доброту, назначил на этот день чтение. Если вы не приедете, то погубите нас. Чтение будет у нас. Читать будут: Салтыков, С. В. Максимов, Курочкин, вы и я. Кроме того играть будут Серов с женой“.

Письмо напечатано в роскошном, но несуразном издании „Сочинений И. Ф. Горбунова“, которое вышло в 1907 году „под наблюдением Комиссии при Комитете

[1] „Новое время“, 1888, № 4288 (февраль).

состоящего под высочайшим государя императора покровительством императорского общества любителей древней письменности".

Никаких пояснений к письму не дано. „Любители древней письменности" не попытались даже установить его дату. Между тем несомненно, что праздник, который упоминается здесь, — рождество того самого 1863 года, когда была основана коммуна. Второй день этого праздника приходился в том году как раз в четверг. Слова Слепцова „чтение будет у нас" означают, что литературно-музыкальный вечер должен был происходить в коммуне. Коммуна была кровно заинтересована в том, чтобы этот вечер удался: „если вы не придете, то погубите нас", — обращается Слепцов к Горбунову от лица своего фаланстера. Вообще это не обычный вечер, а торжественный — с участием самых больших знаменитостей. Слепцов, Горбунов и Максимов были лучшие в России исполнители так называемых „сцен из народного быта" — модного в то время литературного жанра.

Нет сомнения, что это — тот самый вечер, о котором впоследствии вспоминал Скабичевский: „Не простой вечер, а литературно-музыкальный концерт с благотворительной целью".

„Концерт продолжался не менее трех часов, — читаем в мемуарах Скабичевского, — но из всего содержания его у меня только и осталось в памяти исполнение Серовым в четыре руки, вместе со своей супругой, увертюры из оперы „Робеспьер", да изображение генерала Дитятина И. Ф. Горбуновым, которого я в первый раз тогда услышал не на сцене, а в частном кружке".[1]

---

[1] А. М. Скабичевский, Литературные воспоминания, под ред. Б. Козьмина, М.—Л., стр. 228.

МАТЕРИАЛЫ

ПИСЬМА ДРУЖИНИНА ЛЬВУ ТОЛСТОМУ

1856—1859

Письма Дружинина к Толстому до сих пор почти не появлялись в печати. Известны были только те из них, которые даны в примечаниях к „Полному собранию сочинений Л. Н. Толстого", да два-три отрывка, воспроизведенные очень неточно в бирюковской „Биографии" Толстого. [1]

Никаких пояснительных примечаний к публикуемым здесь письмам не требуется, так как обширным комментарием к ним служат напечатанные на предыдущих страницах статьи „Лев Толстой и Дружинин" и „Неизвестный Петров". Исключение составляют лишь те письма, которые связаны с цензурной судьбой толстовского рассказа „Разжалованный". Я говорю о двух письмах, относящихся к декабрю 1856 года. Они нуждаются в особых комментариях.

До сих пор „Разжалованный" печатался под заглавием „Встреча в отряде с московским знакомым", и в нем читателя не могло не смущать высокомерное и брезгливое отношение Толстого к несчастному герою рассказа. Толстой даже не позволял ему выбранить своих офицеров, которые чуть не все поголовно были „башибузуки" и пьяницы. Всякий раз, когда р а з ж а л о в а н н ы й начинал осуждать этих низкопробных людей, автор прерывал его изъявлениями своей солидарности с ними.

Теперь из дружининских писем мы видим, что в этом чрезмерно суровом отношении к р а з ж а л о в а н н о м у виноват отнюдь не Толстой, а тогдашний попечитель петербургского учебного округа, либеральный князь Григорий Алексеевич Щербатов.

Князь прочитал в рукописи толстовский рассказ и через Дружинина любезно предложил молодому писателю устранить оттуда неудобные строки.

---

[1] См. П. Б и р ю к о в, Биография Л. Н. Толстого, т. I, М.—Л. 1923, стр. 134—135. Вместо „товарищей" напечатано „читателей", вместо „пункте" — „журнале" и т. д., причем письмо, относящееся к 1858 году, отнесено почему-то к „началу 1856 г."

В бумагах Дружинина сохранился листок, где рукою Александра Васильевича записаны требования князя Щербатова:

„1, изъять те места, где автор выражает соч[увствие] нападкам Г[уськова] на К[авказских] оф[ицеров].

„2, дать рассказу др[угое] название..." [1]

Это не было грубое распоряжение цензора, это был благожелательный совет либерального и просвещенного сановника. Но, конечно, совет был равносилен приказу, так как князь Щербатов стоял во главе всей цензуры. И Толстой подчинился ему. Он зачеркнул отличное заглавие „Разжалованный", выбросил всякое упоминание о том, что Гуськов был заточен в крепостную тюрьму, и устранил те строки, где автор выражает свою солидарность с суждениями Гуськова о русском офицерстве на Кавказе.

Эти искажения извратили самую идею рассказа, но даже после революции в изданиях Гиза рассказ Толстого печатался в искалеченном виде под старым заглавием „Встреча в отряде". Лишь в 1932 году, после того как в журнале „Звезда" мною была изложена цензурная история „Встречи", Гиз напечатал этот рассказ под его настоящим заглавием.

Как мы видели выше (см. письмо к Дружинину на стр. 48), Толстой сообщает, что этот рассказ был первоначально написан им для того „Военного листка", который он намеревался издавать в Севастополе, во время войны. Этот „Листок", как известно, не был разрешен Николаем, и „Разжалованный" остался в бумагах Толстого. Когда в конце 1856 года Дружинин обратился к Толстому с просьбой дать какой-нибудь очерк в декабрьскую книгу „Библиотеки для чтения", Толстой отвечал ему следующее:

„...для вас же почти готово: был написан для имевшего издаваться „Военного журнала", правда, крошечный эпизодец Кавказский, из которого я взял кое-что в „Рубку леса" и „Юность", — потому надо переделать".

Этими строками устанавливается дата написания рассказа — осень 1854 года.

Кроме того здесь дано указание на своеобразные методы толстовского творчества: написанный рассказ явился для него как бы фондом поэтических образов, откуда он неоднократно черпал при писании других произведений.

---

[1] Весь листок почтового формата исписан очень беглыми строками — очевидно во время беседы с князем Щербатовым. Я воспроизвожу только ту запись, которая относится к Толстому.

Впоследствии, приехав в Петербург, Толстой тщательно отделал этот „почти готовый" рассказ и отдал его Дружинину.

Любопытна роль Дружинина в этой цензурной истории. Казалось бы, в качестве редактора того журнала, где печатался толстовский рассказ, Дружинин должен был защищать этот рассказ от покушений цензуры, а он, как мы видим из публикуемого ниже письма, посоветовал Толстому не только подчиниться всем требованиям сановного цензора, исказившего толстовский рассказ, но вычеркнуть даже то, против чего цензор не сделал никаких возражений! Свой необычный совет он мотивировал тем, что председатель цензурного ведомства показался ему „милым и прекрасным".

Когда Толстой под влиянием Дружинина исполнил желание „милого и прекрасного" цензора, Дружинин похвалил его за „кротость":

„В своих отношениях к цензуре он [Толстой] спокоен, тих и уступчив, — сообщал Дружинин Тургеневу тотчас же после этого случая и прибавлял, что „это обстоятельство весьма важно", потому что показывает в Толстом писателя, „глядящего далеко и не ярящегося от мелких мизерий". [1]

Сам он никогда не „ярился" и ставил себе это в большую заслугу.

Даже со свирепым Фрейгангом он не вступал в препирательства:

„Сотрудники его [Дружинина] сами ведут борьбу с цензорами, а он ничего не знает и говорит, что Фрейганг необыкновенно мил и ласков", — сообщал о нем Елисей Колбасин Тургеневу. [2]

Колбасин, по обыкновению, упрощал и утрировал. Несмотря на все крайности своего „примирения с действительностью", Дружинин нередко и словом и делом восставал против цензурных притеснений, но восставал как консерватор, как тори, как принципиальный сторонник цензуры. В его архиве довелось мне найти составленную им в 1859 году обширную записку „О настоящем положении цензуры драматических произведений, о ее влиянии на упадок русского театра и о средствах противодействия означенному упадку". Записка пародирует английский парламентский стиль и заключает в себе чрезвычайно лойяльный протест против „жестоких и бессмысленных цензурных неистовств". С обычным своим чинным спокойствием Дружинин приводит ряд хорошо обоснованных доводов против подчинения театральной цензуры Третьему отделению и шефу жандармов и внушительно требует, чтобы великие трагики были „изъяты из произвола

---

[1] „Тургенев и круг „Современника", М.—Л. 1930, стр. 202.

[2] Там же, стр. 331.

разных титулярных и коллежских советников", требует „нового пересмотра и пропуска лучших русских пьес, запрещенных цензурою", требует, чтобы, наконец, разрешили комедию Островского „Свои люди — сочтемся" и тургеневскую пьесу „Нахлебник", чтобы не выбрасывали из произведений Шекспира и Шиллера выпадов против царей и т. д., но при этом принимает все меры, чтобы властям не могло показаться, будто вообще он питает к цензуре какие-нибудь враждебные чувства. Он так и заявляет в записке: „Общая Гражданская ценсура, пережившая трудные эпохи, гордится именами ценсоров, друзей науки и защитников изящного. Против постыдных имен Елагина, Фрейганга и др. она может выставить имена таких людей, как Аксаков, Никитенко, Крузе, Гончаров и Бекетов..."

Словом, даже то учреждение, от которого он сам столько претерпел, как писатель, казалось ему достойным сочувствия. Как истый тори, он не дерзал посягать на учреждения своей „великой отчизны" и если нападал на какие-нибудь изъяны цензуры, то в интересах самой же цензуры.

1

Спб. 15 сент[ября 1856.

Любезнейший друг Лев Николаевичь, прибыл я в Петербург, вступил в управление журналом [1] и нашел дела в порядке. Ковалевский и Панаев вам кланяются. Дайте мне о себе весточку, что с Вами, здоровы ли, как идут ваши дела. Если еще долго останетесь в деревне, то дайте Ваш адрес, я вам вышлю Библиотеку для Чтения.

Теперь с полной откровенностью объявляю вам следующее, как доброму приятелю и товарищу. Уделите мне день или два Вашего уединения и напишите мне хотя самую крошечную статейку, отрывок, эпизодец из севастопольских воспоминаний для последних книжек Библ[иотеки для чтения] пока Вы еще не связаны условием. [2] О том, что меня этим обяжете весьма, вы сами знаете, и я знаю, что вы это сделаете, если только время и обстоятельства вам позволят. Потому то, не докучая вам и не требуя от вас того, что неудобно, заявляю вам мое прошение. Исполните его, я буду в полной радости, а нет, — так я буду знать, что вам было нельзя. Будьте же здоровы и не забывайте глубоко любящего Вас товарища

А. Дружинина.

(Ответ Толстого на это письмо см. выше на стр. 47).

---

[1] „Библиотекой для чтения", редактором которой стал Дружинин в 1856 году.
[2] То есть тем договором, согласно которому Лев Толстой, Тургенев, Островский и Григорович с начала 1857 года обязывались помещать свои произведения в одном лишь „Современнике".

2

Спб. 6 окт[ября 1856]

Порадовали вы меня, дорогой и милейший баши-бузук, и письмом вашим и доверием к моему вкусу, и Юностью, которую я сейчас кончил.[1] Я вас очень люблю и вижу перед вами славную дорогу, на которой однако будут и Кирюши, и напрасные труды, и огорчение и борьба с литературным безобразием, весь акомпанимент самой лучшей деятельности. Но участь ваша решена, литератором вы должны быть навсегда.

О Юности надо написать двадцать листов. Я читал ее с озлоблением, с криками и ругательствами — не по случаю литературного ее достоинства, а по случаю тетради и почерков. Это смешение двух рук, знакомой и незнакомой, отвлекало мое внимание и мешало толковому чтению. Будто два голоса кричали мне в ухо и нарочно меня сбивали, и я знаю что оттого впечатление не имело нужной полноты. Однако скажу вам, что могу.

Задача ваша ужасна и вы ее выполнили очень хорошо. Ни один из теперешних писателей не мог бы так схватить и очертать волнующийся и бестолковый период юности. Для людей развитых ваша Юность доставит великое наслаждение, и если кто вам скажет, что эта вещь хуже Детства и Отр. тому вы можете плюнуть в физиономию. Поэзии в вашем труде бездна — все первые главы превосходны, только вступление сухо, до описания весны и выставления рам. Потом превосходен приезд в деревню, перед ним описание семейства Нехлюдовых, объяснение отца перед вступлением в брак, глава Новые Товарищи и Я проваливаюсь. От многих глав пахнет поэзией старой Москвы, никем еще не подсмотренной как должно. Кутеж у барона З. удивителен. Недостатки (я все говорю с точки зрения понимающих людей, а о массе скажу потом) заключаются в следующем. Некоторые главы сухи и длинны, например все разговоры с Дмитрием Нехлюдовым, изображение отношений к Вариньке, и та, где говорится о семейном п о н и м а н и и. Длинна также пирушка у Яра, и перед ней визит Грана с Илинькой. Рекрутство Семенова нецензурно.

Рассуждений не бойтесь, они все умны и оригинальны. Есть у вас поползновение к чрезмерной тонкости анализа, которая может разрастись в большой недостаток. Иногда вы готовы сказать: „у такого то ляшки показывали, что он желает путешествовать по Индии". Обуздать эту наклонность вы должны, но гасить ее не надо ни за что в свете. Вся ваша работа над своим талантом должна быть в таком роде. Каждый ваш недостаток имеет свою часть силы и красоты, — почти каждое ваше достоинство имеет в себе зернушки недостатков.

Слог ваш совершенно подходит к этому заключению. Вы сильно безграмотны, — иногда безграмотностью нововводителя и сильного поэта, переделывающего язык на свой лад, и навсегда, — иногда же безграмотностью офицера, пишущего к товарищу и сидящего в каком нибудь блиндаже. Наверно можно сказать, что все пассажи писанные с любовью, у вас превосходны, — но чуть вы холодеете, у вас слог путается и являются адские обороты речи. Поэтому места писанные

[1] См. письмо Льва Толстого Дружинину, напечатанное в настоящем издании на стр. 47).

с холодностью надо бы пересмотреть и выправить. Я пробовал было выправлять местами и кинул, эту работу только вы сами можете и должны сделать. Для системы же разумного поправления могу сказать главное только: избегайте длинных периодов. Дробите их на два и на три, не жалейте точек. С частицами речи поступайте без церемонии, слова что, который и это марайте десятками. При затруднении берите фразу и представляйте себе, что вы ее кому нибудь хотите передать гладким разговорным языком.

Пора кончить, а надо бы говорить еще много, много. Для массы читателей мало развитых Юность понравится гораздо менее, чем Детство и Отрочество. За эти вещи говорил их малый объем, и некоторые эпизоды в роде рассказа Карла Ивановича. Самый пустой человек хранит несколько детских воспоминаний и радуется когда ему истолковывают их поэзию, но период Юности, — (той смутной и нескладной юности, обильной щелчками и унижениями которую вы перед нами раскрываете), — обыкновенно затаивается в душе, а оттого меркнет и забывается. Приблизить ваш труд к пониманию масс можно весьма долгим трудом, двумя тремя забавными эпизодами и так далее,— но сделать его совершенно по вкусу большинству всему, едва ли кто может. По замыслу и по сущности труда — ваша Юность будет гастрономическим куском лишь для людей мыслящих и чующих поэзию

Уведомьте, пересылать ли вам рукопись, или отдать ее Панаеву. Ею вы не сделали огромного шага в какую нибудь новую сторону, но показали что в вас есть и чего мы еще от вас дождемся. Имени вашего вы ею не уроните даже у массы читателей. Да кстати, напишите мне об одном для меня важном деле: Могу ли я печатать вашу и Тургенева повесть в 1857 году, т. е. после Декабря? Григорович обещал к февралю, стало быть ваше условие не стесняет вас относительно этого предмета. А мне оно важно — что я буду делать если статьи столпятся в один №? Здесь никого нет и никто ответа дать мне не может. Вы пишете, что жалеете об условии с Совр[еменнико]м, и об этом предмете надо бы написать вам целую тетрадь. Жалеть уже поздно, а надо извлечь из этого свершившегося дела наибольшую пользу для вас четверых и для литературы. Для меня яснее дня, то, что вы трое, (Григоровича я не считаю и вы вероятно тоже) должны иметь контроль над журналом и быть его представителями. Спешите же ознакомиться с ходом журналистики, изучить теории Белинского, потому что на этом пункте будет у вас огромное разногласие, изготовиться к делу, и посредством взаимного соглашения, и где можно, уступок, приять голос вам подобающий. Не принимайтесь за дело круто и довремени терпите безобразие Чернышевского, хотя теперь вы все некоторым образом за него отвечаете. За то высмотревши все и решившись, поднимайте голос и стойте за свои мнения. Обо всем этом поговорите с Боткиным в Москве, — он человек драгоценный и высоко образованный, и любящий, и желающий добра. Поездка Тургенева за границу во многом должна изменить его т. е. Тургенева понятия, по его сочувствию к моим последним статьям я кажется вижу что в нем готовится перелом мнений. Берегите его и любите, только не давайте ему впадать в рабство перед мертвечиной.[1]

[1] На языке дворянской группы сотрудников „Современника" мертвечиной именовались писания Чернышевского.

Однако мое письмо что то похоже на духовное завещание. Прощайте милейший друг, не забывайте меня. Дела мои идут не дурно. Обнимаю вас от всего сердца.

А. Дружинин.

Детство, Военные Рассказы я получил, и очень благодарю Вас за память.

(Ответ Толстого на это письмо см. выше на стр. 50).

3

[Петербург, 2 декабря 1856.]

Суббота

Любезнейший друг Лев Николаевичь, Гончаров сообщил мне сейчас, что Фрейганг, не зная о пропуске вашего рассказа Военной цензурой, представил его кн. Щербатову на рассмотрение.[1] Не хотите ли побывать у князя и поговорить с ним об этом. Я все утро Воскресенья дома, но Гончаров говорит, что у него лучше быть в Понедельник утром.

Весь Ваш

А Дружинин.

Городск. почта
1856
дек. 2
12 час.

Его Сиятельству
графу Льву Николаевичу
Толстому.
На углу 6. Мещанской и Вознесенской,
в дом Блюмера

4

[Петербург, начало декабря 1856.

Милейший друг Лев Николаичь, кн. Щербатов мил и прекрасен. Он просит вас о след: 1-е переменить заглавие, 2) смягчить резкие выражения об офицерах и вообще Кавказцах, 3) показать от лица автора, что он возмущен был злостными отзывами Гуськова о его товарищах и храбрых воинах. За тем он пропускает всю вещь. Смягчите же историю даже более чем он просит, и верните корректуры поскорее. Я думаю, можно бы исключить крепость и вообще что встретится в этом роде. Когда вы познакомитесь с Щербатовым и вообще его оцените, вы поймете мою щекотливость, надо беречь такое сокровище для нашей же пользы.[2]

Весь Ваш

А. Дружинин.

---

[1] Речь идет о рассказе Толстого „Разжалованный" (первоначальное заглавие „Встречи в отряде"). — Фрейганг — цензор. — Князь Г. А. Щербатов — попечитель петербургского учебного округа председатель цензурного комитета.

[2] Комментарии к этому письму напечатаны на стр. 253—255 во вступительной заметке к письмам Дружинина.

5

Петербург, 15 апреля 1858

Уведомляю вас, любезный друг Лев Николаевичь, что предсказание Григоровича совершенно не сбылось. Я выздоровел самым внезапным и неожиданным образом, в один прекрасный день болезнь ушла от меня так же необыкновенно, как и пришла: без причин, без основания и без моей вины. Выздоровление меня также озадачило как и болезнь — отчего оно произошло? чего надо избегать? чем лечиться, если болезнь придет снова? как вести себя на будущее время? — ни я, ни другой кто либо этого не знаем. Доктора начинают все сваливать на геморрой, впрочем они не скрывают того что понимают очень мало все дело. И переходного состояния я не испытал никакого, а разом стал есть, спать, употреблять женщин, работать, — без всяких усилий или какой неловкости, и совершенно так, как оно делалось прежде. Равным образом восчувствовал я сильную изобретательность и жажду деятельности. Пользуясь сим приливом энергии, спешу поговорить с вами о деле, которое нас занимало при последнем нашем свидании, и которое теперь занимает собой многих наших товарищей в Петербурге. Потребность в чисто литературном журнале с критикою, энергически противодействующею всем теперешним неистовствам и безобразиям, чувствуется в сильной степени. Гончаров, Ермил,[1] Анненков, Майков, Михайлов, Авдеев и многие еще встретили эту мысль с великим одобрением, если к этому сборищу присоединитесь Вы, Островский, Тургенев, и пожалуй наш уродивый Григоровичь (хотя без него можно и обойтись), то можно решительно сказать, что вся изящная словесность наконец соединится на одном пункте. Какой будет этот пункт, — новый ли журнал, или Б[иблиотека] для Чт[ения], взятая компанией на аренду, придумайте и сообщите ваше предположение. Здесь бо́льшая часть клонит к аренде и издатель согласен за недорогую цену. Я с своей стороны не говорю ни за, ни против, но предлагаю себя всего к услугам чисто литературного журнала, на каких бы основаниях он ни составился.

По ученой части можно считать усердными сотрудниками или просто участниками профессоров Горлова, Устрялова, Благовещенского, Березина, Зернина и теперешних сотрудников Библ[иотеки для Чтения] (я называю самых даровитых) Лаврова, Льховского, Кеневича, Водовозова, Дулилина.[2] Тургенев, хотя работник ненадежный, будет драгоценным человеком по своей хлопотливости и вообще по его положению в литературе. Но теперь не до подробностей, главное надо согласиться в общем и решить основные пункты.

Судя по участию, какое вы изьявили во всем деле, я рассчитываю получить от Вас предположения ваши на этот счет. Между прочим передаю Вам и следующую просьбу — так как я все таки остаюсь при моих настоящих занятиях, а составление нового журнала может протянуться еще на долго, то я en attendant[3] прошу у Вас позволения включить вас в число сотрудников Библиотеки для Чтения. Не

---

[1] Прозвище, данное Дружининым Писемскому.

[2] А. П. Зернин — харьковский профессор русской истории. И. В. Лавров — писатель по сельскому хозяйству. В. Ф. Кеневич — педагог и библиограф. И. И. Льховский — критик, и т. д.

[3] Тем временем.

располагайте всеми вашими статьями. не оставивши для меня, к осени, какой нибудь вещи по Вашему усмотрению, на условиях, какие Вы сами назначите. Надоедать же вам на этот счет я не стану, зная, что Вы и без моих упрашиваний сделаете для меня все от вас зависящее.

Черкните мне несколько слов обо всем этом и вообще о вашем житье, предположениях, и о здоровьи Марьи Николаевне [sic!], которой передайте мой низкий и усердный поклон. Да сообщите Ваш адрес. По делу о новом журнале нам необходимо списываться, я боюсь, чтоб опять силы не раздробились, а их достаточно только на одно хорошее издание. Все равно, на каком основании предприятие будет задумано, лишь бы мы все в нем собрались. Поэтому летом, когда вы будете часто видеться с Тургеневым, постарайтесь взять над ним влияние, и направить сего милейшего, но шаткого . . . . . к одной общей цели.

По всему, что он мне говорил стократно, его должна занять мысль о журнале такого рода, но как полагаться на то, что им было высказываемо? Пусть он сообразит, до какой похабной степени доведены наши журналы раздроблением сил: один Русский Вестник держался хорошо, и тот вылинял с отделением Атенея, Атеней же все таки бледен. Про Петербург и говорить нечего.

Прощайте, будьте здоровы и не забывайте преданнейшего Вам

А. Дружинина.

(Ответ Толстого на это письмо см. выше на стр. 60).

6

СПбург 15 мая [1885.]

Спасибо Вам, — милейший друг Лев Николаевичь, за письмецо Ваше. Мне самому стало весело, что есть хорошие люди, для которых мое существование интересно. Приглашение Ваше пожить в Ясной Поляне повергнуло меня в большое искушение: лучшей жизни и лучшей компании я не могу себе вообразить в моем настоящем положении, при остатках душевной и физической усталости, — но беда в том, что обстоятельства не позволяют мне и думать о такой жизни. Крестьянское дело ставит меня в положительную необходимость съездить в имение, присмотреться к тому, что делают и толкуют умные и практические помещики, а затем подумать и о хозяйстве.

До сих пор, по старой покойной рутине, дела шли сами собою и матушке моей было легко ладить с ними, — хозяйство было для нее легким развлечением, — понятно, что теперь будет непристойно взвалить на нее все хлопоты и новые порядки. Если в половине лета мне удастся урваться на волю, я съезжу в Москву и оттуда в Ваши края, но когда именно и на сколько времени, того и сам еще не знаю. Здесь повсюду царствует пустота и безлюдье. Я бы давно удрал в деревню, тем более, что и дела мало, — но все идут дожди, а у меня был геморроидальный нарыв, который не вполне еще зажил и не пускает меня в дорогу. Доктор говорит, что это очень хорошо, — я впрочем чувствую только то, что . . . . . больно. Не поехать ли лечить ее на Рейн, совокупно с . . . ами Тургенева?

Анненков велик, хотя от него нет ни строки. Ударяя себя по бедру, он в марте месяце требовал весны, зелени, Италии и к

сов. Оказалось, что он поехал в Берлин и просидел там лучшую часть весны, неизвестно зачем. Это совершенно в его роде, — теперь же он, как кажется, совокупившись с Тург[еневым] и Васинькой живет в Англии. Вот тебе и кипарисы! Я бы хотел, чтобы их всех троих выслали в Россию за праздношатание и . . . . ение языком, которому они конечно предаются неумолчно.

То, что вы пишете о журнале совершенно новом, кажется мне удобоисполнимым лишь при двух условиях, 1) огромном основном капитале, который дал бы средство терпеливо ждать внимания публики и 2) при неутомимой ярости участников по части работы. К сожалению Вы знаете, что наш круг не трудолюбив, а денег приходится ему занять у французского короля. Поэтому то участь Атенея и 1000 подписчиков будут уделом совершенно нового журнала. Мне сказывал Григоровичь, что будто бы Фет мечтает о новом журнале и, что хуже, думает дать на него свои деньги. Защитите его от такой беды, (если слух справедлив) и объясните ему, что в теперешнее время журнал может удасться лишь в таком случае, если в основание его пойдет или очень много денег, или очень много живых сил. Я по прежнему предлагаю все свои средства на услужение журналу литературному и анти-дидактическому, — но лишь в таком случае, если он будет силен, — за чахлое же и хилое издание не рассчет приниматься, когда у меня самого идет к трем тысячам подписчиков. Но пусть мне сообщат, что дело действительно пошло, широко и крепко, я тотчас же брошу все выгоды и приму всякую должность в новом издании, за какое вознаграждение, которое бы меня чуть чуть обеспечивало в жизни.

Прощайте, любезный друг, пишите хоть изредка. Обнимаю Вас

А. Дружинин

7

СПб 10 февраля [1859]

Я сделал распоряжение, любезнейший друг Лев Николаевичь, о высылке Вам 150 р. с. за Три Смерти,[1] ежели бы эта сумма не сошлась с рассчетом Вашим, то уведомьте. На счет романа благодарю Вас и буду ждать его окончания, только попрошу Вас назначить положительную цифру с листа, потому что иначе я могу назначить Вам менее, а вы, хотя и зовете себя кулаком, но поцеремонитесь изменить ее, думая, что возвышение цены будет для меня обременительно. Фет писал мне, что вы перемарали все начало романа.[2] Если этот роман — тот самый, которого начало читали Вы мне у достопамятной m-me Ketterer на женевском озере,[3] — то я удивляюсь, чем вы в нем недовольны. Я не очень снисходительный судья (и тогда же доказал вам это по поводу „Поврежденного“, там же читанного)[4] но тут мне все казалось отлично. Знаете, иногда полезно проверять себя по самым простым слушателям. Выберите какого нибудь неглупого москвича

[1] „Три смерти“ Льва Толстого были помещены в первой книге дружининской „Библиотеки для чтения“ за 1859 год.

[2] Романом Дружинин именует здесь повесть Толстого „Казаки“.

[3] В пансионе Кеттерер (в Швейцарии) Толстой жил в начале лета 1857 года.

[4] „Поврежденным“ назывался тогда тот рассказ Толстого, который в окончательной редакции был озаглавлен „Альберт“.

или Кавказского офицера, по году не заглядывающего в наши журналы, и посоветуйтесь для разнообразия с таким господином. По поводу Дворянского Гнезда я теперь наблюдаю отзывы, и вижу, что знатоки дела большей частью городят бесцветный вздор. Когда Тургенев читал ее в рукописи, наши друзья источали потоки меда, с важным видом строили замечания на счет отдельных фраз и пользы не принесли никакой. Не говорите этого никому из них, хотя, впрочем, я не скрываюсь, и им это тогда же высказал.

Фета, когда увидите, поблагодарите за стихи, я их получил в исправности. Так как в Марте идет его Юлий Кесарь,[1] то я их пущу в Апреле. В краткий свой приезд сюда Фет несколько раз был истинно велик, и его проэкт о выколонии глаз всем итальянцам до сих пор вспоминается нами не без умиления. В его Кесаре есть превосходные места, но весь перевод не разойдется в публике очень сильно: в языке большая напряженность, неисправимая потому, что он сам увлекается напряженностью и в Шекспире любит необыкновенные загогулины, по его собственному выражению. В подражание ему составлены два стиха, героем которых наш несравненный Павел Васильевичь:

Богатством — Крез. Но Ир же он — скряжливством:
Обед — в треть века раз; — с большой натугой!

Основываясь на этих стихах, Анненков говорит, что теперь он считает невозможным дать обед, ибо все скажут, что он побужден к тому насмешкою.[2]

Прощайте, дорогой Лев Николаевичь, сообщите при случае, долго ли вы пробудете в Москве, — может быть я поеду к вам в конце великого поста. От моей болезни, которая прошла совершенно, осталась у меня какая то inamusable'ность [3] выражающаяся в желании переменять места и людей. Когда на меня находит отвращение к Петербургу, я удаляюсь в Царское Село, где у меня живет несколько знакомых, но теперь и этого оказывается мало. Если бы не эти похабные расстояния, как бы желал я встретить весну в Венеции. Теперь и денег много, и время есть свободное, но даль меня пугает, пожалуй опять себя измучишь переездами.

Матушка благодарит Вас за память и сама весьма хотела бы с вами повидаться. Передайте мое душевное приветствие всем добрым

---

[1] „Юлий Цезарь" Шекспира в переводе Фета был напечатан в „Библиотеке для чтения" в марте 1859 года.

[2] В эпиграмматической литературе пятидесятых годов не раз высмеивалась скупость П. В. Анненкова. Ср. у Некрасова:

Хоть налегает он сугубо
На кухню Английского Клуба,
Но сам пиров не задает.

И еще:

Где Анненков, чужим наполненный вином...

Эпиграмма, приведенная Дружининым, является пародией на переводческий стиль Фета, отличавшийся обилием архаизмов и неестественным синтаксисом. Тот же перевод „Юлия Цезаря" Тургенев, как известно, пародировал так:

Брыкни, коль мог, большого пожелав,
Стать им; коль нет — и в меньшем без препон.

[3] Сумрачность.

московским приятелям. Боткин писал мне, что все хворает, а другие писали мне, что он хандрит, — и обливает ядом всех входящих с ним в сношения. Посоветуйте ему ехать в Петербург, да взять на содержание какую нибудь нимфу веселого характера, — это весьма умягчает сердце.

Обнимаю Вас

А. Дружинин.

8

Спб. 29 Марта [1859.]

Дело ваше с Кушелевым,[1] любезный друг Лев Николаевичь, на днях решится,— но чтоб не заставить вас ждать еще несколько дней полного ответа, сообщу Вам то, что сделано до сей поры. Может быть я не так понял слова ваши перед отъездом, только до получения вашего письма я все ждал Полонского, сам же не ехал к нему, думая что вы сами уже обо всем с ним перетолковали. Получив письмо, я тотчас же побывал у него. Он сказал мне, что в тот же день узнает окончательное намерение Кушелева и даст ответ без замедления. Вероятно, что ответ придет сегодня или завтра, и я его вам доставлю.

Полонский говорит между прочим, что кажется Куш[елев] желал бы издать не часть ваших сочинений, а все.[2] Я ему сказал, что по всей вероятности с вашей стороны к этому препятствий не окажется, но что, конечно, условия должны быть иные. Более ничего я сообщить не мог. Из письма Вашего к Кушел[еву] я выписал названия повестей и передал Полонскому, письмо же оставил у себя. Да и вообще передать его невозможно,— вы его подписали не просмотревши, а ваш переписчик начал его такими возваниями:

Ваше Сиятельство
Милостивый Государь
Граф . . .

Впрочем, письма к Кушелеву и не понадобится. Был я на днях у Ислявина, он прекрасен, как и прежде, я буду продолжать с ним видеться. У жены его грип. Унт[ер] Оф[ицера] Петрова прикомандировывают к Канц[елярии] Военного Министра, он сидел у меня недавно часть вечера, был очень умен и доволен новым назначением.[3] Тургенев на сей раз не оставил больших сожалений о себе — он так был предан своим безобразным хохлам[4] и разным ярыгам в роде Маркевича, что оно уж было нехорошо. Для пользы отечества и его собственной его бы полезно держать под стражей в деревне месяцев 6

---

[1] Граф Григорий Ак. Кушелев-Безбородко — меценат-самодур, издатель.

[2] Поэт Я. П. Полонский был одним из литературных советников графа Кушелева.

[3] О Петрове см. выше статью „Неизвестный Петров".

[4] Под „безобразными хохлами" Дружинин несомненно разумеет раньше всего Тараса Шевченко и окружавшую его группу живших в Петербурге украинцев. Тургенев, по догадке И. Айзенштока, познакомился с Шевченко в середине февраля 1859 года (См. „Твори Тараса Шевченка", Киев, 1929, т. III, стр. 883—887).

А. В. Дружинин

и отпускать в город с другою стражей, которая бы отгоняла от него всех его приятелей, более или менее подлежащих каторжной работе. Бедный наш мудрец Фет сделал fiasco своим Ю. Цезарем, над переводом смеются и вытверживают из него тирады, на смех. Павел Васильевич — один из неумолимейших его гонителей. У меня за 1859 год прибыло 678 подписчиков считая по вчерашний день. Более новостей нет.

Крайне желаю быть у вас в Ясной Поляне, но верного еще на этот счет ничего не знаю. В нашей семье горе — старшая моя племянница Маша на прошлой неделе была на волосок от смерти, и хоть теперь вышла из близкой опасности, но болезнь ее приняла формы болезни изнурительной. Это первая беда за много лет, мать, отец и обе бабушки в отчаянии, и я сам должен признаться, что искренно воссылаю богу благодарение за то что у меня нет детей. Видеть бедного исхудавшего ребенка, наблюдать за ним и его страданиями, это больно и горько выше всяких слов. Пока не произойдет чего нибудь положительно успокоительного, я ни на шаг из Петербурга.

Кланяйтесь Боткину и Островскому. Я очень рад, что Василька стал протопресвитером Русского Вестника,[1] уж конечно Русский Вестник всем журналам, и не одним русским,— начальник. Да не давайте нашему плешивому другу засиживаться в Москве, пусть он еще прокатится в Петербург.

Душевно преданный

А. Дружинин.

(Ответ Толстого на это письмо см. выше на стр. 65).

9

[1 апреля 1859.]

Спб. Среда

Любезнейший друг Лев Николаевич, сегодни у меня был, наконец Полонский и сказал, что завтра будет решительный ответ от Куше лева. Я ему дал Ваш адрес и советовал не медлить извещением. Сколько мне кажется дела Куш[елева], т. е. его литературные и журнальные дела sont en grand désarroi,[2] и едва ли вы с этим ярыгой кашу сварите. Во всяком случае хорошо обеспечить себя форменною бумагою, иначе нельзя с господами, у которых на неделе семь пятниц.

Очень удивила меня ваша лаконическая записка и 60 р. с. По запасу ассигнаций, из которых я вынул эти деньги, вы могли видеть, что мне деньги вовсе не надобны и стало быть напрасно потратили время на сделание конверта и его отсылку. Во всяком случае, коли вам понадобятся деньги, я могу вам служить ими.

Кланяйтесь Боткину. Моя Маша очень плоха и надежды мало. Будьте здоровы.

Душевно преданный Вам

А. Дружинин.

---

[1] Весною 1859 года Василий Боткин сблизился с Катковым, редактором ретроградного „Русского вестника“, и стал принимать участие в редакционных делах журнала.

[2] В большом беспорядке.

10

Спб. 22 Апр[еля 1859.]

Спасибо вам, любезнейший Лев Николаевичь, за ваше очень хорошее письмо. Маша умерла, во всем этом горе, в ее последних днях, и в теперешнем плаче по ней так много чистоты и святости что писать об этом не следует, а когда нибудь дружески поговорить можно. Это не то что смерть взрослого человека, при которой вся душа болезненно возмущается против идеи уничтожения и перевертывается. Я не расстроен очень, но надо будет переменить место, и Май месяц я проведу не в Петербурге. Рассчитываю я так, что поеду в Москву проживу там и повидаюсь со знакомыми, а их очень много, и я не видал их два года. Затем спущусь в Ясную Поляну, в начале же Июня надо быть у себя в деревне. Если Островский не изменил своего намерения, то можем ехать вместе, или с Боткиным. Впрочем увидим на днях, а теперь погода наиподлейшая и наслаждаться весною не удобно.

Не забудьте взять с собой в деревню книгу отца Парфения, кажется Вы ее еще не знаете и вам предстоит великое за ней наслаждение.[1] О Петрове я получил весть повергшую меня в трепет — у него голова закружилась и на Пасхе он загулял. А перед тем он был у меня вечером и явился таким умным, счастливым и приличным, что сердце радовалось. Тут я упустил его из виду но теперь потребую к себе и попробую высказать ему все, что можно в подобных случаях. Еще один скачок в сторону не есть погибель, да нехорошо что дорога поганая уж изведана. До сей поры он был трезвым человеком и вполне почтенным. Обломова я рад душевно, что вы оценили и Гончарову ваша похвала будет дорога, я с вами о его романе совсем согласен. Деревенских писем я еще не читал и не знаю их автора, не читаются да и только петербургские журналы, на Современник же, при всех приятельских отношениях я не могу смотреть иначе как например на . . . . ., кинутый посреди комнаты или на бумажку, занесенную из нужника в гостиную неловким гостем. Если и мой журнал читают так же усердно, как читаю я изделия Андрея[2] и Некрасова — не лестно это! Ермил находится в порыве творчества и кажется пишет зараз и повесть и драму из народного быта.

Что это с нашим старцом Боткиным и почему это его чирьи одолевают с весною? Я помню как он испугал меня в первый раз, года за три написавши, что у него карбункул. Карбункул я знаю только по стихам Лонгинова в поэме Матвей Хотинский и всегда думал, что карбункул неизлечим.[3] Поклонитесь ему от меня всеусердно

---

[1] Иеромонах Парфений родом из Молдавии, воинствующий обличитель раскольников, обнародовал в Москве свое четырехтомное „Сказание о странствии и путешествии по России, Молдавии, Турции и Св. Земле постриженника Святыя Горы Афонския Инока Парфения" (1856). Дружинин всячески пропагандировал эту книгу. „Или я жестоко ошибаюсь или на Руси мы еще не видали такого высокого таланта со времен Гоголя... Погрузитесь в эту великую поэтическую фантасмагорию, переданную оригинальнейшим художником на оригинальнейшем языке", — писал Дружинин Тургеневу в сентябре 1858 года.

[2] Андрей Краевский, издатель „Отечественных записок".

[3] „Матвей Хотинский" — непристойная поэма М. Лонгинова. В 1854 году Дружинин записал о ней в дневнике: „Поэма выиграла бы, если бы она была грязнее".

и посовегуйте взять на содержание двух нимф, для отвлечения дурной крови. Надеюсь скоро с ним увидаться в Москве. Вас едва ли там застану, а вы напишите мне слова два перед отъездом.

Обнимаю Вас

А. Дружинин.

По всей вероятности Пав[ел] Васильевичь [1] еще у вас и ждет своего Пилада.[2] Я полон к Павлу Васильевичу беспредельного обожания. Ведь, кажется, великий хитрец и на язык плут, всех другом желает быть, всем поддакивает, готов в разговоре одобрить всякую литературную пакость, а между тем чувствуешь, что под всей этой чертовщиной честность и великая прямота, которой и не разглядишь. И что еще удивительнее, само плутовство и поддакивание его украшает. Кланяйтесь сему божественному смертному.

11

Спб. 28 Сент[ября] 1859

Любезнейший друг Лев Николаевичь, хоть Вы и привыкли, с наступлением каждой осени получать от меня редакторские воззвания и просьбы, (спасибо вам,— всякий раз не напрасные) — но все таки зная меня, не припишете настоящего письма одним корыстным целям. Прежде всего отзовитесь и скажите где Вы, что делаете, не случилось ли в жизни вашей каких перемен? Не влюбились ли? хорошо ли работается? что читаете, кого видите, с кем дружбу ведете и не приедете ли в Петербург хоть на короткое время? Не затягивайте ответа в долгий ящик, и отвечайте поскорее, да дайте ваш адрес.

Я совершенно здоров, лето провел в деревне, изредка наезжая в Петербург, перевел Ричарда III, и изготовил несколько мелких статей. Здесь нашел я порядочную пустыню, из наших чаще всего видаю Ермила, Майкова, Гончарова и Галахова. Читали ли вы вторую повесть Петрова и что о ней скажете? Этот человек меня изумляет своей воздержностью и совершенным отсутствием рутины или подражательности. Успех его не туманит, и он копирует на бело доклады, живет с франтами писарями Канцелярии В[оенного] М[инистра] и благословляет свою судьбу. Начальство его очень полюбило и я думаю, скоро вытянет в чиновники.

Туманной и грустной звездою появился на горизонте и Григоровичь. Представьте себе Григоровича, плачущегося на людей и считающего себя предметом вражды, сплегень и злословия! Вотще я его утешал всеми мерами, уверял, что его грешки давно позабыты,— он просто сбился с колеи и говорит о том чтоб переселиться в Париж и забыть гонящих его литераторов. Иногда он оживает на минуту и рассказы его о путешествии [3] выходят хороши,— но мрак на нем лежащий, не дает ему разгуляться. Писемский задумал большой роман и кончил драму, которая очень хороша, и что в нем необыкновенно,— весьма сценична, но с пропуском ее будут огромные хлопоты и не

[1] Аннеяков.

[2] То есть Тургенева.

[3] В 1859 году Григорович вернулся из длительного морского путешествия на корабле „Ретвизан".

смотря на благосклонность цензуры к Библ[иотеке] для Чтения я за нее боюсь очень.[1]

Теперь обращаюсь с обычным редакторским воззванием. Понатужьтесь немножко, любезнейший друг, и дайте еще толчок делу, которое уже многим и многим вам обязано. Что ваша большая повесть и не написали ли вы чего нибудь еще в эти месяцы? Я уверен, что вы меня не покинете, но мне нужна с к о р а я помощь. Если с драмой Писемского произойдет цензурная задержка, я в 11 книжке, так важной для публики, сяду как рак на мели. Попридумайте, что можете для меня сделать по этой части и уведомьте хотя двумя строчками. Если бы у вас что нибудь было готово к Ноябрьской книжке, я бы, по уведомлению Вашему, мог ждать рукописи хоть до 30 числа будущего октября м-ца.

Сегодня же пишу к нашему мудрецу и философу Фету, так непристойно задетому, как он выражается в своем письме „некоим господином Лабардановым".[2] Надеюсь, что эта поганая дерзость (выражений дерзость,— а в замечаниях есть правда) не возмутила его возвышенно великого и вместе с тем милейшего духа. Кланяйтесь ему от меня, коли вы в Москве.

Обнимаю Вас и прошу не забывать меня

А. Дружинин.

(Ответ Толстого на это письмо см. выше на стр. 68).

12

СПб, 15 Окт[ября 1859.]

Тороплюсь отвечать на письмо Ваше, любезнейший друг Лев Николаевичь, и как Вы вероятно догадываетесь по поводу того что Вы пишете о вашем отношении к литературе. На всякого писателя набегают минуты сомнения и недовольства собою, и как ни сильно и ни законно это чувство, никто еще из-за него не прекращал своей связи с литературой, а всякий писал до конца. Но у Вас все стремления, добрые и недобрые, держатся с особенным упорством, потому Вам нужнее, чем кому другому, подумать о том и дружески обсудить все дело.

Прежде всего вспомните то — что после поэзии и труда мысли, — все труды кажутся дрянью. Qui a bu, — boira,[3] и в 30 лет оторваться от деятельности писателя значит лишить себя половины всех интересов в жизни. Но это лишь одна трудность дела, есть кое что еще важнее.

На всех нас лежит ответственность, корень которой в теперешнем огромном значении литератора посреди рус[с]кого общества. Англичанин или американец может расхохотаться тому, что в России не только 30 летние люди, но седовласые помещики 2000 душ потеют над повестью в 100 страниц, которая, появившись в журнале, пожирается всеми и возбуждает на целый год толки в обществе. Каким художеством

---

[1] 19 августа 1859 года Писемский кончил драму „Горькая судьбина", которую Дружинин напечатал в ноябрьской книге „Библиотеки для чтения".

[2] Речь идет о статье М. Лавренского по поводу переведенного Фетом „Юлия Цезаря" („Современник", 1859, VI).

[3] Буквально: кто пьянствовал, тот будет пить и впредь.

ни объясняй этого чуда, его не объяснишь художеством. Но, что в других землях дело празднословия, беззаботного диллетантизма, — у нас выходит совсем другим. У нас дела сложились так, что повесть, — эта пустая потеха и мельчайший род словесности — выходит чем нибудь из двух, или полным . . . . ., или голосом передового человека в целом царстве. Мы, например, все знаем слабость Тургенева, но между самой его дрянной повестью и самым лучшим романом какой нибудь госпожи Евгении Тур, с ее полу-талантом, целый океан. Публика рус[с]кая по какому то странному чутью, выбрала себе из толпы писателей четырех или пятерых глашатаев и ценит их как передовых людей, не желая знать никаких соображений и выводов. Вы, частию по таланту, частью по светлым качествам вашего духа, а частью просто из стечения счастливых обстоятельств, стали в такое благоприятное отношение к публике. Стало быть тут уходить и прятаться нельзя, а надо работать, хотя бы до истощения сил и средств. Это одна сторона дела, — а вот другая. Вы член литературного круга, по возможности честного, независимого и влиятельного, который десять лет, при гонениях и невзгодах (и несмотря на свои собственные пороки) твердо держал знамя всего, что либерально и просвещенно, и выносил весь гнет великого похабства житейского, не сделавши ни одной подлости. При всей холодности света, и необразованности, и смотрения свысока на литературу, этот круг награжден почетом и нравственной силою. Слова нет, что в нем есть людишки пустые и даже глуповатые, в общей связи и они что нибудь значут, и они не были бесполезными. В этом круге вы опять таки, не смотря на то, что пришли недавно, имеете место и голос, каких например не имеет Островский, огромно-талантливый и в нравственном отношении столько же почтенный как и вы. Отчего это случилось, было бы слишком долго разбирать, да и не в том дело. Оторвавшись от круга литературного и предавшись бездеятельности, вы соскучитесь и лишите себя важной роли в обществе. На этом месте прекращаю мою диссертацию по неимению места в письме, — если эти мысли вас займут собой, то вы сами их разовьете и пополните.

Полонский очень плох и болен, но я, по неимению времени, еще у него не был. По правде сказать, он кажется мне довольно пустым человеком. Вот на счет Фета я вполне с вами согласен, мы с ним часто переписываемся. Сейчас узнал, что Анненков в Москве. Напишите в свободную минуту, да приезжайте поскорее.

Весь Ваш *А. Дружинин.*

13

СПб, 31 дек[абря 1859.]

Любезнейший друг Лев Николаевичь, я передал ваше поручение Давыдову, и журналы будут высланы по адресам. Всех нас, здесь находящихся, весьма удивляло ваше долгое молчание и мы думали что вы или хвораете или влюбились, потому что нельзя же зимой заниматься хозяйством. Недавно получил я письмо от Васиньки [Боткина], исполненное воплей и печали; он в Париже, страдает задержанием мочи и должен выдерживать мучительное лечение до Марта месяца. Был недавно Фет со своим Гафизом, из которого стихотворений десять

превосходны, но остальное ерунда самая бессмысленная. Сам Фет прелестен, но стоит на опасной дороге, скаредность его одолела, он уверяет всех, что умирает с голоду и должен писать для денег. Раз вбивши себе это в голову, он не слушает никаких увещаний, сбывает по темным редакциям самые бракованные из своих стихотворений и есть надежда что наконец Трубадур и Рододендрон будут напечатаны.[1] Тургенев тут не виноват, и он и я мы отговаривали Фета от Гафиза, бранили его за сношения с „Русским Словом", но он сказал: „Если бы портной Кундель издавал журнал, под названием . . . , и давал мне деньги за мои стихи, я, при моей бедности, стал бы работать для Кунделя". Вечера два он был велик,[2] но все это может кончиться тем что он повредится в рассудке.

Общество фонда сильно нас занимает, и помимо своего полезного значения, служит нам центром соединения. Из Комитета всегда уезжаешь с приятным чувством. Ковалевский кричит, Чернышевский попискивает, Анненков пускает сладостного туману, Тургенев блаженствует как рыба в воде, и сам Андрей [Краевский] хотя предлагает в Члены отъявленных стервецов, но с бурчанием своим прекрасен, и я опять его друг. Кстати, что это вы приписываете в письме, что вас незачем вносить в список литераторов? Если это относится до ваших трудов, то это ваше дело, но если вы хотите сказать, чтобы вас вычеркнули из списков Членов, — то выполнять такого поручения я не берусь. Да наконец вас не убудет от того что вы будете стоять в списке и пришлете хоть десять рублей ежегодного взноса.

Островский был тоже здесь, ставил свою драму и в Январе вы ее прочтете.[3] По мне она менее цела и драматична, чем Горькая Судьбина, но несравненно ее выше по прелести и поэзии исполнения. Островский решительно вступает на новый путь и пробудившиеся в нем поэтические стороны до того сильны, что теперь за его будущность бояться нечего.

Я состою в положении здоровом и хорошем. В деревне перевел Ричарда III и его обделываю для печати. Сверх журнала, замышляю с Некрасовым издавать Шекспира в новых переводах. Не знаю как оно делается, но при всех занятиях у меня множество свободного времени. Поблядовываем как бывало и в бытность здесь Григоровича занимался чернокнижием.[4] Прощайте, обнимаю вас. Матушка вам усердно кланяется.

Ваш *А. Дружинин*

---

[1] „Трубадур" и „Рододендрон" — стихотворения Фета, над причудливостью которых смеялись в то время даже его почитатели.

[2] В том литературном кругу, к которому принадлежали Толстой и Дружинин, выражение „был велик" означало „был забавен".

[3] Речь идет о драме Островского „Гроза", которую Дружинин напечатал в январской книге своей „Библиотеки для чтения" за 1860 г.

[4] На языке Дружинина чернокнижием назывался разврат.

ПИСЬМА НИКОЛАЯ УСПЕНСКОГО

Печатаемые ниже письма Николая Успенского Ипполиту Панаеву, К. Н. Бестужеву-Рюмину, А. Ф. Марксу и Глебу Успенскому хранятся в рукописном отделении ИРЛИ в Ленинграде.

Письма к Случевскому — в рукописном отделении Исторического музея в Москве.

Письма к Гольцеву были напечатаны в „Голосе минувшего" (1917, 2).

Письма к А. И. и М. И. Успенским и П. Протасову — в „Историческом вестнике" (1905, 11).

Письма к Стасюлевичу — в одном из архивных сборников „Стасюлевич и его современники" (П. 1913, 5).

Письма к А. С. Белокопытовой — в альманахе „Литературная мысль" (П. 1922, 1).

1

И. А. Панаеву

Потрудитесь, Ипполит Александрович, мне выдавать чрез Г. Звонарева—что вам пишет Николай Алексеевич.[1] Пусть Г. Звонарев приезжает ко мне на мой счет. Я вас попросил бы начать выдачу с завтрашнего дня или дня через два.

Адрес мой:

В Столярном переулке у Кокушкина моста дом Куманиной кв. № 68 й (на дворе)

Ваш *Н. Успенский.*

2

И. А. Панаеву

Почтеннейший Ипполит Александрович.

Потрудитесь пришлите мне с Г. Звонаревым 60 рублей. Если вы найдете удобным, то нельзя ли эти 60 рублей обратить на этот месяц Декабрь, а с 1 Января начать выдачу по 60 р. каждый месяц

[1] Николай Алексеевич — Некрасов; Звонарев — книгопродавец, исполнявший денежные поручения Некрасова; Ип. Панаев — заведующий конторой „Современника".

придерживаясь первых чисел, то есть я уже не буду вас извещать, когда прислать мне деньги, а всякое первое число пусть г. Звонарев принесет их: таким образом теперь вы пришлите мне 60 рублей, потом другие 60 я буду ждать 1-го Января и т. д.

[*Приписано сбоку*]

Это бы было для меня оч. хорошо. Мой адрес: в Столярном переулке у Кукушкина моста, дом Куманиной, № кв. 68-й.

Преданный Вам *Н. Успенский.*

3

И. А. Панаеву

Любезнейший Ипполит Александрович. Наднях я уезжаю в деревню. Потрудитесь передать мне через Звонарева 80 р. сереб. Я к нему зайду хоть завтра. Может быть зимою я возвращусь, тогда надобно сделать крупный счет моим займам. До свидания. Вашей супруге свидетельствую мое искреннее уважение.

Ваш *Н. Успенский.*

4

И. А. Панаеву

[Чернигов] [1]
1860 27 мая

Любезнейший Ипполит Александрович

Присланные вами 50 руб. сереб. я получил и благодарю вас. Жалею, что ваша касса беднеет, сердечно, впрочем, [благодарю] [*оторвано*] да и сами вы, смею ожидать, может быть что нибудь напишите, хотя я уверен, что вы завалены делами, часу покоя не имеете. Современник... [*оторвано*] в славе а все, что неработает, — ест, спит, сидит у окна, зевая, ежели что и читает, то это ей богу трудно решить для чего? да и сами читатели спрашивают себя чего читать? [*оторвано*] Прощайте, Ипполит Александрович, поклонитесь от меня вашей супруге.

Остаюсь *Н. Успенский.*

Сижу — за столом: в... тишина... [*оторвано*]

5

И. А. Панаеву

1861 4 февраля н. ст. Рим

Любезнейший Ипполит Александрович,

Потрудитесь выслать мне денег пожалуста поскорее, потому что здесь пути сообщения, говорят, очень дурны и мое письмо вероятно будет идти дней 12 или более. Надо сказать еще, что 50 рублей

[1] В Чернигове тогда проживала семья Глеба Успенского — дядя и тетка Николая Успенского.

в месяц мне мало, так вы уж положите 60 и скажите про то Некрасову. В Париже я занял у Обручева 50 р. сер., на что дал свою записку.

Я не знаю которое сегодня число. Сегодня понедельник, начало карнавала и кажется по здешнему 4-е февраля.

Преданный вам *Н. Успенский.*

Можно еще кажется адресовать просто в Poste restante.

Лучший мой адрес: Roma Via di Campo Marzo № 2-й All Sig. Michele Botkin. Per remettere all S. Nicolo Uspensky. [1]

6

И. А. Панаеву

Рим 8 февр.

Дня три тому назад я послал вам, Ипполит Александрович, письмо, но нефранкированное меня один человек уверил что такое письмо скорей дойдет. На всякий случай я посылаю другое письмо вам, чтобы не было риску с тою же просьбою касательно денег.

Повторю мой адрес: Roma. Via di Campo Marzo № 2 al Sig. Michele Botkin с передачей al Sig. Nicolo Uspensky.

7

И. А. Панаеву

Рим. 8 марта по здешнему.

Любезнейший Ипполит Александрович. От души благодарю вас за ваши обо мне хлопоты семисотфранковый вексель присланный вами я получил. За промен на французское золото с меня взяли десять франков. Искренно также благодарю вас за ваше доброе желанье мне здоровья, в настоящее время мне гораздо лучше чем прежде. Странно, что вновь приезжающие в Рим, особенно нервозные — не спят совсем. Я тоже продежурил недели три, хотя мне и прежде сон не давался. Я в Риме очень пользуюсь солнцем, которое здесь так хорошо, но довольно редко, потому что часто дует северный ветер и льют дожди. Я живу здесь уже более месяца, физиономия и склад Римской жизни мне стали очень знакомы, однако ничего не буду вам писать о Риме, вероятно вы сами его увидите (ведь кажется вы собирались в Италию) да кроме того мой взгляд едва ли будет пригож — я не знаю еще итальянского языка и т. д. Скажу лучше о деле. Когда вы получите это письмо пройдет полмесяца, я вас попросил бы подождать еще месяц, а впрочем, ничего не надо. Это я все хотел толковать о деньгах, здесь они на чужой стороне с ума нейдут, поверьте, нет уж я вам особо напишу когда мне выслать еще. Вы как человек, уже не мало испытавший, я надеюсь, поймете меня: живущему за границей где бы то ни было не правда ли хочется кое чему и поучиться. Это прямиком относиться ко мне, не правда ли, вы не будете на меня в претензии, если я и на будущее время буду вас беспокоить

[1] Синьору Мишелю Боткину. Передать Синьору Николаю Успенскому.

насчет этих ужасных денег. А впрочем я сейчас перестану писать. [*Две строки зачеркнуты.*] Передайте мое искреннее почтение и уважение вашей супруге. Вам желаю всего лучшего на свете.

Преданный вам *Н. Успенский.*

[*На отдельном листке.*]

Просьба, И. А., пожалуйста передайте Некрасову, чтобы он последние мои рассказы отпечат[анные] в Генварской кажется книжке 1861 г. поместил в собранную книжку моих (всех) рассказов. Еще бы мне очень хотелось, чтобы книжка эта отпечаталась сколько возможно поизящнее, наконец: Самсоньевская воскресн. школа меня извещает, что она желает взять много экземпляров этой книжки на что просит уступки небольшой. Вообще потрудитесь, добрый И. А., не оставить и вашим собственным участием сию книжку.

Извините, что опять не плачу за письмо, говорят лучше дойдет, однако все это вы записывайте за мною, я вас покорнейше прошу Ипполит Александрович.

8

И. А. Панаеву

Флоренция 1861 марта 29 (нов. ст.).

Милейший И. А. Я опять прошу вас прислать мне денег; потрудитесь прислать сколько возможно больше, я через месяц оставляю Италию — здоровья мне она, видно, не поправит; вы напишите мне не слишком ли беспокоят вас мои письма — про это вы можете мне написать прямо от лица редакции.

Я на лето намеревался было поселиться в Гавре близ Парижа, в Гавре я и остался бы, там морское купанье да и Париж близко.

Прощайте, желаю вам всякого благополучия.

Преданный вам *Н. Успенский.*

Я не знаю, может б., я останусь в Швейцарии.
Адрес: Frolence [sic!] M. Nic. Uspensky. Poste restanto.

9

И. А. Панаеву

Флоренция 1861. Апреля 28 нов. ст.

Любезнейший И. А., очень благодарен Вам за Ваши хлопоты. (600) шестьсот франков mandat я получил, за размен дал одинадцать франков. Теперь потрудитесь выслать в Женеву в poste restante и конечно чем скорее вышлете деньги, тем лучше, потому что во всяком случае, лучше иметь в резерве сколько бы ни было нежели наоборот. Я Вас должен предупредить, что во все время за границей я не имел никого, у кого бы мог занять да на это не совсем приятно решиться, я жалею, что я занимал у Обручева в Париже.

Я надеюсь, что вы вышлете в Женеву, по возможности, в скором времени. Письма с адресом моей квартиры не буду вам писать, мне

кажется это лишнее. Очень благодарен вам за известие, что издание моей книжки хорошее, а когда она выйдет вы потрудитесь мне написать, по какой цене она пущена — даже я попросил бы вас прислать мне самую книжку, чем бы крайне обязали меня. Насчет моего здоровья — оно в порядке (опять благодарю вас за внимание). Мой поклон Некрасову, низкий поклон: когда книжка моя будет у меня уже в руках, я постараюсь сочинить Некрасозу письмо, исполненное отборного красноречия, — впрочем это не важно. В настоящее время я главным образом стараюсь выразить мое желание, чтобы присланы были мне деньги в Женеву и насколько возможно в скором времени.

Желающий Вам здоровья и всего хорошего

Преданный вам *Н. Успенский.*

Писал ли я вам, что из Рима я на неделю заехал в Неаполь (этому уже месяц назад или более), из Неаполя проехал во Флоренцию. Теперь я не ручаюсь, что тоже не заеду в какой нибудь город по пути в Женеву, я вас не буду уверять в том, что подобное предприятие я сделаю, держась вагона 3-го класса — впрочем это тоже неважно. Итак в Женеве я жду.

Когда я доберусь до Парижа, — то там уж и останусь. Это мои замыслы.

Прощайте.

10

И. А. Панаеву

Женева. Мая 11 1861

Любезнейший Ипполит Александрович. Потрудитесь выслать мне денег поскорее.

Suisse à Geneve Nicolas Uspensky poste restante.

Адрес моей комнаты Hotel de Balance № 17.

Если отпечатана моя книжка, потрудитесь тоже прислать.

Остаюсь преданный Вам *Н. Успенский.*

11

И. А. Панаеву

Женева. 1861 г. Мая 31 нов. ст.

Любезнейший Ипполит Александрович. Шестьсот франков я получил в Женеве и благодарю Вас за Ваши хлопоты. Завтра еду в Париж. Это хорошо, что Некрасов предполагает мне прислать листы моих рассказов для поправок. Пожалуйста, передайте ему, пусть он пришлет мне в Париж Poste restante эти рассказы, а я могу в них много изменить к лучшему.

Остаюсь с полным к Вам уважением *Н. Успенский.*

Рассказы мои я поправлю в два, три дня, так что они воротятся в Петербург очень скоро. Еще я Вас прошу передать Некрасову — чтобы он собрал все мои рассказы не исключая и появившихся в последнее время.

Желаю Вам здоровья и всего лучшего на свете.

Еще уведомляю Вас, что теперь я буду жить безвыездно в Париже.

12

К. К. Случевскому

1861. Париж. 9 Июня. Нов. стил.

Любезнейший Случевский.

Ну как вам не совестно — обещались писать мне и не пишете, пожалуйста напишите, как вы поживаете выиграли ли лошадь и пр. Я вам новость сообщу, через три недели я еду в Россию, мне пора работать что нибудь для Современника, потому что я забрал у него денег довольно. Париж великолепен, велик, прелесть! Я влюбился в Париж! Что вы живете в Женеве? Посмотрите какая жизнь здесь! Если вы вздумаете скоро в Париж мой адрес: rue St Roch № 43 (в 3-м этаже № 11-й комнаты).

Ну что писать еще? Нечего. Цирк здесь отличный, — гризетки все в свеженьких юпочках... bouillon Duval [1] где я обедаю — оч[ень] хорош; да! — Париж хорош, хорош, здесь со скуки не будешь умирать как в Женеве какой нибудь. До свидания. Жду от вас ответа.

Ваш *Н. Успенский.*

13

И. А. Панаеву

1861 г. Париж. Июня 9 н. ст.

Почтеннейший Ипполит Александрович. Еще раз благодарю Вас за все ваши хлопоты касательно меня и извещаю, что я, живо проникнутый сознанием своих долгов, спешу их счистить с моей души, а для этого твердо решился ехать скорей в Россию и работать, поселившись где нибудь в деревне. Прошу Вас выслать мне на дорогу денег.

Передайте Некрасову мою искреннюю благодарность за его доброе ко мне расположение, я прошу у него извинения, если я не так воспользовался его благородным предложением, что я растратил денег более чем нужно, — т. е. тратил их не по условию. Меня подкрепляет надежда, что я вскоре расквитаюсь.

Потрудитесь выслать мне, Ипполит Александрович, не менее 350 р. сереб., потому что я намерен себе здесь сделать платье и купить кое какие книги.

С истинным почтением имею честь пребыть Ваш покорнейший слуга

Н. Успенский.

Через две недели от сего дня вы вероятно вышлете мне деньги, значит через 3 недели — я в Петербурге и вас увижу в Павловске. Пора, пора приступить к расплате, неправда ли? От Парижа до Лондона кажется сутки езды, мне очень хотелось бы дня на два в Лондон проехать. Итак я в ожидании денег, но уже последних.

---

[1] Ресторан Дюваль.

14

И. А. Панаеву

Почтеннейший Ипполит Александрович.

Я вам писал о высылке мне на дорогу в Россию 350 р. сер. Я повторяю вам мою просьбу и пишу свой адрес: Paris, rue St Roch № 43 Nicolas Uspensky.

Но деньги вы пошлете конечно в poste restante. Я попросил бы вас прислать мне во всяком случае денег сколько вам покажется удобным, потому что через две недели я буду в них нуждаться, а знакомых здесь нет.

Ваш *Н. Успенский.*

15

И. А. Панаеву

[Телеграмма из Диеппа]

[Июнь 1861 г.]

Petersbourg Maison Cousmin № 1 coin des rues Sagorodny Prospect et Podolsky Hippolite Panaeff.

Envoyez à Paris poste restante 1100 francs pour mon retour. 700 francs j'ai reçu.

Uspensky. [1]

16

И. А. Панаеву

[Телеграмма из Парижа]

1 Juli 1861

Petersbourg maison Cousmin langle des Prospects Sagorodny et Podolsky Yppolit Panaeff.

Envoyez Paris 1100 francs pour mon retour.

Uspensky. [2]

17

К. К. Случевскому

Париж, Июня 11 1861

Благодарю вас за ваше письмо, Случевский, имя мое Николай. Не понятно вы писали письмо 12 Июня, а я его получил 11-го. Я не понял вашего сравнения: Зерна и мякина, вы потрудитесь его объяснить, но оно все-таки пахнет чем то недобрым. Нет, уверяю вас Париж хорош! Того, кто здесь один да с холодным вниманием вокруг Париж выгонит вон, но кто страдал серьезно — невежественной скукой,

---

[1] Ипполиту Панаеву. Петербург, угол Загородного проспекта и Подольской улицы дом Кузмина, 1. Пришлите в Париж до востребования 1100 франков для моего возвращения. 700 франков я получил. Успенский.

[2] Пришлите в Париж 1100 франков для моего возвращения Успенский

провинциализмом, каковы напр. в Женеве и почти во всей Италии (Россия тоже), кто серьезно когда-нибудь желал цивилизации — для того Париж драгоценен: не говорю о бесчисленном множестве удовольствий, удобствах для умственной жизни доступных каждому все это вам должно быть известно. — Наконец еще: — в Париже надо непременно обзавестись — девочкой... да хорошенькой, а это здесь так легко, — тогда вы не расстанетесь с Парижем: нигде в свете — вы не найдете ничего подобного. На днях я здесь видал одну!.. невероятно хороша!.. и я попробую счастие, если где так именно в Париже можно на все надеяться. — Ваше письмо так не ясно написано, что я съел пять порций в bouillon [1] разбирая его, в другой раз вы конечно напишете появственней. Что вы говорите про женевских собак? А забыли вы здесь Елисейские поля напр. усеянные балаганами? да что! доказывать ничтожество Женевы перед Парижем, — значит просто стыдить себя и в этом отношении я даже не хочу с вами связываться. Забыли вы эти омнибусы парижские, во которых за 15 сантимов можно ехать 10 верст, и которые вам поэтам давно бы надо воспеть; меня эти одни надписи на них приводят в восторг: la porte S. Martin, palais royal, Odeon, champs Elysès, boulevard des italiens [2] и пр. и пр. Видел я одного русского на Елисейских полях он (вероятно новичок и похож на купца) ел мороженое и слушал певиц (вы знаете здесь при кафе— певицы), вот он слушал, слушал певиц, подозвал Гарсона и спросил: Ce n'est pas bordel!!! — ah! non, non, non [3] - подхватил гарсон и зачавкал губами. Мало ли что здесь есть? Вы напр. часто можете наслаждаться надписями вы едете и вдруг где нибудь на окне видите среди objets d'art, cravates et chemises, bains de Diane, destructions des insectes, parapluies [4] объявление de tous les maux qui affligent l'espece humaine on peut placer au 1-r rang l'usage de se faire la barbe qui fait tant de bruit [5] и т. д. Я желал бы чтобы вы бросили Женеву — где вы смотрите одних и тех же собак. — Я теперь понимаю ясно, почему Парижанину нужна только одна кровать в квартире и почему он день целый в городе, Париж так сложился отлично! Здесь не будешь, зевая, глядеть в окно в своей квартире. — Вы знаете, что я здесь имею удовольствие читать русские газеты? и это в одном из кафе. Ну где вы найдете такую роскошь? Вот напр. я узнаю, что в университете защищалась диссертация (на степень магистра) под заглавием: „О волокнистом строении стенок клеточек". А? Как вы себя чувствуете? Или: „Тарас Григор. Шевченко временно похоронен на Смоленском кладбище на том самом месте, где иногда сиживал и задумывался покойник, которое даже рисовал он, как бы предчувствуя что его здесь похоронят..."

Как вы себя чувствуете? спрашиваю я вас?

Да нет! Давно мне пора перестать спорить с вами. Получили ли вы мое письмо? Пишите мне все — что в Женеве. Я не знаю пока

---

[1] В ресторане.

[2] Арка св. Мартина, королевский дворец, театр Одеон, Елисейские поля, Итальянский бульвар.

[3] Это не дом терпимости? — Ах, нет, нет, нет.

[4] Безделушек, галстуков и рубашек, минеральных вод, средств против насекомых, зонтиков.

[5] Из всех бедствий, от которых страждет род человеческий, можно поставить на первое место обычай бриться, который производит столько шуму.

когда я уеду в Россию, но денег точно у меня уже не много осталось: при крайнем случае я у вас попрошу в займы, хотя это вероят. будет неудобно. Пишите мне. Из России я вам буду писать о театре, я все таки не бросаю мысли о нем: ведь действительно прекрасная вещь.

Ваш *Н. Успенский.*

Я не плачу за это письмо, как не платил и за прежнее — делайте и вы тоже.

18

И. А. Панаеву

12 июня нов. ст. Париж.

Я послал Вам, Ипполит Александрович, одну депешу о высылке мне денег на дорогу из Диеппа, но она должно быть не дошла, потому что деньги не присланы. Ныне я послал вам еще другую депешу тоже о высылке денег на дорогу. Очень грустно, что депеши не доходят. А я их посылаю затем, чтобы более не тратиться в Париже и скорей в Россию, к тому же меня требуют в Россию обстоятельства. Если и вторая депеша не дошла, то потрудитесь по получении сего письма прислать мне уже не 1000 франков, как я просил, но 1200.

Ваш преданный *Н. Успенский.*

Адресуйте: Paris, poste restante.

19

К. К. Случевскому

Но знаю какое число, но сегодня получил ваше письмо, пола гать надо что выберетесь из Вевея на днях, сколько бы вы там не смотрели на тучки золотые, мне думается, что кто долго проживет в Вевее, тот способен жить и в Сибири и в тюрьме, но способны ли вы на последнее? Нет кажется.

Я удивляюсь одному, не ужели в вас не говорит голос национальности, не ужели вам до сих пор не хочется в Россию? Если это так, то мне жаль вас, мне еще более горестно, что вы ни чего не пишете из русской жизни.

Я видел в Риме и Флоренции художников (так называемых) русских, которые говорят, что они ничего не рисуют из русской жизни потому что Россия не имеет ни истории ни жизни. Я всех этих господ считал погибшими не только для России, но даже для самих себя.

С месяц назад я видел продается в одном магазине в Париже картина изображающая русскую тройку. Зима, ветер засыпает снегом дорогу, кругом тучи, вороны кружатся, седок уткнув голову в воротник теплый — спит, а кучер в рукавицах и шапке с ушами — уныло смотрит вперед. Вот только. Это не большая гравюра — и за нее просят двадцать пять франков (т. е. самая высокая цена для гравюры), и здесь — понимают прелесть этой картины. Но мало ли что у нас

можно писать из русской жизни? Не кажется ли и вам что о России нечего писать? Впрочем я горожу всякую чепуху потому, что хочется чем нибудь набить этот лист бумаги.

Но вот что: я еду в Россию скоро, и может быть зиму буду жить где нибудь в деревне или губернии, как дурно, что вы бросили ваши планы на счет театра, убедитесь, что вам улыбалась прекрасная вещь, т. е. театр, вам предстояло море Жизни, о себе я не говорю мне тоже этот театр послужил бы эпохою в моей жизни, но что же делать, один в поле не воин. Эх, Случевский, вы напрасно это делаете, прокисая теперь в паршивом Вевее и глядя на тучки, ну что вы дитя что ли, чего вы там ищете в этих тучах?

Эги вещи хороши на два, три дня. Вы бы — пролили много утешения в бедную губернию русскую, устроив в ней — труппу — ведь у вас игры может быть чертова пропасть, потому что столько жару в вас я нигде не видывал, только печка или Везувий может сравниться с вами касательно жару.

Посудите: что мне делать? Сегодня я отправил вторую депешу телеграфич. и Ипполиту Александр., чтобы он мне выслал на дорог: денег, — одну я послал из Диеппа — и думал, что вот получу деньги — ни слуху ни духу. Если депеши не доходят то это весьма дурно, я напр. за одну в 30 слов заплатил 33 фран. — Я потому посылаю депеши, что не хочу более тратиться в Париже — хочу скорей в Россию. — Беда! просто скверно! Вот почему — я не посылаю до сего времени вам денег. Я знаю, что вы добрый человек, потерпите, но тем больнее для меня обижать доброго человека и быть пред ним не честным. Пишите — до свидания. Не скажете ли чего хорошенького насчет театра то?

Успенский.

[*Надписано сверху по окончании письма.*]
Мой адрес:
В г. Ефремов (Тульской Губернии) на Николаевскую станцию в село Новомихайловское, Николаю Васильевичу Успенскому.

20

К. К. Случевскому

20 Июня утром.

Вы писали письмо, милостивый государь, 18, я его получил утром 20, недолго идут письма — это хорошо. Но я вам доложу жара в Париже! ад совершенный. Гризетки ходят как мокрые куры разинув рты и всю свою живость потеряли, да какая тут живость! и волокиты тоже не имеют надлежащей энергии, я иногда примусь бегать за какой нибудь да и брошу — черт возьми совсем — просто беда! А насчет красавицы — я сделал пробу, но мне сказали что не угодно ли мне на ней жениться — иначе все мои замыслы пропадут без толку, но дело собственно в том, что я мало имею денег, а то бы я не унывал. Но я бросил совершенно это дело — ах, какая красавица! да что вам говорить! Нет вы не порочьте Парижа — подобные нападки мы слыхали давно и ведь Англию пожалуй бранят, что там капита-

лизм ест нацию. Конечно Париж можно во многом упрекнуть, но нам русским лучше воздерживаться от этого, предоставим это пожалуй одному Свистку, нам ли бранить Париж, когда мы никак не соберемся у себя устроить даже омнибуса! а что касается другого прочего — ведь право стыдно признаться... Стыдно на свет взглянуть. Или грязная Италия или дурища какая нибудь Женева с ученьими своими собаками. Дух захватывает от омерзения, вам одна снежной белизны юпочка швейки много скажет, да просто зажмет рот... Нет батюшка мой, я надеюсь что время хулений и порицаний как дурное поветрие — скоро пройдет. Что вам писать? Я с утра до ночи шляюсь по Парижу и каждое утро просыпаюсь с болью в ногах: вы не поверите какая бездна прелестных вещей продается и как все дешево! Вы бы поспешили в Париж — тут выставка отличная (выставка картин). Газеты русские все жалуются на неудобства Петерб. разные на дороговизну, напр. говорится, что жить на даче в Новой деревне стоит столько же что съездить напр. на лето в Ингерлакен, — я совершенно с этим согласен, бываю в jardin des plantes [1] — там два гиппопотама. Вы хорошо делаете что пишете сочинения вы мне потрудитесь прислать их, посмотрим что такое, уж ежели что нибудь не так верьте Богу в пух разобью, уж не ждите пощады — то есть из кожи вылезу — все на мелкие части! Но вы однако не бойтесь присылать их.

Раз я слышал ночью на Елисейских полях под кустом странный разговор. Стояли мужчина и женщина (должно быть блядвила).

— Vous n'êtes pas français? [2] говор. женщина.

— Non... скромно отвеч. мужчина.

— Eh bien! продолжала женщина строго: Voyons... quel votre pays?

— Russi...

— Eh bien... attendez moment, je veux pisser... дальше я не дождался.

А вот вам загвоздка из Журнала des tribunaux: [3] Antoine Pouzols n'est âgé que vingt six ans. Il est resté deux ans novice chez les Frères des écoles chrétiennes et se trouve aujourd'hui accusé de nombreux attentats à la pudeur commis à l'aide de violences sur la personne d'enfants âgés de moins de 15 ans. [4] Знаете что ему за это? Pouzols a été condamné a dix années de reclusion. [5] Я иногда бываю в palais de justice [6] — иногда бывает очень интересно. — Ну что еще вам писать? А вот что: в самом деле не прислать ли вам — сюда франков 100. То есть дела в таком положении: у меня теперь не более 50 франков уверяю! а ждать денег еще неделю, да я боюсь ну-ко замешкает Ипполит Алекс. Панаев, — ведь надо тогда караул кричать? Так, мне кажется, вы сделаете прекрасное дело ежели пришлете; адресуйте

---

[1] Парижский зоологический сад.

[2] — Вы не француз?
— Нет.
— Откуда же вы родом?
— Из России.
— Ага. Погодите минутку. Я хочу помочиться.

[3] Из „Судебного вестника".

[4] Антуану Пузолю всего двадцать шесть лет. В течение двух лет он состоял послушником в школе картезианцев. Сегодня ему был вынесен обвинительный приговор по делу о многочисленных попытках изнасиловать девочек моложе 15 лет...

[5] Пузоль был приговорен к 10 годам тюремного заключения.

[6] В здании судебных установлений.

в porte restante разумеется да отвечайте скорей s'il vous plait. Да стихи ваши присылайте.

А что о театре вы продолжаете думать — это меня очень радует, я уж здесь приценялся к парикам... ни по чем!.. да вы приезжайте сюда поскорей!

21

К. К. Случевскому

Париж. 1861. 22 июня

Когда торопишься то никогда толку не бывает в том что делаешь. Я вам послал два дня назад письмо, где просил о высылке мне 100 франков в адресе не сказал куда, вы однако постарайтесь его истребовать у конторы. Это письмо направлено опять с той же целью т. е. я вас прошу прислать мне денег как можно скорее, потому что осталось... да ни чего почти не осталось.

Послушайте, приезжайте в Париж, вы с ним не расстанетесь, что же за виды здесь продаются... Как получу деньги уеду или в Россию или в Гавр купаться в море. В России вышла замечат. книжка „О месте занимаемом Женщиною в ряду Цивилизованных Наций" Говорится, что „глаза Женщины имеют ослепительность моря, ее роскошная коса есть змея искушений, изгибы ее девственных форм в приятности и сладострастной гибкости соперничают с кривизною рек и мягкостию восточного воздуха, ее могучие груди олицетворяют собою форму вселенной".

Более ничего пока не буду вам говорить до получения от вас письма. Присылайте же стихи то.

Voulez vous, mes amis,
Avoir de beaux habits?
Venez sans hésiter
Chez moi les acheter. [1]

Вот как должно писать стихи-то! (Это из одного объявления)

Ваш *Н. Успенский.*

22

К. К. Случевскому

24 июня.

С глубоким чувством жму вашу руку, Случевский, за ваши 100 франков. Я за размен отдал 2 франка значит и вы отдадите тоже два фр. когда я вам пошлю билет и значит ни за что ни про что проиграете. Но черт меня возьми! проклинаю тот день когда я узнал что такое стереоскопические виды; я просто весь на них продулся. Представьте, продают виды Египта, ну как не купить? Смотрю продают виды Греции, как тоже не купить, там смотрю весь земной шар продают верите, ног не слышу под собой а уж деньги!.. Не говорите...

[1] Если, друзья мои, вам угодно иметь красивую одежду, поспешите приобрести ее в моем магазине.

я прибежал домой ныне с видами да и говорю себе: Ну! дуралей! если ты еще купишь хоть вид — в живых не оставлю!.. ведь вот до чего дошло!.. Да что? Я замечаю все помешались на этих видах! Все магазины запружены народом, кричат: виды! виды! мне виды! мне!.. Что это такое?.. Беда, беда! Что мне делать,— жду не дождусь денег от Ипполита Александровича Панаева. Вот сударь почему я хочу ехать скорей в Россию, Париж с ума свертел, остается кричать караул. Да! представьте у меня уже новая коллекция завелась из портретов,— там Пальмерстон говорит купи меня, там Моцарт, Шуберт и пр.

Жду вашу поэму с удовольствием, да может б. вы ее уже послали.

На счет гризеток — боюсь даже встречаться с ними! Сами посудите до гризеток ли тут? Дня 4 тому назад я спросил у извощика про б.....и (думаю — ну! как не подлы б.....и — пойду!) Извощик попросил у меня карандаш — я ему еще дал свою памятную книжку — чтобы он пообстоятельней изложил ход дела, так он, можете вообразить, надрал мне 8 страниц — вычислив все б.....и. Я читал читал — голова закружилась: повсюду б.....и — так что может быть две улицы во всем Париже извощик оставил чистыми.

Пришел я в один б....к,— выбежали с нахальством — растрепанные с голыми грудями девки — я выбежал вон и решился ждать до России — что это за скверность! Вот жизнь! Жизнь что ты? Сад заглохший под дикими бесплодными травами, Париж — унизанный б.....ами и б..... — от которых тошнит на несколько лет! Вы скажите, вот ваш хваленый Париж! Помилуйте — защищать Париж трудно — это я знаю;— ну да к черту все!

Вы знаете что у нас делается в России? Читали последний номер Колокола? — „крепостное право заменено новым, народ правительством обманут". Я давно предчувствовал это и не интересовался манифестом и не читал новых положений.

Но находятся же такие пакостные люди как напр. Боткин которые стоят за Александра Николаевича.[1] Боткин когда я сказал что мне Рим не понравился как всякий город задыхающийся от бедности и лишений, потом, что манифест русский — вероятно вздор и что я не верю в освобождение, он меня принялся ругать закорузглым невеждой (я у него спросил не болит ли у него желудок, — он сказал, что точно пищеварение трудно совершается) потом сказал: „Новые положения недавно объявленные правительством — превосходны и пусть ваш мужик околеет — если не воспользуется этими положениями" — наконец он заключил: „я недавно говорил Герцену про Александра: Никол[аевича]: не ругай ты его пожалуйста!" — Да! как Герцену, так и Боткину пора — пора прочитать отходную а то просто спеть вечную память! Знаете что теперь Герцен пишет: „мозг разлагается, кровь стынет в жилах при рассказах о ужасах, совершаемых теперь в России!"— Это говорит тот кто до сей поры все изливал свою веру и надежду на Алек[сандра] Н[иколаевича]. Да! по всей вероятности — у этих людей — мозг уже разлагается... а у Боткина — первого, это я знаю верно. Пишите.

Ваш *Н. Успенский.*

---

[1] Александр II.

23

К. К. Случевскому

Рассказ ваш я давно послал вам из Диеппа. Дней через 5 я вам высылаю деньги в Женеву и уезжаю в Петербург. В Вевее адская скука, вы не проживете долго, хотя и читаете доказательства Прудона, что негры не люди а звери. Жду не дождусь денег, так хочется уехать, да надо ехать непременно. Пишите. В настоящее время я ничего не могу писать. Дождь порет напропалую иду однако — бросить это письмо.

Ваш *Успенский*.

Пишите в Poste restante.

Что если бы я купил здесь револьвер, не знаете, позволят его провести в Россию?

24

К. К. Случевскому

Милостивый Государь! Со мной случилось ужасное событие Представьте ныне шел шел я по Итальянскому бульвару — вдруг взял и купил револьвер! Что мне делать? Револьвер — прелесть cinq coups [1] но что он стоит!.. 150 франков... Нет в Париже жить невозможно. Теперь я приступаю к вам и говорю: скажите, что мне делать? Ясно дело идет о том, не можете ли вы франков 60 прислать мне. Я вчера послал депешу, но что если и эта госпожа недойдет как и первая посланная из Диеппа? Я ныне еще послал письмо к Ипполиту Александр[овичу]. Так вот история: ощущений то сколько! Теперь как хотите так и думайте обо мне, я уже сам себе не рад, черт знает что такое! Револьвер — великолепен но... таким образом отвечайте поскорей: что вы думаете об этом? Я знаю вы разразитесь громом — но я вам говорю я сам себе не рад; а тут вы пишете,— что я могу купить револьвер, зачем уж вы говорили?

Но вы пожалуста не стесняйтесь, если не можете так и пишите смело, я постараюсь сам как нибудь извернуться.

Если эта последняя депеша дойдет, я получу деньги через 6-ть дней непременно.

Ваш *Н Успенский*.

Да с! в жизни все бывает, оставлю я вам по себе память! Париж ей богу сатана настоящий!

25

И. Г. Панаеву

Париж 1861. 1 Июля нов. ст.

Любезнейший Ипполит Александрович.

Деньги семьсот франков (700 ф) я получил и благодарю Вас от души. Извините, что я так много делаю Вам беспокойств; о своем возвращении в Россию я конечно, Вас извещу, теперь недели на две

[1] Пятизарядный.

я еду в Диепп, потому что в Париже большая жара. Все дальнейшее зависит от обстоятельств. Я поистине понимаю Ваше положение и тем сильнее чувствую в себе уверенность расплатиться до копейки по времени.

Пожалуста, напишите, как я иногда должен поступать насчет денег, к Некрасову ли обращаться или к вам? Желаю Вам всего лучшего.

Преданный ваш слуга *Н. Успенский.*

26

К. К. Случевскому

Не знаю какое число.

Получил Ваше письмо — может быть на зиму останусь в Париже Некрасов желает чтобы я еще побыл заграницей если мне нравится это, книжка моих рассказов оканчивается печатанием. Осенью Некрасов хочет приехать в Париж. Жду от вас еще рассказов. Прошу вас 100 ваших фр. подождать, пот. что мало имею денег. Сейчас еду недели на 2 в Диепп — хочется поправить здоровье, впрочем при первом вашем востребовании я вам пришлю деньги. — Сейчас заплатил черт знает за что еще за полмесяца за квартиру — потому что не уведомил хозяина о своем отъезде, а его надо уведомить об этом за 15 дней до отъезда, такой обычай — но какой гадкий. Пишите пожалуста в Dieppe poste restant[e].

Тороплюсь.

Ваш *Н. Успенский.*

2 фр. вы не потеряете — делать нечего. Я распоряжусь!

Впрочем можно мне писать в Париж poste restante. Отсюда письма мои будут отправлять в Диепп я просил почтамт.

27

И. А. Панаеву

16 июля нов. ст.

Я все боюсь, Ипполит Александрович, что и другая депеша не дойдет, если она не дойдет, то поскорей пришлите вместо 1100 фран. 1200 франк. Paris poste restante. Повторяю, я возвращаюсь в Петербург — т. е. поскорей желаю возвратиться.

Ваш *Н. Успенский*

28

К. К. Случевскому

На поэму вашу напишу критику — хотите? Как прикажете, писать всю подноготную? Чувствую — что только пыль столбом пойдет!

Но Боже мой! как бы я желал встретить хорошенькую девушку! Общество не бережет женщин, оно не понимает как они важны — не в скуке только как иные думают; — они важны в переломах, кризисах жизни мужчины.— Я в России — в глуши найду себе... Еще мир не знает что у нас есть в России — Европа истаскалась, свежесть [1] — вся в России (исключая испорченности в Петербурге и Москве).

[1] Первоначально было: „свежие ж[енщины]".

Но вы не знаете какой у меня план для романа! Фу! Где вам знать! Какой нибудь Дюма написал бы 30 частей (томов) на этот сюжет. Я боюсь только или силы мне изменят физические или леность будет преодолевать.

Ну что же повму? Где она? О! Жду не дождусь!.. Потерплю так и быть... Ну уж и примусь же я за вас! Ну, прощайте, позвольте: что же театр-то? Вы, пожалуста не отказывайтесь!

29

К. К. Случевскому

Париж

Посылаю вам ваши сто франков. Отчего вы даже не захотели написать на мои два последние письма? Я глубоко раскаяваюсь, что имел несчастие — занимать у вас деньги.

Ясно, что вы приняли меня за мошенника, вы конечно и хорошо сделаете если не будете иметь никакого дела с мошенниками. Это похвально всегда. Я однако желаю одного, чтобы вы ответили в Петербург мне, получили ли вы эти сто франк[ов] иначе мне придется много хлопотать. Но в Париж не отвечайте. Адрес будет такой для вашего ответа:

В Петербург. На Невском проспекте в контору Журнала Современник — против Аничкова Дворца с передачей Н. Успенскому.

Если не ответите, мне придется снова посылать другие сто франков.

30

И. А. Панаеву

Г. Венев 1861. Августа 4

Любезнейший Ипполит Александрович. Потрудитесь мне выслать денег сколько можете, даже хоть известить Николая Алексеевича о том, что мне нужны деньги. Если Вы будете ему писать об этом — то упомяните, что мне хотелось бы получить рублей 50. Во всяком случае Вы поступите, как Вам будет угодно.

Преданный Вам *Н. Успенский.*

Мой адрес. В г. Венев (Тульск. Губернии) Лесничему офицеру Ивану Александровичу Г. Машмеер с передачею Ник. Вас. Успенскому.

31

И. А. Панаеву

Венев. Августа 21

Любезнейший Ипполит Александрович,

Около трех недель тому назад я вас просил прислать мне денег, теперь повторяю мою просьбу, потому что не получаю от вас никакого ответа. Повторяю также, что Вы можете мои письма посылать Некрасову — для меня все равно. — Итак, потрудитесь похлопочите

выслать поскорее. Только нельзя ли мне прислать рублей 65 для обзаведения в деревне; может быть я в деревне проживу год целый. Мой адрес будет такой: (из Венева я уезжаю в Ефремовский уезд). В г. Ефремов (Тульской губ.) на Николаевскую станцию Управляющему села Новомихайловского Павлу Николаевичу г. Пекину с передачею Н. Успенскому. Потрудитесь сообщить мне адрес Некрасова.

Преданный Вам *Н. Успенский.*

32

И. А. Панаеву

1861 г. 1-е Окт.

Любезнейший Ипполит Александрович, я писал Николаю Алексеевичу в Ярославль, как Вы говорили, но ничего не получил в ответ. Вообще я более двух месяцев живу без копейки денег. Я вас покорнейше прошу передайте, пожалуйста Чернышевскому или Добролюбову, чтобы кто-нибудь из них дал мне в займы не менее 100 рублей сереб. и что мне давно надо ехать в Петербург, но я все живу в деревне — хоть передайте им это письмо. Я вас не беспокоил бы если бы я знал адресы Добролюбова и Чернышевского. Итак я их покорнейше прошу выслать мне как можно поскорее потому что без денег я более никак не могу жить и пусть вышлют 100 р. сереб.

Николай Успенский.

Я надеюсь, Ипполит Александрович, что Вы не откажете моей просьбе.

33

М. М. Стасюлевичу[1]

28 Окт[ября] 1869 г. [Петербург.]

Милостивый Государь Михаил Матвеевич, я переехал в Петербург устроился и продолжаю работу. К сожалению чувствую себя не совсем здоровым. Но во всяком случае надеюсь недели через две показать Вам продолжение повести. [2]

Душевно преданный Вам *Н. Успенский*

Адрес мой: На Литейной, близ Невского, дом Целибеева № 55 квар. № 17.

34

А. С. Белокопытовой

9 февраля 1870 [Петербург.]

Письма сего никому не читайте

Многоуважаемая Анна Семеновна.

Извещаю Вас, что я начинаю писать новую повесть из народного быта.

---

[1] Редактор-издатель журнала „Вестник Европы".

[2] Повесть „Издалека и вблизи" была помещена в первых трех книгах „Вестника Европы" за 1870 г.

Иван Сергеевич [1] к Апрельской книжке Вестника Европы прислал большую повесть под заглавием Степной Король Лир. В последнее время над почтенным романистом смеются очень бесцеремонно. Я живу в Петербурге (здесь удобнее сноситься с редакцией), дела мои очень хороши. Напишите мне о себе, о Юшкове несколько строк,[2] тогда я вам пришлю большое письмо! Прилагаю здесь рассказец „Тесные сапоги“ [3] он вам, кажется, знаком. Поклонитесь от меня В[арваре] Н[иколаевне]. [4] Я до сих пор понять не могу, за что она сердится на меня? Не напишет ли она мне несколько строк?

Пишите так: в С.-Петербург, у Чернышева моста, на Фонтанке, дом Лыткина, № 47, квартира № 32. Его б[лагородию] Н. В. Успенскому.

Весь Ваш *Н. Успенский*.

В Неделе вы будете читать рассказ „Ванюха безпутный“ В. Майнова. Это произведение известного писателя Левитова. Майнов — его псевдоним.

35

М. М. Стасюлевичу

20 марта 1870 г. Село Лобаново, Ефремовского уезда Тульск. губ.

Милостивый Государь Михаил Матвеевич, посылаю Вам обещанную к 25 му марта повесть из народного быта. Покорнейше Вас прошу, если найдете мою статью годною для своего журнала выслать мне рублей полтораста. В деньгах я имею большую нужду. Перед отъездом из Петербурга я, Вы вероятно помните, взял у Вас в долг сто рублей. которых уже нет давно. Если можно потрудитесь выслать поскорее. Относительно будущих работ я могу сказать вам, что в конце этого года у меня будет большая повесть, которая уже начата. Должность я себе еще не отыскал, да и хорошо было бы обойтись без нее нынешнее лето, которое мне хотелось употребить на литературные занятия. Я Вас просил прислать мне Мартовскую книжку Вестника Европы, но до сих пор не получил, может быть не получу ли сегодня. Пожалуйста поскорее известите меня.

Адрес мой тот же.

Преданный Вам *Н. Успенский*.

36

М. М. Стасюлевичу

10 апр. 1870 [Петербург]

Милостивый Государь Михаил Матвеевич, потрудитесь передать мое письмо в Комитет Общества для пособий нуждающимся Литераторам, не можете ли Вы также передать Комитету — что мой рассказ „Наследствен. место“ (который у Вас) я назначаю в уплату ссуды,

---

[1] Тургенев.
[2] Юшково — имение Ник. Ник. Тургенева, дяди Ивана Сергеевича.
[3] Напечатанный в „Искре“.
[4] Дочь Николая Николаевича Тургенева, в которую Успенский был влюблен.

которой прошу у Общества, не может ли Комитет предложить кому нибудь из редакторов газеты (напр. Петерб. Ведом. или Недели) напечатать этот рассказ за какую угодно плату, лишь бы мне поскорее выйти из стесненного положения. Относительно своей большой вещи [1] я Вам писал, что она может быть готова в конце этого года, но должен прибавить, в таком только случае если мои денежные дела не будут так дурны, как теперь.

Мартовскую книжку Вестника Европы получил. Если мое предложение насчет рассказа „Наследст. место" не удобоприменимо, то потрудитесь прислать его мне. [2]

Преданный Вам *Н. Успенский.*

37

М. М. Стасюлевичу

19 ноября 1870 [Петербург.]

Благодаря Вам, добрейший Михаил Матвеевич, я устроился очень недурно. Мартынов снабдил меня всем необходимым, хотя взял не дешево. Теперь адрес мой следующий: Измайловский полк, 12 рота приют Принца Ольденбургского (мужское отделение). Будете в здешних краях — навестите меня.

Преданный Вам *Н. Успенский.*

Потрудитесь сделать распоряжение о пересылке мне Вестника Европы по новому адресу.

38

М. М. Стасюлевичу

26 октября 1870. [Петербург].

Милостивый Государь Михаил Матвеевич, извещаю вас, что повесть Пастух я окончил, на этих днях представлю Вам вторую переписанную тетрадь, а к 15 ноября принесу все, как говорил. [3] Недавно я возвратился из Москвы и теперь живу в той же гостинице Париж (кв. 50), в Малой Морской.

Преданный Вам *Н. Успенский.*

39

К. Н. Бестужеву-Рюмину

[Петербург, январь 1872.]

Милостивый Государь
Константин Николаевич.

Я бы желал получить рублей пятьдесят заимообразно из литературного фонда, даже рублей хоть двадцать пять.

С истинным почтением к Вам
Николай Успенский.

Позвольте надеяться, милостивый государь, что Вы меня известите по прилагаемому здесь адресу о решении дела.

---

[1] „Старое по старому".
[2] „Наследственное место" не было напечатано в „Вестнике Европы".
[3] Повесть „Егорка-пастух" напечатана во второй книге „Вестника Европы" за 1871 год.

40

В. А. Гольцеву[1]

Москва, 16 окт. 9 ч. утра 1882.

Многоуважаемый Виктор Александрович! Если на мое имя прислано пособие из лит. фонда, то потрудитесь известить меня в возможно скором времени, так как я, вследствие совершенного безденежья, могу прожить в занимаемой мною комнате одни только сутки. Если же ничего нет из Петербурга на мое имя, то не берите на себя труда извещать меня об этом. Мой адрес: близ Московско-Курского вокзала. Меблир. комнаты Таракановой, Н. В. Успенскому, № 4-й. Примите уверения в совершенном моем уважении.

41

В. А. Гольцеву

Москва. 2 ноября 1882.

Многоуважаемый Виктор Александрович! Был я у Сергея Андреевича Юрьева,[2] но у него никаких занятий для меня не оказалось. Был вчера у Алексан. Осип. Лютецкого[3] — результат тот же. Упал я духом сильно, хотя вы советуете не терять надежды. Сергей Андреевич обещал попросить у Мамонтова место на жел. дор., но я боюсь не забыл ли он свое обещание. От всей души благодарю вас за хлопоты обо мне. На днях собираюсь с дочкой лично поблагодарить вас.

Преданный вам *Н. Успенский.*

Армянский пер., д. Грачева, кв. 7.

P. S. Сегодня Лютецкому отправил маленькую сценку.

42

В. А. Гольцеву

16 ноября 1882 г.

Многоуважаемый Виктор Александрович! В „Моск. телеграфе“ мне предлагали место корректора. Занятия от 1 часу пополудни до 1 часа пополуночи, вознаграждение 50 руб. в месяц. К сожалению мои семейные обстоятельства не позволяют согласиться на предложение редакции „Москов. телегр.“, так как в типографии я должен был бы работать 12 часов в сутки в сообществе с моей дочкой,[4] которая могла бы мешать другим корректорам. Во всяком случае сердечно благодарю вас за хлопоты. Мне ужасно совестно, что я вам доставил столько беспокойства.

Искренно уважающий вас *Н. Успенский*

---

[1] Один из редакторов „Русской мысли“.

[2] Московский театрал, литературный общественный деятель, редактор „Русской мысли“.

[3] Издатель „Будильника“.

[4] В 1882 г. дочери Н. В. Успенского было около 6 лет; после смерти матери, с двухлетнего возраста, она неотлучно находилась при отце, разделяя с ним его нищенскую, бродячую жизнь.

43

В. А. Гольцеву

1 января 1883 г.

Добрейший Виктор Александрович! Я к вам с покорнейшей просьбой. Не можете ли Вы написать Александру Осиповичу Лютецкому, чтобы он поторопился выслать мне гонорар за мой рассказ „Коростелев“ или возвратить его мне для отправки в другую редакцию. Я неоднократно писал г. Лютецкому, но в ответ ничего не получал от него, ни денег, ни рассказа. А между тем я нахожусь в крайней нужде. Вчера я получил от председателя Лит. фонда Таганцева письмо, в котором он просит меня немедленно выслать ему копию с моего послужного списка, метрическое свидетельство моей дочери и свидетельство о привитии ей оспы; к величайшему моему сожалению, я не только лишен возможности выправить и отправить помянутые документы, необходимые для определения моей дочери, но и купить ей лекарство (в настоящее время она очень больна). Простите, что не перестаю беспокоить вас.

Душевно преданный вам *Н. Успенский.*

Мой рассказ „Коростелев“ был принят в „Русской Мысли“, но там мне не дали денег до напечатания его, и я взял его обратно. Теперь он засел в „Будильнике“, на который я так сильно рассчитывал.

Тула. Петровская улица против гостиницы „Кандиз“ д. Глаголева.

44

Глебу Успенскому

[Восьмидесятые годы.]

Милый друг Глебушка!

Обращаюсь к тебе с слезной просьбой, помоги своему собрату по перу. Дело вот в чем: живу я с дочкой (жена давно умерла) в одной глухой, глухой деревушке и можешь себе представить, какие адские муки испытываю, не получая ни газет, ни журналов (кроме Нивы). Ты же, я знаю, завален всякого рода духовными яствами, поделись ими со мной, чем премного обяжешь.

Вышли мне хоть старье какое по след. адре у: г. Алексин (Тульск. губ.) Н. В. Успенскому.

45

Глебу Успенскому

[Петербург] 4 января 1886.

Глеб Иванович!

Вы крайне обязали бы меня, выслав мне сколько нибудь денег по след. адресу: по Лиговке у Фридерихса № 2, кварт. № 12 Н. В. Успенскому.

По получению гонорара немедленно возвращу.

46

А. Ф. Марксу

[Петербург]. 4 ноября 1886.

Многоуважаемый Адольф Федорович!

Позвольте предложить Вам мое произведение под названием Воспоминания старого литератора на прежних условиях (т. е. 20 к. за строку крупного шрифта).

Преданный Вам *Н. Успенский*.

P. S. Завтра я зайду в вашу контору за ответом.

47

А. И. и М. И. Успенским

Почтовый вагон. 29-го августа 1888 года.

Похищать чужих малолетних детей незаконно и безбожно; еще более преступно учить ребенка: „не чти твоего отца"... Моя дочка и так была сирота, лишившись двух лет от роду матери, а ваша мамаша сделала ее совсем круглой сиротой, лишивши ее и отца... Она должна по принадлежности возвратить похищенное, если желает остаться в покое...

48

Москва, 6-го сентября 1888 года.

Великий грех похищать чужих детей, а тем более развращать их внушая им нарушение V заповеди Господней...

49

Москва, 20-го сентября 1888 года.

Милые мои племяннички!.. хотя один из вас исповедует политеизм, а другой деизм, но все-таки, во имя св. чудотворца и угодника божия Сергия, вразумите вашу мать, что красть и продавать чужих малолетних детей, как это она сделала с моей десятилетнею дочерью, и внушать им: „не чти отца твоего", — есть великий грех... „Аще кто соблазнит единого от малых сих"... Впрочем, вы знаете сами заповедь Господа нашего Иисуса Христа... Постарайтесь сделать, чтобы я не писал вам подобных писем. Подумайте: ведь, ваша мать сделала мою дочь круглой сиротой! Какова должна быть натура вашей матери... Продолжение впредь.

50

Москва, 2-го ноября 1888 года.

Внушите своей мамаше, похитившей мою законную дочь, что она должна отвечать за судьбу несчастного ребенка, оставшагося по ея милости круглой сиротой... Вообще не держитесь ни политеизма, ни деизма, ни дарвинизма, а держитесь правды, за которую пострадал Господь наш Иисус Христос.

51

Петербург, 24-го декабря 1888 года.

Вновь напоминаю вам о злодеянии ваших родителей, лишивших меня родной дочери, которую сделали круглой сиротой, в чаянии получить мзду от евангельского богача.[1] Не знаю, воспоследует ли означенная мзда. Во всяком случае я не сомневаюсь в том, что Младенец Христос, котораго мы в эти дни прославляем, не замедлит ниспослать свой праведный гнев на ваших родителей, которые всеми силами старались и стараются внушить моей малютке-дочери нарушение V заповеди Божией, формулируя свои внушения так: „не чти отца твоего", ибо Христос своим божественным примером освятил исполнение V заповеди, „будучи, по словам Апостола, послушлив даже до смерти" (своему Отцу), — не говоря уже о ветхозаветном примере Хама, смеявшегося над своим отцом. Да разразится же небесная кара и божий гнев над вашими беззаконными и нечестивыми родителями ..

52

П. И. Протасову

[4 августа 1889, Москва.]

Милый друг Павел Ильич! Надеюсь, что из уважения и любви ко мне ты не замедлишь выписать 200 экземпляров моего нового произведения под названием „Из прошлого", где фигурируют писатели: Некрасов, Левитов, Слепцов, Тургенев, граф Л. Н. Толстой, Григорович и проч. Уступка 30%. Цена 1 рубль. В Москве эта книга на расхват, а Тула встретит ее с энтузиазмом.

Душевно любящий тебя *Н. Успенский*

Адрес: Тверская, дом Комиссарова, „Русский книжный магазин".

---

[1] Николай Васильевич о „хищении" у него дочери между прочим упоминает и в своих воспоминаниях („Из прошлого", стр. 155). — „У Вас дочь украли?" — спросил его Л. Н. Толстой. — „Так точно, ваше сиятельство", — отвечал Н. В. „Кто же? — „Власть земли" и „Власть тьмы"... Но это дело, как говорится, домашнее"...

[2] Тульский книготорговец.

ПИСЬМА В. А. СЛЕПЦОВА

Весною 1866 г. в связи с каракозовским выстрелом Слепцов был арестован по распоряжению муравьевской комиссии и подвергся семинедельному заключению в Александро-Невской части. Мне посчастливилось разыскать в одном частном архиве два его письма из заключения, адресованные его матери Жозефине Адамовне Слепцовой.

В остальных письмах, печатаемых здесь, отразилась та смертельная болезнь Слепцова, которая впервые дала себя знать в условиях тюремного заключения.

К письмам Слепцова приложено письмо его матери, которая неоднократно пыталась рассказать письменно его биографию, но задача эта оказывалась ей не под силу, [1] так как, будучи полькой, она плохо писала по-русски. Воспроизвожу написанный ею отрывок с полным соблюдением его орфографии.

1

Ж. А. Слепцовой

[Петербург. Тюремная камера
Александро-Невской части.
13 мая 1866].

Пользуюсь случаем, чтобы успокоить Вас, — добрый друг мой, — насколько это возможно. Я не знаю положения моего дела, но во всяком случае надеюсь скоро увидаться с Вами. Недоразумение, вследствии которого я арестован, должно разъясниться после первого же допроса.

Здоровье мое в прежнем положении; но кроме того меня в последнее время очень беспокоит бессонница и тошнота по утрам.

Впрочем, все это вероятно пройдет, когда мне можно будет пожить в деревне; но для этого мне необходимо и Ваше содействие. Потрудитесь обратиться в комиссию с просьбою о дозволении мне работать. Объясните, что каждая строка, написанная мною здесь, во всяк[ом] случае пройдет в печать н е и н а ч е, как через комиссию. А мне необходимо заработать сколько нибудь для поездки в деревню.

Напишите Вере Захаровне [2] и спросите ее, когда срок взноса процентов ее матери и уведомьте меня, сколько вы выручили за мою

---

[1] См., например, „Русскую старину", 1890, 1.

[2] Вера Захаровна Воронина (см. примечание к третьему письму) дала Слепцову взаймы деньги, которые ей прислала ее мать на уплату процентов.

мебель, если вы ее продали. Если же нет, то вообще, что вы с нею сделали — уведомьте. Сообщите так же сколько именно получил Малаксианов с тех пор как мы с ним не видались; по моему ему следует 30 рублей с теми, которые я дал Шершевскому для передачи ему.

До свидания.

Любящий вас сын *В. С.*

[Позднейшая пометка на письме, сделанная рукою Жозефины Адамовны Слепцовой:]

Письмо из заключения, которое так много унесло у него здоровья и сил и может быть и свело его в могилу.

2

Ж. А. Слепцовой

[Петербург. Тюремная камера Александро-Невской части. май 1866.]

Бесценная матушка!

Я не имею возможности лично обращаться к След. Комиссии, но вы, как мать, вы не лишены права заботиться о здоровьи вашего сына, поэтому вы не откажетесь конечно ходатайствовать за меня и постараетесь обратить внимание Комиссии на то состояние, в котором я нахожусь теперь.

Здоровье мое расстроилось окончательно, я совершенно лишился сна и апетита, я с каждым днем изнемогаю все больше и больше. Лечиться в гошпитале нет никакой возможности, потому что болезнь моя одна из тех, для которых гошпитальное лечение не только бесполезно, но даже вредно. С этим согласились и врачи, видевшие меня в гошпитале.

Вы знаете, что я терпелив; я и молчал пока были силы; но теперь ужь вот другой месяц я сижу здесь и дошел наконец до совершенного изнеможения.

Просите, чтобы меня потребовали к допросу; теперь я еще хожу и могу явиться в Комиссию, но через несколько дней я вероятно слягу в постель и тогда ужь мне подняться будет трудно. Притом же и деньги у меня все вышли, нет ни чаю, ни сахару и белья выстирать не на что. Здесь выдают 10 коп. в сутки, а из дому пищи получать не дозволяется.

Если очередь до меня не дошла, то пусть потребуют меня хоть для того, чтобы убедиться по крайней мере — в каком я состоянии.

Преданный сын *В. Слепцов.*

В. З. Ворониной[1]

[12 декабря 1866 г.].

Я очень рад, что вы мне ответили. Правду сказать, — я не совсем надеялся, что вы поймете мое письмо в так[ом] смысле. У нас с вами

[1] Приятельница В. А. Слепцова, жившая в Тамбовской губернии. В предыдущем письме к Ворониной Слепцов, вскоре по выходе из тюрьмы, просил у нее достать для него какую-нибудь нелитературную работу в провинции.

в переписке столько выходило недоразумений, что я и на этот раз ожидал того же, т. е. что вы поймете на выворот. Однако хорошо вышло. Впроч[ем] письмо мое было написано двусмысленно и могло подать повод к недоразумению. Но, как бы то ни было я рад и благодарю за желание помочь мне в приискании места. Вы спрашиваете, какое мне нужно место. Я право не знаю, как вам это объяснить. В винокуры и на прочие подобные, т. е. специальные должности меня не возьмут, потому что для этого требуется практик, а я могу знать это дело только теоретически. Разумеется, все это пустяки и в 2—3 месяца я могу выучиться всему на свете, но все таки нужно для этого пожить где нибудь на заводе. Вот я зиму-то проживу и буду готов к лету, т. е. именно к тому времени, когда прекращается винокурение; стало быть это не годится.

Нет, это не то. Мне нужно пока такое место, где бы требовались не практичные знания какого нибудь дела, а больше душевные качества, где бы нужен был только добросовестный и на все способный человек, разумеется, на все хорошее. Это вы не забудьте прибавить. Такие места конечно редки, но ведь бывают же случаи, бывают такие люди, которые ищут напр. добросовестного управляющего домом, смотрителя; одним словом такого человека, на которого можно положиться. Что же касается дела, то вы смело можете сказать, что это (т. е. я) мол, такой человек, который ежели за что возьмется, так сделает. При этом вы можете припомнить хоть некоторые из моих многосторонних способностей и разнообразных занятий, напр: слесарь, столяр, портной, механик, лепщик, рисовальщик, резчик, маляр, сердцеед и т. д.

Этого наставления для вас, я полагаю, будет достаточно, что же касается проч[их] условий, то затрудняться этим нечего. Жить в городе, или в деревне — это все равно; жалованья чем больше, тем лучше. Конечно жить в Тамбове было бы приятнее, конечно жить на большом заводе лучше, нежели на маленьком, иметь много свободного времени, нежели совсем его не иметь, вести дело с людьми лучше, чем с неодушевленными предметами и т. д. Но все же не важно и стесняться этими пустяками не стоит; главное — какое нибудь занятие, хотя бы даже у вашего брата на заводе, или напр. ездить с лошадьми по ярмаркам. Это даже было бы прелестно. Я думаю, наконец, что вы могли бы даже просто выдумать какое нибудь небывалое и досель невиданное занятие и уверить кого нибудь из ваших знакомых, что это необходимо для него, напр. что нибудь в роде коммисионера, надсмотрщика над постройками... что нибудь в таком роде! Ведь вы уверены в том, что я глупостей не наделаю, и если что и выдумаю, так это все им же в пользу пойдет.

О театре между прочим не забудьте. Может быть что нибудь и на счет театра подумаете. Может быть там у вас желали бы иметь хороший театр, да некому взяться и не знают, к кому обратиться; знатоков таких нет, настоящих. Так вот! На что лучше знатока! Тоже вот ежели над вольными посрами надзор требуется, — и это можно. Одним словом выбором стесняться нечего.

Это даже как будто на Живновского выходит похоже. А главное — поскорей. Жду ответа.

В. А. Слепцов и Л. Ф. Ломовская (1876).

4

В. З. Ворониной

[Начато 1867.]

Письмо ваше в Самару хорошо написано, только кажется мы с вами немножко опоздали, потому что земские собрания на нынешний год уже кончились и расходы определены до следующего декабря; следов. вряд ли мое предложение будет своевременно. Во всяк[ом] случае попробуйте — напишите, что будет.

Касательно столяр[ного] заведения тоже я не думаю, чтобы это было так, как вам кажется. Я не надеюсь, чтобы в Тамбове могло быть такое большое столяр[ное] завед[ение], которое бы могло нуждаться в выписанном из Пбг-а управляющем. Для этого нужно иметь большой сбыт, а может ли это быть в Тамбове? Впроч[ем] я ведь не знаю, как и что; но предполагаю, что это невозможно.

О переводах моих сестер мать просто вам прихвастнула: они только учатся переводить и делают это так плохо, что печатать еще пока их изделий невозможно, а посылать к вам для поправок — решительно не стоит.[1] Это значило бы просто на просто заставить вас переводить все с первого слова до последнего; потому что они едва только успевают подыскивать слова в лексиконе, да и то с трудом. И я бы вам советовал не писать об этом матери, не делать поблажки. Это все пустяки. На днях приехала сюда сестра моя — Софья и привезла известие о смерти Александры Федоровны. Вы вероятно уже знаете об этом; но я должен вам сказать, что я огорчен. Странная вещь! При жизни ее я об ней никогда почти недумал, или по кр[айней] мере оч[ень] редко; а теперь, когда я знаю, что ее уж нет, — мне ее оч[ень] жаль. Я и теперь не постоянно думаю о ней, но в те минуты, когда что ниб[удь] напоминает мне ее, я начинаю думать и представлять себе картину за картиной и чувствую, что огорчен. Глупо. Не умею я совсем предаваться серьезным чувствам, т. е. таким, л и ч н ы м чувствам. Мне и теперь иногда приходит в голову, что все это вздор, и вовсе мне ее не жаль; а что просто это я пользуюсь случаем посидеть неск[олько] времени в шкуре огорченного человека — ново! Давно уж никто у меня не умирал, и я совсем даже забыл, как это чувствуют себя люди, у которых кто ниб[удь] умирает; представился удобный случай, я и обрадовался — давай попробую! Вот и огорчился.

Вам должно быть скверно читать эти строки?

Когда же я вас увижу? Я часто вспоминаю о вас, между прочим вспоминаю одну вашу способность, а именно: вы отлично умеете слушать. Читать не все, а слушать все умеете хорошо; поэтому я люблю с вами говорить. Еще люблю вас слушать, когда вы говорите.

Вы едете в Свищовку. Что вы там будете делать? Ведь там теперь, без Ал[ександры] Фед[оровны] — смерть. Я воображаю до какого остервенения дошла любовь Ол[ьги] Ник[олаевны] к пресвитеру. Она теперь ни на шаг от себя не отпускает — сиди![2]

---

[1] У Слепцова были четыре сестры: Глафира, Софья, Наталья, Лидия.

[2] Ольга Николаевна, помещица, была сначале женой дяди Слепцова, а потом сошлась с бедным сельским попом, пьяницей Гавриилом, который по ее требованию снял с себя рясу.

Знаете вы, что Карла, (помните тот самый Карла — управляющий) женился на этой самой барыне, которая его так ревновала ко всем женщинам вообще и к каждой в особенности. Помните, я вам рассказывал? Женился, и притом тайно ото всех своих знакомых; и даже, будучи в Петербурге, к матери моей не показался, до такой степени ему стыдно; но зато она теперь пишет ко всем письма — объявляет о своей радости. Вот подите же! 12 лет жили вместе и всех обманывали, выдавали себя за брата с сестрой, а теперь уехали и женились: он стыдится за свое вранье, а она даже и забыла, что вышла замуж за брата и всем объявляет.

Я начал лечиться. Был я у Боткина[1] и он нашел во мне такие недуги, что просто беда: если не лечиться, так водяная будет. Советует ехать за границу, или по кр[айней] мере в Крым.

Пишите мне по тому же адресу и, если понадобится телеграфировать, тоже.

Ваш знакомый враль прислал ужасную чушь, которую однако нужно будет не возвращать пока, потому что он обещает прислать, что то интересное для Искры. Вы ему скажите, что его статья на рассмотрении и передана в другой журнал, а пусть он пришлет, что обещал.

5

Ж. А. Слепцовой

[Ст. Заречье, дер. Лялино,
Николаевская жел. дор.,
середина мая 1870 г.]

Пишу к вам из Лялина, где я живу у Кутузовых. Приехал я сюда на днях и думаю прожить здесь до конца июня. Я болен, мне необходим деревенский воздух и пью воды, которые Вар[вара] Ал[ександровна][2] мне присылает каждую неделю из Петербурга. Шесть недель буду пить воды, а потом нужно или пить кумыс, или уехать куда нибудь на юг. Здоровье мое к весне расклеилось совсем.

У меня есть деньги на лечение и их хватит на 6 недель, больше не будет, потому что я живу не в доме, а отдельно, в избе, со своей прислугою и своим хозяйством. Сделайте то, что я вас прошу: достаньте мне 100 руб. и пришлите их сюда, на имя Над[ежды] Евграф[овны][3] (Николаевская жел. дорога, станция Заречье, дер. Лялино). Я прошу вас об этом потому, что до конца лета я вероятно не попаду в Пбг. стало быть и достать денег не могу. Только к концу лета я могу кончить начатую работу и тогда буду в состоянии расплатиться с вами.

Пожалуйста устройте это, займите у кого нибудь, если у брата нет. Мне это необходимо, иначе дела мои расстроятся так, что поправить их будет очень трудно. Мне необходимо перебиться лето и подкрепить себя на весь год. Если я этого не сделаю, то не в состоянии буду писать. Это меня так театр обработал. Здоровье мое не выдер-

[1] Знаменитый клиницист проф. Сергей Петрович Боткин.
[2] Варвара Алексеевна, сестра петербургского профессора Иностранцева, была гражданской женой Слепцова в первой половине семидесятых годов.
[3] Кутузовой.

жало этой каторги в продолжении 6 месяцев и наконец лопнуло. На мне одном лежало столько самых разнообразных и хлопотливых обязанностей, что я не успевал ни есть, ни спать. Измучился, исстрадался, истощился до того, что теперь у меня желудок не варит, малокровие и нервы расстроены. О театре я и вспомнить не могу.

6

Ж. А. Слепцовой

[Железноводск. 1873.]

Сегодня получил от вас 50 руб[лей] и сегодня же отвечаю вам чтобы скорее успокоить вас насчет моего здоровья. Я лечусь очень усердно и правильно, мне лучше; но не знаю еще приеду ли к вам. Мне нужно будет по окончании курса вод, которые я пью теперь, — приняться за другое лечение; а в чем оно будет состоять еще пока не знаю. Кроме того, у меня в Петербурге осталась квартира, с которой надо разделаться и нанять другую. Варв[ара] Ал[ександровна] теперь ищет квартиру для переплетной и тут же кстати и для меня, но все таки мне нужно будет самому быть в Петербурге. Потом, когда это все устоится, мы хотели ехать с нею в Москву хлопотать о том, чтобы Лиз[авета] Ник[олаевна] [1] согласилась отдать Валю [2] в гимназию в Петербург. Вообще мне предстоит много хлопот и неприятностей и в то же время лечиться и непременно, во что бы то ни стало писать и кончить повесть к осени, чтобы расплатиться с долгами. [3] Я взял у Пав[ла] Вас[ильевича] 50 р. кроме того он обещал мне выслать еще 50. Не знаю вышлет ли. Он теперь поехал в Слепцовку и если вы его увидите, то напомните ему об этом. Мне очень нужны деньги теперь. Это может быть самое трудное время в моей жизни.

Любочку [4] недавно выпустили. Она просидела 4 месяца и теперь уж уехала совсем больная в Волынскую губ. работать на жел. дор. и лечиться. И все мы так: работаем для того, чтобы расстроить здоровье, а потом для того чтобы лечиться; лечение для того, чтобы работать и т. д. без конца. Что за чертова мельница этот Пбг! А все таки никак от него не уйдешь.

7

Ж. А. Слепцовой

[Железноводск. 30 декабря 1873.]

После присылки 100 рублей я еще не писал вам: после того я получил еще письмо о сделанном вам предложении и о покупке имения. Обе эти новости интересны. С покупкою я вас поздравляю, что же касается предложения, то я не очень этому верю, потому уже, что дело это ведется через Софью. [5] Скорей всего, что это просто ее вы-

[1] Елизавета Николаевна — вторая жена Слепцова, урожд. Языкова.
[2] Дочь Слепцова и Елизаветы Николаевны.
[3] Роман „Хороший человек", начатый Слепцовым в 1866 году.
[4] Любовь Воронцова, урожденная Ковеляева, была давнишним другом Слепцова. Причастна к революционному движению шестидесятых годов. (О ней см. несколько слов в „Воспоминаниях пропащего человека".)
[5] Сестра Слепцова.

думка, сочиненная собственно для того, чтобы и с вас и с жениха сорвать сколько ниб. денег. Впрочем, может быть я ошибаюсь и может быть в настоящую минуту вы уже не Слепцова, а Фолгошина.[1] Кто знает. Если же этого еще не случилось и если вам любопытно знать мое мнение, то я вас предупреждаю, что касательно этого вопроса я не могу сказать ни за, ни против. Я смотрю на этот брак, как на новую жертву, которую вы приносите своим детям. Жертва эта при том довольно крупная. Сами вы, конечно не воспользуетесь выгодами этого предприятия и вряд ли даже самолюбие ваше будет польщено сделанным вам предложением. Мне кажется, что и все поймут это дело именно в таком смысле. Что же я могу сказать вам? Если я скажу, что мне вась жаль, что я заранее отказываюсь от моей доли в этой жертве вечерней? — но может быть эта жертва нужна для других, может быть вам самой приятно принести себя в жертву? Делайте, как знаете, я ни советовать, ни отсоветовать не буду.

Здоровье мое значительно поправилось, благодаря климату, сухому горному воздуху и винограду, который я уплетаю не менее 3-х фунтов в день. Целый месяц я прожил без знакомств, за то теперь половина города мне знакома, начиная с высших чиновных особ, которые сделали мне визит, а с некоторыми из них я вступил уже в более близкое знакомство; состою членом нескольких обществ, имею даровой вход в театр, участвую в литературных вечерах и устраиваю спектакли в одном обществе. Одним словом я здесь вдруг пошел очень бойко и даже начинаю уже уставать и отставать. Всем этим я обязан одному человеку, которого я знал еще в Петербурге и который здесь занимает очень важное место. Он меня пустил в ход — и дал первый толчок. Но так конечно долго жить нельзя, да и тяжело было бы. У В[арвары] А[лександровны] знакомых очень немного, занятия никакого, поэтому она скучает.

Куда я поеду весной — не могу вам сказать, потому что еще сам не знаю, может быть и к вам.

Напишите, когда вы наверное переедете в свою Соляновку и как оттуда писать.

Из фонда[2] для переселения на юг я денег не получал и не просил; а [Н]екрасов] сам от себя предлагал мне 2 месяца тому назад 100 руб

Судя по почерку, вы можете заметить, что онемение в пальцах у меня прошло; рана на ноге зажила, но несколько дней тому назад вдруг после бани появилось сразу 6 маленьких чирьев. Должно быть это от бани.

Целую вас всех. Пишите!

8

Ж. А. Слепцовой[3]

[17 июня 1876.]

...Я уж и не благодарю вас за деньги. Вы сами понимаете, что я должен чувствовать и как я должен ценить все, что вы делали

[1] Мать Слепцова намеревалась на шестом десятке вступить в брак и сообщила Слепцову, что ее сосед Фолгошин сделал ей предложение.

[2] Из Литературного фонда.

[3] Заключительные строки утерянного письма.

и делаете для меня. Вы всегда, с самого детства, были моей спасительницею и заступницею, всегда и везде вы являлись в тяжелые минуты ангелом хранителем моим. Добрый, незаменимый друг мой, мне ли благодарить вас!

)

Ж. А. Слепцовой

[Пятигорск. 1 июля 1877]

Добрый друг мой!

Опять, как видите, я в Пятигорске, опять по утрам хожу в ванну, в ту же самую ванну, которая вылечила меня три года тому назад.

Ванна осталась такою же, какою она была, и целебная сила ее вероятно все та же; но зато больное тело, которое погружают в нее теперь, мое собственное тело за эти три года довольно износилось, и развинчено настолько, что вряд ли починка его на этот раз так же дешево обойдется, как три года тому назад. Лечит меня все тот же Смирнов. Он думает, что может быть дело обойдется и без операции, т. е. без большой операции; небольшую во всяком случае придется сделать. Пирогов находит, что нужна большая операция, но что делать ее теперь еще рано, потому что организм еще слишком слаб и выздоровление будет очень медленно.

Лида кажется, писала уж вам об этом.

Теперь лечение мое должно быть укрепляющее; до половины июня мы проживем здесь, а потом в Железноводск. Что дальше будет — не знаю.

Во всяком случае пишите по следующему адресу:

Г. Пятигорск.
Терской области.
В. А. Слепцову
до востребования.

Простите мою рассеянность и неаккуратность: дали мне в Дубовки [1] прилагаемые при сем письма, я их взял и только здесь вспомнил, что они у меня в сундуке.

Очень жалею, что не могу познакомиться с девицами Кулябками: мне было бы очень приятно и интересно их видеть. Не теряю однако надежды познакомиться с ними в Саратове. Скажите пожалуйста сестрам что я их целую. Напишите мне адрес Лидии. Где она: в Тифлисе или в деревне? Что Андрей Павлович?

Я теперь здесь отрезан от всего мира и никаких новостей сообщить не могу. Если же и знаю так из газет.

Принял я 10 ванн и очень слаб, так что и руки плохо действуют. Это впроч. так и следует. На счет вашего предложения жить в деревне — еще пока не знаю, но сомневаюсь. А впрочем, кто знает, как это устроится. Все это покажет нынешнее лето. Благодарю, очень благодарю вас за любовь к моей Лиде. [2] Она скоро будет вам писать. Она тоже не совсем здорова.

Целую вас всех еще раз. Пишите почаще.

Ваш *В.*

[1] Имение Слепцовых и Воронцовой.
[2] К Лидии Филипповне Нелидовой.

БИОГРАФИЯ СЛЕПЦОВА,

написанная его матерью Ж. А. Слепцовой

В: А: Слеп: родился в Воронеже в 1836 год: 17 Июля отец его был Саратов. помещык а Мать из древней польской фамилии — с раньнего децтва В: А: любил науки, 3 лет сам выучился чытать, и в посьледствии самое приятное его заньятие было чтение, кроме того, с децтва он любил заниматся столярным и слесарным искуством сам в децтвии делал разные безделушки и быв взрослым нанимал столяра и у него учылся работать, знаток был всему изьящному. Из децтва имел характер превосходны что и сохранил до самой Смерти. — Первоначальное восьпитание получыл в 1 Москов: Гимназии, но родители его из Москв: переехали в Сарат: Губ: и его взяли из 3-го класса Москов: Гимназии и помесьтили по близосьти от своей деревни в Пензенский Дворянский Инст: в котором он началь писать стихи, перьвое его стихотворение было посвящено его матери и так начыналось.

Не за себя молю творца,
Не за себя молитва льется
Пред престолом всевышнего Творца.
Молю за мать мою родную и: т: д:

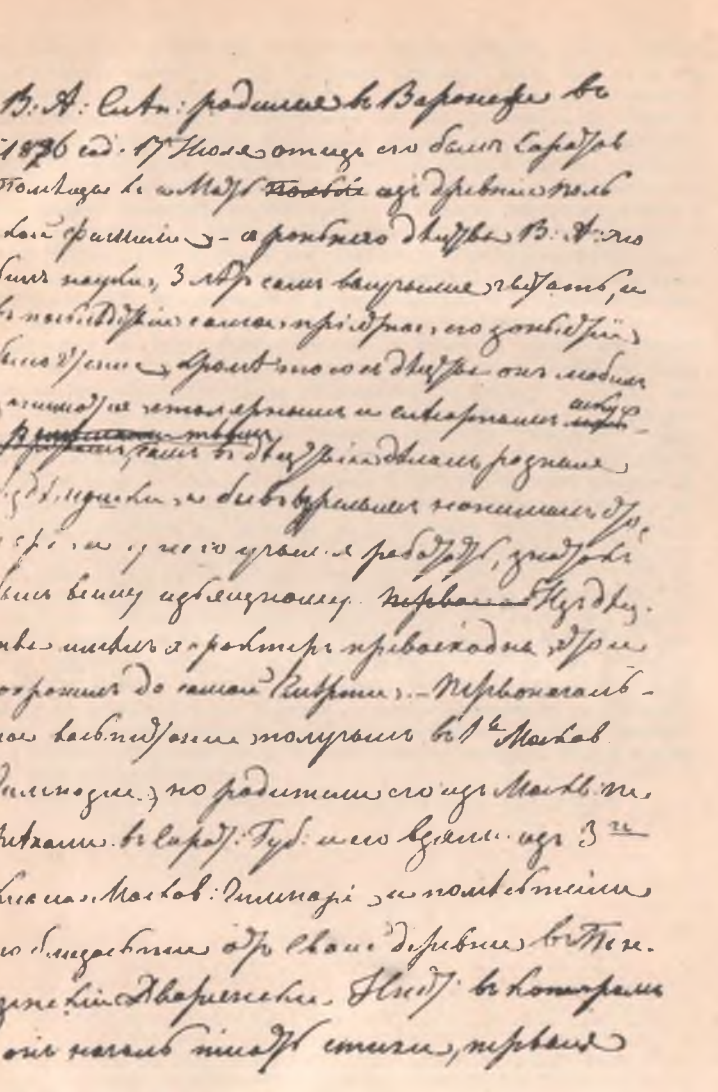
Но стихов своих он не печатал и в посьледствии не любил о них говорить. — Из Института он поступил в Москов: Универ: по медицын: фокуль: в то время люди не с большим состояньем поступали на этот фокуль: Аристок: же поступали на Юридичес: как в то времья фокульт: ничего не дающый. —

Жывя в Москве В: А: познакомился с професором Гиторой [1] а тот его у себя познакомил с профес: Даллем, [2] оба професора видя в Слепцов: много хорошых задатков и способносьти и ума предложыли ему, путешествовать пешком с котомкой, (как это делал Якушкин и другие), предлогая Слепцову програму из Энтографического Общества.

Слепцов с удовольствьем отправился в путь зимою на строющуеося желез: доро: во Владимир на Клязьме и равно и для осмотра фабрик там же, зимние путещест: было не без труда и в ущерб его не слишком хорошему здоровью, возвратясь назад он издал путевые записки по Клязьме, и Ночлег, последний помещон в Современни: и издан в отдельной книге с другими изданьями. — В Москве он познакомился с граф: Саляс которая и пригласила его своим сотруд: писать фельетон, В: А: писал немного и в пчеле и в Жур: Атеней. — Но Москва не удовлетворяла его, он уехал в Петер: там знакомства его росли гигански, Литература все больше и больше монила его к себе, но климат Петер: был для него погубным и начыналась одышка и тяжесть в правом боку. — Покойный Некрасов прочтя труд В: А: пригласил его в свой Журн: Соврем: От: Зап: и тотчас дал ему 100 руб. за печат: лист: в последствии он получил до 200 за лист: в Петер: В: А: познакомился с Чернышев: чытал его что делать, и первый завел

[1] Модест Киттара, проф. технологии в Московской практической академии коммерческих наук.

[2] В. И. Даль никогда не был профессором.



Биография Слепцова, написанная его матерью (отрывок)

Литер: вечера, способствовал женскому труду, многие дамы приходили к нему за советами как устроить безплат: шко: как завесьти рукодельные и он всегда неутомимо с удоволь: раздавал свои советы, так как женщын много к нему ходило и большую часть в Черных башлыках то полицья стала замечать и думать что он предводителем общества Черных башлыков, всегда с удовольствием чытал на литер: вечер: в пользу благотво: для молодежи, а чытал он превосходно, он первый поднял женский вопрос, и есть и теперь женщыны которые и теперь вспомнят его добрые советы ибо, по его совету занимаясь науками имеют кусок хлеба. — в 60 тых годах годы погрома Муравьевского когда все Литера: и сотруд: Современника были арестовоны в том чисьле и В: А: просидел в душной смрадной 3, аршынной комнате в Александровской Часьти 7 недель, тут окончательно он потерял свое здоровие изхудал ноги распухли и оглохши вышел на божый Свет, силы его упали и здоровие совсем расстроилось работать было трудно, но все таки он написал не доконченую драму [1] и Главу хорошого Человека. Здоровие его стало плохо до того что он поехал почти лежа на Кавказ: воды и советами доктора Смирнова отжыл и приехал в деревню к брату и Матери хотя ужасно изхудалый но довольно свеж и весел, года через 2 все его недуги поднялись и хотя много было им собрано матерялов на Кавказе но писать уж небыло сил, был он и у Пирогова и у лучшых хирургов и докто: Моск: и Петер: и пользы никакой не было; опять поехал в Железноводск от куда писал своей Матери, что те же воды, тот же доктор но их целебных действий уже он не ощущает. — дальше вы сами знаете.

Он любил Театр и в Худож: клубе в Пет: 2 года с ряду управлял Театр: работал и там Честно и Труда не жалел, работал с любовью к искуству а силы его все подрывались и когда ему замечали зачем он так сильно трудится он отвечал все таки это своего рода жызнь. — он написал разказ Спички которого цензура не пропусьтила в разказе изображался старый фетфебель фабрикант спичек разного рода, и спички разложенные по полкам ночью заводили между собою весьма любопытный разговор.

Опишыте как постоянно он изучал науки [*не дописано*].

---

[1] „Сцены в полиции".

СОДЕРЖАНИЕ

Статьи

Как это началось 5
Толстой и Дружинин в шестидесятых годах 11
Неизвестный Петров 77
Жизнь и смерть Николая Успенского 88
Николай Успенский и Некрасов 151
Василий Слепцов 163
Тайнопись „Трудного времени“ 178
История слепцовской коммуны 221

Материалы

Письма Дружинина Толстому 253
Письма Николая Успенского 273
Письма В. А. Слепцова 296

Издательство просит читателей и библиотеки отзывы об этой книге присылать по адресу: Ленинград, внутри Гостиного Двора, помещение № 122, Изд-ву Писателей в Ленинграде.